801-18 2004

# БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

BL

# НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЪ

исторические и критические очерки

КНИЖКА ВТОРАЯ

Ходъ нашей литературы, начиная отъ ломоносова. — Фейербахъ. — Дарвинъ. — Цел-леръ. —Спиритизмъ. —Нигилизмъ.

**₩** 



C.- TETEPBYPTE.

Типографія брат. Пантелеевшит. Казанокая ул., д. № 33. 1883.

# оглавленіе.

	crp.
І. Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоно-	
сова	1
Глава 1. Задача исторіи литературы. Исторія, какъ судъ потомства. — Исторія, какъ изображеніе прогресса. — Писатели, какъ самостоятельныя явленія. — Народный духъ. — Слова Дройзена. — Значеніе исторіи литературы	1
Глава 2. Самобытность въ ходъ нашей литературы. Точка връ- нія самобытности. — Ломоносовъ и его ода. — Ложнокласси- ческая эпоха. — Мите Шербюлье. — Наша слава и нашъ восторгъ. — Нашъ литературный языкъ. — Равенство съ Ев- роною. — Карамзинъ и Жуковскій. — Въра въ свою лите-	
ратуруПушкинъ и его борьба съ чужимъПобъда	11
Глава 3. Связь литературы съ вѣномъ и народомъ. Литература—не особый организмъ.—Общіе порни явленій.—Связь между вѣкомъ и писателемъ.—Недостатокъ у насъ исторіи.—Ясныя черты связи.—1812 годъ.—Батюшковъ въ Парижъ.—Вѣра въ себя. — Пушкинъ.—«Клеветникамъ Рос-	
сіи».—Гоголь и Императоръ Николай	22
Глава 4. Ломоносовъ и Карамзинъ. Ломоносовъ и Петръ Вели- кій.—Поэтическій и ученый подвигъ Ломоносова.—Его поэзія.—Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.— Космонолитизмъ и народность.—Сантиментальность.—"Ис-	
торія Государства Россійскаго»	33
Глава 5. Движеніе литературы въ прошлое царствованіе. Возбужденіе, начавшееся въ 1856 г. — Отвлеченныя идеи. — Идея матеріальнаго благосостоянія. — Ея безсиліе. — Сила правственных в идей. — Отрицаніе искусства. — Красота при-	
роды.—Любовь.—Пакостныя понятія.—Правило художника	. 44
II. Фейербахъ	60
Глава 1. О томъ, можно ли издавать полное собраніе сво- ихъ сочиненій	61



Глава 2. О томъ, можно ли сказать, что «человѣнъ имѣетъ	68
Глава 3. О томъ, что истина занлючается въ томъ, чего нельзя сназать	81
Глава 4. Теорія "свирѣпой имманентности, или то, что называется матеріализмомъ Фейербаха	91
Глава 5. Митие Хомянова о происхождении современнаго матеріализма	97
Глава 6. Значеніе Фейербаха	102
III. Дарвинъ	110
Глава 1. Перевороть въ наунт. Неожиданный усптать. Ученый ареопагъ. — Авторитетъ Кювье. — Движеніемъ ума заправляетъ сердце. — Ходъ философскихъ ученій. — Сила фантастическихъ понятій. — Ученіе Кювье о постоянствт видовъ. — Теорія Дарвина. — Отрицаніе явленій. — Главное возраженіе противъ Дарвина. — Естественная смерть. — Европейскій нигилизмъ.	110
Глава 2. Послѣдователи и противники. Путанеца въ умахъ.— Геккель. — Механическое объяснение происхождения видовъ.—Роста и наслъдственности не объясняетъ Дарвинъ.— Цълесообразность. — Слова Гельмгольца. — Агасизъ. — Бэръ.—Замътка о переводахъ	135
1989 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986 - 1986	
IV. Целлеръ	147
Глава 1. Вопросъ объ исторіи философіи. Умственное влады- чество Германіи.—Ренанъ объ Маколев.—Вопросъ о за- дачв исторіи философіи.—Льюнсъ-—Исторія наукъ въ Гер- маніи.—Какъ Целлеръ излагаетъ содержаніе философскихъ	
книгъ.—Что такое философъ?—Лессингъ	147
Глава 2. Отношеніе философіи нъ другимъ наунамъ. Философія, кокъ лишняя наука. — Философія, кокъ наука подчиненная. — Главенство философіи. — Гельмгольцъ. — Механическая тео-	
рія теплоты.—Полный упадокъ философія.—Радостныя на- дежды Целлеро.—Заключеніе	157
under demaker sames and the same same same same same same same sam	10000

V. Три письма о спиритизмъ	166
Письмо 1. Идолы. Интересъ спиритизма.—Равнодущіе.— Оживленіе проповіди.—Университеть, натуралисты, журна- лы.—Наука.—Авторитеть ученых —Прогрессъ.— Эмпи- ризмъ.— Свобода. — Позитивизмъ.—Эти знамена имбють	
существенное значение для спиритизма	166
ніе. —Дилемма. — Все возможно. — Спекулятивная область П ись мо 3. Границы возможнаго. Частая математика. — Явленія не подходящія подъ математику и явленія противортасщія математикъ. — Воображаемые опыты. — Причины. — За-	/178
коны.—Переходъ отъ математики къ физикъ.—Платонов- ская теорія воспоминанія.—Кошка събдающая мышь.—За-	188
ключеніе	100
VI. Письма объ нигилизмѣ	202
Письмо 1. Наша слипота.—Трудность исциленія.—Исторія.—Простой народъ.—Гди источникь зла?—Лачныя побужденія.—Племенная ненависть.—Нигилизмъ.—Порохъ въ	
помъРеальная злобаТрансцендентальный гръхъ	202
Письмо 2. Гордость.—Презръніе.—Ненависть.—Самодовольство.—Доліъ и самопожертвованіе.—Проповъдь и ея фіаско.—Вездарность и ложь.—Злодъйство.—Безсердечіе.—Молодость.—Распространеніе заразы.— Непослъдователь-	
ность. — Гаспространене зарави. — непосладователь ность. — Гордость просвъщениемъ. — Самостоятельное мышление. — Политическое честолюбие. — Политическия преступ-	
ленія.—Бълствія впереди	217
Письмо 3. Шаткость всъхъ повятій.—Въковъчныя начада.— Счастливое время.—Мечтательность и дъйствительность.—	
Новое божество—прогрессь.—Внутреннее противоръчіе.— Жажда страдальчества.—Замъна религіи.— Идеальная по- требность.—Цъль освящаетъ средства.— Неизбъжныя бъд-	
ствія.	231
Письмо 4. Истинное просвъщение.—Прогрессъ.—Современная правственность.—Добродътели временъ упадка. — Растрав- леніе эгонзиа.— <i>Блаженны нищіе</i> .—Ненависть.—Проповъдь	
San See Group R Propo	241

#### приложение.

Герценъ о	Парижв		٠			•			•	251
Милль въ	своей авт	oбior	раф	іи			٠			260
Дополненія	и поправ	вки .								269

#### ОПЕЧАТКИ.

Cmp.	Строка	Haneu.	Yum.
142	15 св.	Бъ маленькой	Въ маленькой
192	14 сн.	apriori	a apriori
234	6 св.	въ лучшену	къ лучшему
236	10 сн.	Достакта	Достатка

## предисловіе.

Покорно благодарю читателей, такъ быстро раскупившихъ книжку, изданную мною въ прошломъ году. Предполагая, что многіе изъ нихъ были заинтересованы не только запретными именами Герцена, Ренана и пр., а и мыслями, которыя объ нихъ высказываются, предлагаю имъ новую книжку, составляющую дополненіе и продолженіе первой. Меня упрекали, что мало было сказано о значеніи Запада для нашей литературы взятой въ цѣломъ; въ статьѣ Ходъ нашей литературы читатель найдетъ взглядъ на это значеніе, проведенный по главнымъ литературнымъ періодамъ. Мнѣ говорили, что нужно было бы помѣстить статьи о Фейербахю и объ ничилизмю; исполняю это желаніе. Остальныя статьи развиваютъ и продолжаютъ все ту же тему,—борьбу съ господствующими на Западѣ авторитетами и ученіями.

Такой важный предметь, какъ обсуждение западнаго просвъщения, и слъдовательно забота о правильности нашего собственнаго просвъщения—справедливо можетъ показаться читателямъ слишкомъ труднымъ и высокимъ, и потому возбудить недовърие къ моимъ силамъ. Какия у меня права браться за такие вопросы "и думать, что могу произносить объ нихъ върныя суждения? Но пусть читатели не останавливаются на этомъ естественномъ

предубъжденіи, а вникнуть въ мысли, которыя имъ предлагаются. Они увидять, что здёсь нёть смёлыхъ обобшеній, новыхъ умозрительныхъ порывовъ, оригинальныхъ взглядовъ и попытокъ; напротивъ, я останавливаюсь на самыхъ простыхъ и твердыхъ точкахъ зрвнія, на истинахъ очевидныхъ и извъстныхъ, и только пробую болъе правильно и логически приложить ихъ къ предмету. Въ такое мечтательное и смутное время, какъ наше, при той умственной зыбкости, которою мы, русскіе, отличаемся, при укоренившейся привычкъ отдаваться безъ оглядки и на перегонку всякимъ чувствамъ и ученіямъ, не настоить ли, наконець, великая надобность позаботиться о трезвости и ясности въ мысляхъ? Въчные ученики Запада, мы избалованы обиліемъ чужаго ума, мы поглощаемъ его безъ разбора и не можемъ отвыкнуть отъ легкомыслія и непосл'ядовательности. Отъ этого наше просвъщение не только не исполняеть высшихъ и глубокихъ своихъ задачъ, а явно грешитъ противъ самыхъ общихъ и элементарныхъ требованій. Сама европейская наука, если бы мы усвоивали не современныя ея увлеченія, а существенный ел духъ, основные пріемы, могла бы содъйствовать намъ къ пріобрътенію умственной самостоятельности и во всякомъ случай дать намъ опоры иля сужденія о Запад'ь, для пониманія упадка и внутренняго противоръчія въ его жизни. Научный духъ заставиль бы насъ вездъ доходить до началь, не уклоняться отъ выводовъ, не останавливаться на полдорогъ, искать согласія между нашими понятіями, не принимать ничего на слово. Тогда бы мы легко убъдились въ глубокомъ противоръчіи нашихъ русскихъ инстинктовъ съ наплывающими на насъ западными ученіями и ясно бы увидели ту умственную анархію Запада, которая очевидна уже для многихъ изъ самихъ европейцевъ и составляетъ столь же несомнънный фактъ нынъшняго времени, какъ соціализмъ, какъ динамитъ и игольчатыя ружья.

Уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, почти полвѣка, въ умственной жизни Запада явственно обнаружилось и все больше обнаруживается отсутствіе руководительныхъ началъ. Западъ живетъ нынче безъ философіи, то есть безъ такого высшаго научнаго взгляда, который бы ставилъ и рѣшалъ коренные вопросы знанія и бытія, и потому указывалъ бы цѣль и направленіе частнымъ научнымъ изслѣдованіямъ. Мало того, что Западъ живетъ безъ философіи, онъ теперь ненавидитъ философію, онъ неутомимо враждуетъ съ нею, преслѣдуя ее почти съ тѣмъ же фанатизмомъ, какъ религію.

Всего яснъе намъ будетъ нынъшнее положение умовъ, если мы сравнимъ его съ тъмъ, какое бывало прежде, и даже очень еще недавно. Событія, происходившія въ исторіи философіи за посл'ядніе полтораста л'ять, чрезвычайно поразительны. Между тъмъ какъ, въ прошломъ въкъ, во Франціи и въ Англіи, то есть въ самомъ центръ тогдашняго просвъщенія, получиль полную силу скептицизмъ и матеріализмъ, Германія, на которую этотъ центръ смотрълъ еще съ большимъ высокомъріемъ, была совершенно спасена отъ этого могущественнаго движенія отрицанія. Ее спасла и направила на другой путь философія, которая именно въ это время начала у німцевъ самый блестящій циклъ своего развитія. Лейбницъ, Вольфъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель одинъ за другимъ господствовали въ умственномъ мірѣ Германіи, давали ей глубокомысленное и высокое настроеніе, сділали ее философскою школою всего образованняго міра. Посл'яній изъ этой цёли философовъ, Гегель, — казалось достигь вънца всёхъ усилій; онъ провозгласилъ полную реставрацію всёхъ основъ религіозной, умственной и политической жизни, основъ, подвергавшихся такимъ жестокимъ колебаніямъ со времени возрожденія и реформаціи.

Какъ бы мы ни смотрели на эту мудрость, какое бы малое значеніе ни давали ей съ безусловной точки зрівнія, мы должны признать, что она совершила діло удивительное: до половины сороковыхъ годовъ нашего въка, скиптицизмъ и матеріализмъ не смёли поднять головы въ Германіи, а потому стояли на заднемъ планъ и во всемъ образованномъ мірѣ; во Франціи Кувенъ успъль дать ходъ философской реставраціи, похожей на німецкую; въ Англіи такіе люди, какъ Карлейль, Уэвель, и другіе почитатели нъмецкаго идеализма, сдерживали туземный скептицизмъ. Чтобы судить объ авторитетъ этого великаго идеализма, всего лучше заглянуть въ немецкія книги последнихъ десятилетій, въ тё книги, которыя пишутся уже посл'в низверженія этого авторитета. До сихъ поръ, чуть только зайдеть о немъ ричь, ученые люди разражаются негодованіемъ и ужасомъ; говоря о временахъ Шиллинга и Гегеля, они какъ будто вспоминаютъ какое-то тяжкое иго, и до сихъ поръ не могутъ нарадоваться, что освободились отъ него, до сихъ поръ не могуть удержаться отъ всякихъ на него ругательствъ.

Увы! Кажется въ этомъ и заключается разгадка всей исторіи. Философскій прогрессь, совершенный въ нашемъ стольтіи Европою, кажется состоитъ не въ послъдовательномъ развитіи извъстныхъ идей, а въ низверженіи идей, въ попыткъ вовсе отъ нихъ освободиться. Гегель давалъ исторіи философіи и вообще исторіи человьчества глубокую значительность и приписывалъ ей нъкоторый

непрерывный и правильный ходъ; но, кажется, дёло идеть не всегда такъ. Кажется правильные видёть въ исторіи лишь непрерывную борьбу высокихъ началь съ низкими, жизни и развитія съ смертью и вырожденіемъ. Чёмъ прекраснѣе и выше возникающія явленія человѣческаго духа, тѣмъ неизбѣжнѣе они заносятся потомъ безконечнымъ пескомъ мелкихъ и низменныхъ явлевій. За подъемомъ духа слѣдуетъ упадокъ, волны смыкаются за величественнымъ кораблемъ, и сонъ смѣняетъ горячую дѣятельность.

Такъ и нынъшнее гоненіе на философію-не прогрессъ, а упадокъ, не развитіе, а остановка. Передовые застрѣльщики этого бунта противъ философіи, нъкогда знаменитые Фохтъ, Молешоттъ и Бюхнеръ, какъ извъстно, вовсе не интересовались философіею, и именно на этомъ основаніи объявили, что она не нужна. И Германія очевидно потеряла нынче умственную самостоятельность; она давно уже больше питается мыслями Миллей, Фарадеевъ, Дарвиновъ, чемъ своими собственными. Потомство будеть когда-нибудь безмёрно удивляться этому народу, который некогда, бедный и раздробленный, показалъ невообразимо высокій подъема духа и создаль свою великую литературу и философію, но потомъ соблазнился общимъ потокомъ времени, отрекся отъ своихъ подвиговъ, и съ жаромъ бросился соперничать съ другими народами въ низменности цёлей и понятій.

Какъ бы то ни было, въ настоящее время нигдѣ нѣтъ въ Европѣ философскаго ученія, которое имѣло бы, или могло бы имѣть притязаніе на господствующій авторитеть. Да и потребность въ такомъ ученіи чувствуется все слабѣе и слабѣе. Мѣсто философіи заступила та популярная мудрость, которая повидимому вполнѣ удов-

летворяетъ умственный голодъ большинства современныхъ людей. Такъ какъ эта мудрость въ сущности ведеть къ отрицанію всякихъ руководительныхъ началь, то ее можно назвать вообще есропейским нишлизмом. Это тотъ духъ сомнинія и отрицанія, который проникаеть собою всю умственную атмосферу Европы, получаеть все большее и большее преобладание во всёхъ ел научныхъ и общественныхъ стремленіяхъ и современемъ долженъ получить решительное господство. Нашъ нигилизмъ въ начале быль порожденъ и возращенъ этимъ духомъ, а теперь постоянно имъ питается и обновляется. Въ нигилизмъ, какъ и во многомъ другомъ, мы только подражаемъ Европъ, только ревностные ея ученики. Напрасно евпропейцы, по своей всегдашней нелюбви и презрѣнію къ Россіи, стараются выставить нигилизмъ со всёми его безобравіями чімъ-то спеціально русскимъ, порожденіемъ нашего варварства, невозможнымъ среди образованныхъ странъ. Если есть въ нигилизмѣ что-нибудь спеціальнорусское, то оно состоить только въ несчастномъ умственномъ рабствъ, по которому мы, отрекаясь отъ всъхъ основъ своей родной жизни, способны легче всёхъ другихъ народовъ подчиняться чужимъ мыслямъ и направленіямъ, да еще въ томъ, что по нашей бойкости мы доводимъ всякую воспринятую мысль до конца, до последнихъ ея выводовъ, а по нашему легкомыслію и искренности сейчась же стремимся приводить наши мысли въ исполнение. Такимъ образомъ часто выходитъ, что ученики опережають своихъ учителей, и въ нигилизм'в мы безъ всякаго сомнѣнія идемъ впереди Европы. Тутъ уже не мы подражаемъ, а наоборотъ европейскіе нигилисты подражають нашимъ. Припомните, какъ подъйствовало дело Зосуличь, какъ оно вызвало въ Европе цёлый рядь покушеній, къ числу которыхъ относятся и покушенія на Германскаго Императора; припомните и Бакунина, и Крапоткина, — и цёлый рядъ подобныхъ фактовъ и явленій.

Напрасно также, наши русскіе европейцы, люди, заявляющіе себя поклонниками Европы, усвоивающіе или по крайней мфрф постоянно старающіеся усвоить себф ея просвъщение, часто утверждають, что оно не имъетъ ничего общаго съ нигилизмомъ, что въ этомъ просвъщеніи и въ настоящее время содержатся нікоторыя твердыя начала, не подвергающіяся никакой опасности со стороны духа сомньнія и отрицанія и могущія служить намъ и всвиъ просвъщеннымъ людямъ руководствомъ и опорою. Такое мивніе есть заблужденіе, притомъ одно изъ самыхъ увлекательныхъ и самыхъ вредныхъ по своимъ последствіямъ заблужденій. Эти люди, обыкновенно благонам вренные и очень часто добросов встные, очевидно останавливаются на половинъ дороги, совершенно такъ, какъ стоитъ на половинъ дороги и большинство европейцевъ. По преданію, по привычкѣ, по кровной связи съ своимъ прошлымъ, они держатся за некоторыя старыя свои понятія, не замічая, что всі основы этихъ понятій уже подорваны, что сами же они, увлекаемые духомъ въка, проповъдываютъ и защищають въ тоже время другія понятія, другіе пріемы мысли, прямо противор'ьчащие первымъ. Умственная жизнь народовъ имъетъ свои корни въ ихъ психической жизни. Этимъ объясняется, почему въ душахъ людей могутъ уживаться мысли и несвязныя, и несогласныя между собою. Такъ и въ нынъшней Европъ, отъ ся долгой и богатой духовной жизни осталось много формъ и понятій, которыя не только упорно держатся противъ потока нигилизма, но и уживаются въ однихъ и тѣхъ же умахъ съ самыми рѣзкими пріемами отрицанія. Очевидно, однако, такое положеніе умовъ только временное, и внутреннее ихъ противорѣчіе должно разрѣшиться побѣдою отрицанія надо всѣмъ, что держится только по инерціи.

У насъ этотъ процессъ совершается очень ясно и такъ сказать наглядно. Какой-нибудь профессоръ, или писатель, благонам вренный, и однако современный, внушаетъ читателямъ и слушателямъ всяческіе критическіе пріемы нын вшней науки, но въ тоже время кр впко стоить за извъстныя положительныя начала, выбранныя имъ по крайнему разумънію. Онъ усердно проповъдуеть, не замъчая внутренняго противоръчія своей проповъди. Но это противоръчіе прямо передъ его глазами принимаетъ плоть и кровь и является въ живомъ образъ. Учащіеся, какъ молодые люди, бываютъ свободне отъ предвзятыхъ мнъній, они могутъ получить откуда-нибудь совершенно иныя психическія настроенія, и воть они проводять до конца принципы своего наставника, логически ниспровергають одну часть его ръчей на основании другой, и выходять полными нигилистами, иногда къ великому его сокрушению и изумлению.

Мы говоримъ здёсь о добросовёстныхъ писателяхъ и преподавателяхъ, а не о тёхъ, кто расположенъ лукавить и популярничать. Для такихъ современное настроеніе европейской науки даетъ полную возможность безпрестанно сворачивать на путь отрицанія. Есть наконецъ и честные люди, держащіеся этого пути прямо по долгу науки и логической вёрности духу, который они справедливо признають за истинный духъ нынёшняго научнаго движенія.

Вотъ постоянный и главнейшій источникъ нигилизма,

европейское просв'ящение, и у насъ и на Западъ, среди другихъ своихъ плодовъ постоянно приноситъ и эти цвътки и ягодки. Поэтому просвъщенные классы вездъ чувствують свое сродство съ нигилизмомъ, составляющимъ лишь последовательное проведение некоторыхъ началъ, исповъдуемыхъ самими этими классами; а главное, поэтому просв'ященные классы, обыкновенно упирающіеся противъ этой последовательности и для этого хватающіеся за остатки всякаго рода положительныхъ началъ, оказываются совершенно безсильными противъ нигилизма. Что касается до Запада, то онъ уже весь внутренно содрогается отъ грозящей ему опасности; среди образованнаго міра только наша великая родина въ огромной своей части еще спить своимъ здоровымъ сномъ, не испытывая и тіни той душевной разладицы, которая свиръпъетъ въ одномъ наружномъ ея слов, въ такъ называемыхъ образованныхъ людяхъ.

Между тёмъ, мы все еще возлагаемъ наши надежды на Западъ; мы ищемъ спасенія отъ нигилизма въ какихънибудь научныхъ началахъ, которыя тамъ надёемся найти; мы слёдимъ за тамошней литературной борьбой и хватаемся за чужое оружіе, которое намъ покажется покръпче и половчъе для употребленія. Въ этомъ случать мы, по обыкновенію, отстали отъ Европы; мы, такіе ревностные ученики и перениматели, такъ усердно слъдящіе за всты новенькимъ, мы не замѣчаемъ, что Европа уже очень мало въритъ во многое, что въ ней еще очень громко провозглащается, мы не умѣемъ отличить того, что имѣетъ истинную силу, отъ того, что только принимаетъ видъ силы.

Велики научныя сокровища Запада и выше всякихъ похвалъ его умственные подвиги; но они не пойдутъ

намъ въ прокъ, пока мы не откинемъ привычекъ духовнаго рабства и не станемъ крѣпко на своихъ ногахъ. Что касается нигилизма, то воть именно случай, въ которомъ можно убъдиться, что Западъ не можетъ дать намъ началъ для выхода изъ этого вопроса, что следовательно, если мы желаемъ теоретически противодъйствовать этому направленію, намъ нужно вносить въ различныя области знанія свои собственныя начала. Требованіе огромное и тяжелое, которое звучить особенно страшно для насъ, такихъ робкихъ и смиренныхъ поклонниковъ западнаго просвъщенія. Но требованіе неизбъжное, и возможность его исполненія, въ сущности, ясна. Въ научномъ движеніи Европы отразилась ея жизнь, ея психическій строй, ея глубочайшія стремленія. Русская жизнь имъетъ другой строй, другія стремленія; намъ следуеть возвести эти стремленія въ сознательныя начала, которыя и дадуть иное направление научнымъ развитіямъ.

Въ заключеніе, прошу извиненія за рѣзкость тона нѣкоторыхъ мѣсть настоящей книги. Тѣхъ, кого этоть тонъ коснулся, усердно прошу поставить интересъ дѣла выше этой дурной журнальной привычки; менѣе виновать я, кажется, въ другихъ недостаткахъ журнальнаго писанія, въ многословіи и безпорядкѣ.

12 Марта 1883.

# БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ Въ нашей литературъ.

Книжка вторая.

I

# Ходъ нашей литературы, начиная отъ Лоионосова.

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

## Задача исторіи литературы \*).

Исторія, какъ судъ потомства. — Исторія, какъ изображеніе прогресса. — Писатели, какъ самостоятельныя явленія. — Народный духъ.— Слова Дройзена.—Значеніе исторіи литературы.

На томъ, какъ у насъ пишется исторія литературы, можеть быть яснье, чвмъ на всякомъ другомъ предметь, обнаруживается жалкое состояніе нашего просвъщенія: отсутствіе твердыхъ основъ, хаосъ предразсудковъ и недоразумьній. Для пониманія этой драгоцьнной исторіи требуется слишкомъ много, и вотъ почему она покрыта особенно густымъ мракомъ. Поэтому, когда мы нашли, что въ книгъ г. Полевого всего слабъе характеристика писателей, изложеніе ихъ духа и значенія, мы ни мало не винили составителя книги. На нътъ и

<sup>\*)</sup> Исторія русской литературы вь очерках и біографіяхь. Соч. П. Полевого. Гравюры исполнены Л. Серяновымъ. Спб. 1872.

суда нѣтъ; гдѣ было взять автору правильный и ясный взглядъ на нашу литературу? Онъ сдѣлалъ что могъ, а въ нѣкоторыхъ очеркахъ, напр. Державина, Крылова и нр., онъ обнаружилъ даже любовь къ своему предмету, любовь къ русскимъ писателямъ, качество превосходное и по нынѣшнему времени совершенно неожиданное и удивительное.

Писать исторію литературы въ простотѣ сердечной, не мудрствуя лукаво, но лишь всею душою люби и уважая дѣятелей литературы— нынче уже никто не хочетъ. Между тѣмъ, это была бы, можетъ быть, наилучшая метода для многихъ историковъ, метода, которая спасла бы ихъ отъ излишнихъ и невѣрныхъ разсужденій. Обыкногенно у насъ держатся другой методы, и историки приступаютъ къ своему предмету если не съ прямою ненавистью, то съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ и злорадствомъ. И г. Полевой не ушелъ отъ общаго настроенія; и у него кой-кому досталось, напр. Гоголю, Карамзину; а Пушкину такъ и очень досталось. Подмѣтить и раздуть темную черту составляетъ истинное наслажденіе для нашихъ историковъ.

Говорили когда-то, что исторія есть безпристрастный судь потомства. "Настанеть чась—и нась не будеть; но останутся дѣла наши—и потомство благословить память нашу". Такъ утѣщаль себя благодушный Карамзинь и, въ минуту чистой гордости, надписаль надъ одной изъевоихъ бумагь: "для потомства". Какъ жестоко онь обманулся! Съ чего онъ взяль, простодушный человѣкъ, что потомство будеть безпристрастнъе современниковъ? У потомства будуть свои страсти, свои занятія, свои предразсудки, и нѣть никакой причины думать, что оно съумѣеть лучше оцѣнить человѣка, чъмъ тъ, которые

его чтили и любили при его жизни. Что пользы въ томъ, что тысячи книгъ испещрены именами Карамзина, Пушкина, Шиллера и пр., что безчисленныя толпы школьниковъ каждаго ноколѣнія повторяють эти имена, если въ памяти людей уже изгладились свѣтлые образы этихъ писателей, если ихъ поэзія уже не находить себѣ никакого отзыва? Это ли та слава въ потомствѣ, которой можно желать и о которой мечтаютъ поэты?

Можно сказать, что каждое покольніе, по неизбъжному ходу вещей, наносить новую обиду, новое оскорбленіе каждому изъ великихъ писателей. При жизни Пушкина, многіе предпочитали ему Державина, въ чемъ, въроятно, онъ не видълъ большой обиды. Но если бы теперь онъ узналъ въ своемъ гробъ, что все молодое покольніе уже не читаетъ его больше и предпочитаетъ ему Некрасова, то, можетъ быть, онъ почувствовалъ бы не малую горечь. И, въроятно, будутъ покольнія, когда поэты и съ несравненно меньшимъ талантомъ, чъмъ у Некрасова, будутъ восхищать собою главную толпу публики и будутъ ставимы ею выше Пушкина. Воть что значить слава въ потомствъ!

И съ какихъ точекъ зрвнія судить потомство о писателяхъ прошлыхъ временъ? Каждое поколвніе въ нелвной гордости считаеть свои понятія, свои нужды, свои стремленія за единственно истинныя и существенныя; въ исторіи опо нщетъ того, чвмъ само оно умветь интересоваться, хвалитъ только то, чему само оно способно сочувствовать. И чвмъ живве собственные интересы и стремленія потомства, твмъ оно пристрастиве, твмъ несправедливве. Оно вступаетъ въ полемику съ знаменитыми мертвецами, оно пропускаетъ мимо ушей лучшіе звуки ихъ души, для него непонятные, и казнитъ за все, въ чемъ найдетъ понятное противоръчіе своимъ мыслямъ. Такимъ образомъ человъку, въ которомъ горитъ геній, остается только то утъшеніе, что среди множества тупыхъ, равнодушныхъ и пристрастныхъ людей, вниманіе которыхъ будетъ привлечено его именемъ, въ видъ исключенія попадется въроятно и нъсколько умовъ, которые будутъ способны понять его, которые, можетъ быть, оцънятъ его даже върнъе, чъмъ съумъли оцънить близко знавшіе его современники.

Отсюда мы видимъ, въ чемъ состоитъ истинная задача историка (и следовательно критика). Историкъ по самому существу дъла есть консерваторъ, хранитель преданій, любитель прошлаго. Онъ долженъ противод'виствовать безпамятству людей, ихъ увлеченію настоящимъ, отвлекать ихъ отъ интересовъ минуты къ интересамъ болъе важнымъ и общимъ. Его усилія должны быть направлены къ тому, чтобы задержать прогрессъ, не дать ему мельчать и отрываться отъ прошлаго, замедлить его теченіе всёмъ бременемъ минувшихъ дёлъ и мыслей. Пусть не ошибаются историки, воображающіе себя рыяными прогрессистами: они на ложной дорогъ, они укло- ; няются отъ своего прямаго назначенія. Въ одномъ журналъ уже было замъчено г. Полевому, что онъ напрасно посвятиль около трети своей книги исторіи допетровской литературы, что эта исторія не интересна большинству публики. Съ прогрессивной точки зрвнія какой справедливый упрекъ! Зачъмъ возбуждать интересъ къ отжившему, среди множества современныхъ животрепещущихъ интересовъ? Впередъ и впередъ, и чъмъ меньше мы будемъ думать и жалъть о старомъ, тъмъ лучше. Вотъ почему истинно-прогрессивный историкъ занимается лишь темъ, что бранить старое, и у насъдействительно есть

историки литературы, которые не видять въ ея исторіи ничего свътлаго и замъчательнаго почти вилоть до того времени, когда они сами стали писать.

Обыкновенный, наивный взглядъ на исторію гораздо ближе къ сущности дъла. Обыкновенно люди не видятъ хорошаго въ настоящемъ и любовно обращаются къ прошлому, гдв можно найдти столько прекраснаго. Если приложить этоть анти-прогрессивный взглядь къ литературъ, то онъ окажется очень естественнымъ. Въ самомъ дёлё, если взять настоящую минуту, то гдё мы найдемъ въ нашей литератур'в такую могучую и теплую поэзію, какъ у Пушкина, такую яркость и несравненный юморъ, какъ у Гоголя, такую чистоту и благость души, какъ у Карамзина, такой свътлый и кръпкій духъ, какъ у Ломоносова? Все это было когда-то, и хотя можетъ-быть живеть въ насъ, но, по въчному закону исторін, уже не повторяется въ тъхъ формахъ, въ которыхъ было предметомъ нашего восторга. Старое-увы!-не замъняется новымъ, что бы ни толковали прогрессисты. Исторія есть рядъ откровеній, которыя потому и дороги, потому и достойны изученія, что, по слабости и ограниченности человъка, не могутъ являться вновь. Это такое наше имущество, такое насл'вдство, которымъ мы отчасти можемъ обладать, но котораго сами пріобр'єсти неспособны.

Съ этой точки зрѣнія то, что называется прогрессомъ и развитіемъ, есть дѣло довольно мудреное для точнаго опредѣленія. На литературѣ яснѣе, чѣмъ на другихъ сферахъ, видно, что непрерывный и послѣдовательный прогрессъ совершается лишь въ низшихъ областяхъ, въ явленіяхъ не главныхъ, а подчиненныхъ. Такъ, число книгъ постепенно увеличивается, но никто не скажеть, что онъ непремънно становятся умиве и значительнъе: знанія распространяются, но основательное и глубокое изучение есть всегда ръдкое и капризное исключеніе: пишущихъ становится все больше и больше, но люди талантливые и геніальные часто почти вовсе исчезають, и ихъ появление не подчинено никакому закону; самый языкъ, постоянно обогащаясь, постоянно становясь точне и аналитичне, колеблется въ разсуждени своихъ высшихъ качествъ, красоты и силы. И вотъ почему истинные прогрессисты не любять литературы въ высшемъ ел смыслъ, въ томъ смыслъ, который не укладывается въ ровную и узкую колею прогресса. Поклонепіс генію для нихъ ненавистно не только въ поэзін. но даже въ наукъ; они желали бы свести всъ знанія на общедоступныя и ни для кого не составляющія заслуги: они желали бы изгнать всякую поэзію, все, что требуетъ особаго дара небесъ, и оставить лишь ту литературу, для которой довольно усердія и расторонности, и нътъ нужды въ талантахъ.

Если возьмемъ отдёльныя явленія литературы, отдёльных писателей, то, всматриваясь въ ихъ развитіе, мы встрётимъ непоб'єдимыя трудности, когда станемъ подводить ихъ подъ формулу прогрессивнаго движенія. Историки литературы очень любятъ указывать вліяніе, которому одинъ писатель подвергался отъ другаго, или отъ общаго умственнаго настроенія, отъ духа в'єка. Такимъ образомъ они пытаются и над'єются связать факты литературы въ н'єкоторую непрерывную нить. Но легко вид'єть, что эта нить въ д'єйствительности разрывается на каждомъ шагу и что вполн'є связать ее никогда не удается. Каждый писатель, стоющій вниманія историка, есть н'ємто самобытное, независимый организмъ. Натуры

нодражательныя, остающіяся всю жизнь эхомъ чужихъ мыслей и рібчей, хотя могуть быть иногда весьма даровиты и плодовиты, хотя иногда чрезвычайно восхваляются поклонниками прогресса, какъ носители и распространители изв'єстныхъ идей, не составляють однако-же истинныхъ двигателей и вкладчиковъ литературы. Они относятся къ той низшей области, которая можетъ вполнів войти въ колею прогресса. Если бы вст писатели подражали, о,—тогда прогрессъ дъйствительно шелъ бы непрерывно и постепенно; онъ по прямой бы линіи завель насъ—втроятно въ какія нибудь тіснины, несносныя для души человтка.

Но не всѣ подражаютъ; являются люди, которые, иногля после долгой и тяжкой борьбы, выходять изъ нодъ вліянія въка, господствующихъ идей, прежнихъ писателей, которые осм'вливаются быть самими собою и говорить то, что откуда-то, изъ какой-то невъдомой глубины, приходить имъ на умъ и на сердце; - и вотъ этито люди составляють настоящую литературу, совершають въ ней действительный прогрессь. Деятельность такихъ людей не опредвляется твми вліяніями, подъ которыми они развиваются, а разв'в только оплодотворяется. Конечно, если существуеть постоянный и сильный источникъ вліяній, какъ наприм'єръ для насъ онъ существуетъ въ литературахъ Запада, то мы едва-ли найдемъ больное достоинство въ писателъ, который остался глухъ и недоступенъ для этого могучаго воздействія. Воспріимчивость, и даже очень сильная, всегда свойственна даровитымъ натурамъ. Но наконецъ она побъждается собственнымъ голосомъ души, и эта побъда бываетъ тъмъ выше, чёмъ сильнее то, что требовалось победить.

Понятно, что такіе люди неизбъжно встръчають про-

тиводъйствіе и недоброжелательство со стороны современниковь, а мы прибавимь—и со стороны потомства. Ибо, какъ современники, такъ и потомство составляють ту толиу, для которой всего удобнѣе и привычнѣе двигаться по ровной колеѣ прогресса, преуспѣвать въ подражаніи и перениманіи. Задача историка состоить въ томъ, чтобы стать выше такого общаго хода вещей и наводить читателей на болѣе справедливое и глубокое пониманіе. У насъ, какъ извѣстно, дѣло идетъ обратнымъ порядкомъ; историки хвалятъ нашихъ писателей, напр. Карамзина, Пушкина, только до тѣхъ поръ, пока они не достигли самостоятельности, пока были подъ вліяніемъ Запада; когда же они становятся на свои ноги, мудрые историки не чувствуютъ даже любопытства, а только одно негодованіе.

Но если такъ, если писатели суть самостоятельныя явленія, не связанныя между собою и не порождаемыя вліяніями, точно такъ, какъ не связаны между собою и не порождены вътромъ и дождемъ цвъты одного луга, то въ чемъ мы поставимъ ихъ общее родство, какими нитями свяжемъ ихъ во едино? Каждый писательвътой или другой мёрё, въ той или другой формѣ, есть выразитель народнаго духа; воть та общая почва, на которой они растуть. Въ одномъ сказалось одно, въ другомъ другое, но корень общій. Народный духъ-такъ назовемъ мы пока ту таинственную силу, отъ которой въ глубочайшемъ корнъ зависять проявленія человьческихъ душъ. Люди въдь напрасно думають, что они сами строять свою жизнь; въ самыхъ важныхъ случаяхъ ими движуть силы, ускользающія отъ сознанія и доступныя для нашего познанія лишь отчасти, лишь при большихъ усиліяхъ.

Съ этой точки зрѣнія исторія литературы представляєть величайшій интересь и безконечное поприще для созерцанія. Всякій предметь, какъ извѣстно, неисчернаемь; но едва ли есть другой предметь, въ который, повидимому, такъ легко углубляться, какъ въ исторію литературы, гдѣ можно бы легче находить столько пищи для души.

Нѣмецкій историкъ Дройзенъ, прогрессистъ, какъ всѣ просвѣщеные Нѣмцы, пишетъ: "У насъ, у людей, есть только настоящее, только здъсь да теперъ". "Все прошлое, вся исторія содержится идеально въ настоящемъ и въ томъ, чѣмъ обладаетъ настоящее". Вотъ разсужденіе, по нашему мнѣнію, совершенно анти-историческое и глубоко ложное. Оно основано на той дерзостной мысли, къ которой привыкли нѣмцы, что будто бы человѣчество въ каждую минуту воплощаетъ въ себѣ всю сущность міра, исчерпываетъ собою всю его божественность. Тутъ высказывается полное отрицаніе человѣческой слабости и ограниченности.

Какая безм'врно-гордая, но вм'вств и какая печальная точка зр'внія! Разум'вется, при такомъ взгляд'в исторія им'ветъ мало значенія. Если въ насъ воплощается божество во всей его ц'влости и въ посл'вднемъ фазис'в его развитія, то зач'вмъ намъ думать о прежнихъ фазисахъ? Мы и безъ того носимъ ихъ въ себ'в. Прошлое несуществуетъ потому, что оно уже недостойно существовать.

Но если такъ, то волей-неволей мы должны довольствоваться настоящимъ—вотъ нестерпимое слъдствіе. Мы не имъемъ права находить жалкими современныхъ людей, не имъемъ права думать, что нъкогда человъческая доблесть, человъческій разумъ, словомъ вся красота человъческой души выражались выше и чище, чъмъ въ наши дни. Противъ подобныхъ взглядовъ какой живой протестъ представляютъ произведенія литературы! Нѣтъ явленій болѣе долговъчныхъ, болѣе упорно сохраняющихъ свою жизнь. Кто осмѣлится сказать, что теній Пушкина вполнѣ усвоенъ и претворенъ нынѣшними умами, что онъ въ нихъ содержится? Но если, въ силу прогресса и развитія, настанутъ и такія поколѣнія, для которыхъ сочиненія Пушкина обратятся въ простую печатную бумагу. Пушкинъ все-таки не умретъ. Отдаленный потомокъ можетъ услышать его голосъ, и можетъ-быть разслушаеть что-нибудь даже яснѣе, нежели мы.

Вудучи существами ограниченными, измѣнчивыми, случайными, мы должны беречь исторію преимущественно какъ память о томъ, что было выше насъ, и что въ пасъ самихъ пногда отражается лишь малою своею частью.

Оть этихъ общихъ соображеній перейдемъ въ частпости въ русской литературъ.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

## Самобытность въ ходъ нашей литературы.

Точка врвнія самобытности. —Ломоносовъ и его ода. —Ложно-классическая эпоха. —Мивніе Шербюлье. — Наша слава и нашъ восторгь. — Нашъ литературный языкъ. —Равенство съ Европою. —Карамзинъ и Жуковскій. —Ввра въ свою литературу. — Пушкинъ и его борьба съ чужниъ. —Победа.

Исторію русской литературы можно разсматривать какъ исторію постепеннаго освобожденія русскаго ума и чувства отъ западныхъ вліяній, постепеннаго развитія нашей самобытности въ словесномъ художествъ. Благодаря небесамъ, мы теперь стоимъ крѣпко на своихъ ногахъ, и потому можемъ уже понимать эту исторію, имѣемъ твердыя основанія для сужденія объ ея явленіяхъ—съ этой точки зрѣнія.

Оть Ломоносова начинается у насъ рядъ такихъ евронейскихъ вліяній, которыя уже не порождають одной подражательности, а дъйствительно вызывають къ самодъятельности нашъ народный духъ. Для прогрессивныхъ историковъ, каковъ и г. Полевой, Ломоносовъ сливается съ предшествующими и современными ему писателями; но для насъ онъ выдъляется ръзко; въ немъ совершилось чудо—созданы произведенія, равныя своимъ образцамъ, и явился языкъ, вполнъ пригодный для такихъ произведеній.

Ломоносовская ода есть явленіе удивительное. Искренность и живость многихъ стиховъ поразительны; великольное теченіе річи, которое вполні усвоилъ себів только Пушкинъ, не уступить никакимъ одамъ въ мірів.

Вообще на такъ называемую ложно-классическую эпоху нашей литературы вовсе не следуетъ смотреть такъ презрительно, какъ на нее обыкновенно смотрятъ. Въ ней видять одну подражательную напыщенность, одну ложь, возникшую въ подобіе тому, что само было ложью, то-есть французскому псевдо-классицизму. Но подобная оценка была уместна разв'в только въ минуту борьбы, во время стремленія къ повымъ, бол'є естественнымъ формамъ. Теперь, слава Богу, мы давно уже свободны отъ псевдо-классицизма, и пора бы намъ перестать воевать съ нимъ.

Самъ французскій исевдо-классицизмъ до сихъ поръ не оцівнень безпристрастно, и мы все повторяемъ ті сужденія, которыя нівкогда высказаль Лессингь въ раздраженій борьбы. Одинъ умный французъ, Викторъ Шербюлье, справедливо замівчаеть, что Лессингу были непонятны герой французскихъ трагедій, такъ какъ тогданняя німецкая жизнь не представляла ничего подобнаго. Шербюлье говорить, что, живи онъ во время Лессинга, онъ обратился бы къ німцамъ съ такою річью: "Послушайте, друзья мой! Какая муха васъ укусила и что случилось между вами и Мельпоменою? Позвольте вамъ сказать на ушко: вы просто школьники. Развів вы видопущены Ришелье въ его кругь? Гуляли ли вы въ свить великаго Конде въ тіни аллей Шантильи и разсинть великаго Конде въ тіни аллей Шантильи и раз-

сказываль-ли онъ вамъ о битвъ при Рокруа? Бывали-ли вы въ Версали? Являлась-ли вамъ во снъ тънь Монтеспанъ? Повърьте мнъ, оставъте героевъ въ покоп... Понщите другихъ средствъ нравиться вашимъ добрымъ лейпцигскимъ и гамбургскимъ мъщанамъ". Тутъ выражена върная мысль, что псевдо-классическое искусство имъло тъсную связь съ тою жизнью, среди которой оно процвътало, что формы, въ которыхъ героизмъ являлся на театральной сценъ, были отражениемъ явленій дъйствительности. Лессингъ протестовалъ во имя своей нъмецкой дъйствительности, и вмъсто трагедін царей и героевъ создалъ мъщанскую драму.

То же зам'вчаніе нужно прим'внить и из нашему подражательному исевдо-классицизму. Нётъ сомнёнія, что въ самой жизни было нъчто поддерживавшее высокопарность нашихъ одъ и ходульность нашихъ трагедій. Россія въ тотъ періодъ очевидно питала великія надежды и по временамъ испытывала упоеніе славы. Сближаясь съ Европою, мы сразу показали себя равными ей въ одномъ отношени-въ государственномъ могуществъ, и это не могло не возбудить нашей гордости. Ясно было, что намъ открывается безмфрное поприще, всемірно-историческое значеніе; европейская цивилизація тогда еще не пугала и не подавляла насъ, какъ теперь, а напротивъ возбуждала въ насъ только юношескую бодрость и надежду. Эпоха Петра была блистательнымъ заявленіемъ нашего могущества, въкъ Екатерины быль въкомъ твердой, громкой славы. Было бы странно, еслибы литература не отразила въ себъ того героическаго восторга, который составляль самую свътлую сторону тогдашней жизни Россіи. Было бы странно, еслибы при такомъ ненатуральномъ, приподнятомъ положеніи народа, литература была натуральною, еслибы она отражала въ себъ тогдашнюю будничную дъйствительность, а не тъ порывы и помыслы, которые носились поверхъ этой дъйствительности.

Этотъ молодой восторгъ прошелъ, какъ мы знаемъ; болье близкое знакомство съ Европою, болье точный анализъ нашего положенія подорвали наши надежды и показали намъ ту сложность и трудность задачи, которой мы сперва и не подозрівали; но періодъ восторга (отъ Ломоносова до Карамзина), періодъ оды и трагедіи принесъ и свой положительный плодъ, оставиль намъ долговічное наслідство. Самая восторженность не умерла въ насъ, и еще не вовсе потухли въ насъ искры того пламени, которое вспыхивало въ Ломоносові и Державині; но осталось и болье явное и, такъ сказать, осязательное наслідство—нашъ литературный языкъ.

Когда явился Пушкинъ, языкъ для него былъ уже готовъ. Языкъ вообще есть дёло очень таинственное. Ломоносовъ, напримёръ, едва ли ясно видёлъ размёры подвига, который онъ совершилъ въ этомъ отношеніи. Отлично чувствуя красоты и силы языка, онъ заранёс вёрилъ, что найдетъ въ немъ всё средства для выраженія своихъ мыслей; создавать, казалось, ничего не нужно было; а между тёмъ вышелъ новый языкъ, которымъ еще никто до него не писалъ.

Задача вообще предстояла огромная. Еслибы тогда водились у насъ скептики и нигилисты, смиренно преклоняющієся передъ Европою и невърящіе въ русскія духовныя силы, то они повидимому совершенно основательно могли бы говорить, что пытаться писать русскія поэмы и трагедіи, подобныя европейскимъ, есть совершенная нельпость, несбыточная затья, такъ какъ у насъ

и тонкихъ мыслей. Даже въ тридцатыхъ годахъ нашего столътія одинъ изъ нашихъ министровъ народнаго просвъщенія сказаль же русскому ученому, просившему пособія на изданіе перевода Платона, что онъ не думаетъ, чтобы можно было русскимъ языкомъ удачно передатъръчь греческаго мудреца, что французскій языкъ, какъ у Кузена, — совсъмъ другое дъло.

Итакъ, какъ же совершилось чудо? Какимъ образомъ русскихъ людей не остановили сомнѣнія, столь очевидныя и основательныя? Вѣра ихъ была такъ крѣпка, что не задумывалась и не колебалась. И вотъ они пустимись на истинно варварскомъ языкѣ выражать самыя возвышенныя чувства, изысканный героизмъ, напряженныя и величественныя страсти. Все, что образованный міръ наслѣдоваль отъ древнихъ и внесъ отъ себя, что признавалось въ тѣ дни поэтическимъ и высокимъ, было пересказано порусски. Для того, чтобы представить себѣ ту живость и естественность, до которой доходило это перениманіе, нужно вспомнить театръ той эпохи, тотъ театръ, который еще во всемъ блескѣ засталъ. Пушкинъ—

Гдё Озеровъ невольны дани Народныхъ слезъ, рукоплесканій Съ младой Семеновой дёлилъ, Гдё нашъ Катенинъ воскресилъ Корнеля геній величавый.

Говоря о Сумароковъ, г. Полевой подробно излагаеть педостатки того рода драматическихъ произведеній, который тогда господствовалъ (стр. 307—309); но онъ ни слова не говорить о томъ, въ чемъ могла состоять привлекательность этихъ произведеній, что выходило изънихъ для зрителей. Въ то время явились первые рус-

скіе актеры, то есть явились люди, которые своимъ голосомъ, лицомъ и всею фигурой взялись изображать эти
неестественныя лица, эти ходульныя чувства, и дѣлали
это превосходно, от высшей степени естественню. Русскіе оказались чрезвычайно способными къ актерству.
Кто хочетъ имѣть понятіе о томъ, что изъ этого выходило, пусть прочтетъ Воспоминанія С. Т. Аксакова.
Изящнѣйшіе рыцари, величественнѣйшіе герои, несравненные полубоги являлись предъ зрителями, какъ живыя лица, и поражали ихъ восторгомъ и умиленіемъ.
Ндеализація воплощалась въ словѣ, въ дикціи, въ жестѣ и выраженіи лица.

Несомнънно, что такимъ образомъ были пріобрътены великія богатства. Языкъ и стихъ поднялись въ своей выразительности до самой крайней высоты. Трудамъ и талантамъ этого періода мы отчасти обязаны тъмъ, что свободно можемъ выражать на своемъ языкъ всякую поэзію, всякую мысль.

За Ломоносовскимъ періодомъ слёдовалъ Карамзинскій, въ которомъ безсознательная вёра была не менёе сильна и принесла не менёе обильные илоды. Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ и пр. интересны въ томъ отношеніи, что ни мало не сомнёваются въ нашемъ равенстве съ Европою, простодушно становятся наравнё съ нею. И происходятъ чудеса, не уступающія прежнимъ. Вдругъ является русская исторія, является во всеоружіи, въ столь крёпкихъ очеркахъ, что для нея потомъ безвредно проходятъ всё бури сомнёній и невёрій, продолжающіяся до сего дня. Вдругъ область поэзіи расширяется неизмёримо, спускаясь до ежедневныхъ чувствъ, до будничныхъ мелочей.

Г. Полевой смотрить на Жуковскаго исключительно

какт на подражателя (стр. 490). Такой взглядь намъ кажется одностороннимъ, такъ какъ захватываетъ только вившность вещей. Жуковскій ивчто создаль въ русской литературв, именно создаль ту манеру мыслить, чувствовать и выражаться, которой до него не знали, и въ которой нашли себв выходь извъстныя поэтическія стремленія русской души. Мечтательность, сантиментальность не были у Жуковскаго и Карамзина чёмъ-нибудь напускнымъ и заимствованнымъ; это были ихъ естественныя, прирожденныя свойства, и никто насъ не увърить (хоть и пытались), что Карамзинъ быль въ сущности человъкъ жестокосердый, а Жуковскій—хитрый придворный пролаза. Европейскія вліянія только пробудили тё струны и силы, которыя уже хранились въ русскихъ душахъ.

Да писатели этого періода вовсе и не думають подражать; они, какъ мы уже сказали, думають просто
стать наравил съ европейскими геніями, которые тогда
славились. Воть откуда ихъ смѣлость, ихъ расположеніе
бороться съ своими образцами, ихъ постоянныя попытки
оригинальныхъ созданій. Рабства и копированія въ нихъ
нѣть и слѣда. Тогда мы вѣрили въ свою литературу
такъ, какъ никогда не вѣрили ни прежде ни потомъ.
Мы имѣли лирику, драму, басню, исторію, имѣли произведенія во всѣхъ родахъ, и среди восторговь отъ этихъ
произведеній ни одна мысль о бѣдности нашей литературы и объ ея подражательномъ характерѣ не приходила
въ голову ни читателямъ, ни писателямъ.

Таковы нікоторыя черты той исторіи, которая послужила подножіємь для дійствительнаго основателя самобытной русской литературы, для Пушкина. Пушкинь—воть роскошный плодь этихь усилій, этого обилія візры

въ себя, этихъ подражаній, чуждыхъ рабства. Въ Пушкинъ завершился нашъ языкъ, завершилось распространеніе кругозора нашей поэзіи, и идеалъ русской души, истинная мѣра ея чувствъ и движеній выразились вътакой полнотъ, что вся дальнъйшая литература можетъбыть разсматриваема, какъ развитіе зачатковъ, положенныхъ Пушкинымъ.

А между тъмъ Пушкинъ повидимому есть тоже подражатель. Его языкъ, пріемы, формы—все принадлежитъ современной ему литературѣ. Вотъ самый поразительный примъръ, какъ внѣшность въ этомъ случаѣ обманчива, какъ строго нужно обращать вниманіе на духъ писателя, на его такъ сказать снутреннюю форму, чтобы понять его настоящій смысль. Какъ французскій псевдо-классицизмъ въ сущности былъ выраженіемъ чисто-французскихъ идеаловъ, воплощалъ духъ и понятія великой націи, такъ и въ Пушкинъ подъ чужими формами развилось совершенно самобытное содержаніе.

Геній Пушкина не тяготился формою. Съ чисто-русскою гибкостію онъ схватываетъ и усвоиваетъ себѣ все, всякую форму и всякій языкъ. Процессъ, который при этомъ совершался въ поэтѣ, который происходилъ въ немъ съ чрезвычайной быстротой, силою и отчетливостію, есть дѣло въ высшей степени важное и любопытное. Чужое усвоивалось во всей его полнотѣ и многосторонности; потомъ наступала борьба съ чужимъ и его разложеніе; наконецъ или, лучше, одновременно съ этимъ возникало свое, били ключи изъ невѣдомой глубины народнаго духа.

Схватки съ чужимъ носятъ иногда на себъ характеръ умышленной, нарочно-затъваемой борьбы, которая для такого силача не только не казалась страшною, а

переходила почти въ забаву. Обозръвая весь свой умственный міръ, онъ, какъ будто шутя, пробуеть писать въ духъ то Аріоста, то Альфіери, то Державина, то Дапта, то народныхъ сказокъ и пъсенъ, — и т. д. и т. д. Выходять или произведенія, которыхъ не отличишь отъ образцовъ, или-замъчательное дъло-пародіи. Такъ въ Борисъ Годуновъ есть сцены шекспировскія, въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова; такъ стихотвореніе "Въ младенчествъ моемъ она меня любила" писалъ точно самъ Батюшковъ, а "Если жизнь тебя обманетъ" — точно самъ Жуковскій. Но, схватывая чужую манеру, чужой тонъ и духъ, Пушкинъ иногда невольно чувствовалъ себя выше писателя, съ которымъ вздумалъ состязаться; и тогда выходила пародія невообразимой м'єткости и глубины. Такъ пародическая струйка есть въ удивительныхъ "Подражаніяхъ Корану", въ которыхъ къ яркой поэзін примъшана и нъкоторая доля восточной безсмыслицы; такъ "Подражанія Данту" распадаются на дв'є части, — на дъйствительное подражание и на чистую пародію.

Воть небольше образчики того, что значили для Пушкина вліянія, среди которыхъ онъ развивался. Это были только поводы къ поб'єдамъ, только вызовы къ вполн'є самостоятельному творчеству. Такъ побороль онъ французскій псевдо-классицизмъ, н'ємецкій романтизмъ, англійскій байронизмъ, и вышелъ самимъ собою, несравненнымъ русскимъ поэтомъ. Если Исторія Карамзина все еще носить на себ'є сліды чужаго духа, несоотв'єтствующаго предмету тона и языка, то, наприм'єръ, Калитанская Дочка, хотя и написана въ форм'є романовъ Вальтеръ-Скотта, есть однакожь произведеніе чисто русское не только по духу, но и по всему тону и складу

разсказа. Пушкинъ нашелъ и воплотилъ въ своихъ послъднихъ произведеніяхъ-правильное отношеніе къ русской дийствительности, нашель пріемы, посредствомъ которыхъ можно возводить въ поэзію эту действительность, не прикрашивая ея, не изміняя и не переодівая. Отсюда становится понятнымъ, почему всѣ послѣдовавшіе писатели могуть быть въ изв'єстномъ смысл'є сведены на Пушкина; именно: въ Пушкинъ всегда можно найти ту струну, ту сферу чувства и пониманія, которая составляла въ послъдствіи особенность какого-нибудь писателя, была имъ спеціально разработываема. Такъ зачатки Гоголя можно найти въ "Гробовщикв"; Островскій конечно ведеть свое происхожденіе отъ "Бориса Годунова"; тонъ Некрасова уже взять въ замвчательномъ стихотвореніи "Румяный критикъ мой, насмінникъ толстопузый", приведенномъ у г. Полеваго (стр. 557); Достоевскій начинается отъ "Станціоннаго Смотрителя"; С. Т. Аксаковъ и Л. Н. Толстой отъ "Капитанской Дочки." Мы указали при этомъ на самыхъ оригинальныхъ нашихъ писателей, вносившихъ въ литературу повидимому совершенно новый элементь, "новое слово".

Этими зам'вчаніями мы желали бы дать почувствовать читателю, что въ Пушкин'в очевидно совершалось поэтическое душевное движеніе огромныхъ разм'вровъ и глубочайшаго значенія. Объ этомъ движеніи, которое первый понялъ Ап. Григорьевъ, у насъ обыкновенно не им'вютъ никакого понятія; объ немъ ни слова не говоритъ и г. Полевой, упоминающій о такихъ произведеніяхъ, какъ "Пиковая Дама", "Капитанская Дочка",— не только равнодушно, а даже съ н'вкоторымъ пренебреженіемъ.

Вообще, величайшій нашъ писатель понесъ отъ насъ, какъ тому и слідовало быть, величайшія обиды; ни для кого не быль такъ несправедливъ пресловутый судъ по-томства.

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

### Связь литературы съ въкомъ и народомъ.

Литература не особый организмъ. — Общіе корни явленій. — Связьмежду вѣкомъ и писателемъ. — Недостатокъ у насъ исторіи. — Ясныя черты связи.—1812 годъ.—Батюшковъ въ Парижѣ.—Вѣра въ себя. — Пушкинъ. — "Клеветникамъ Россіи". — Гоголь и Императоръ Николай-

Нѣмцы, вслѣдствіе сильнаго расположенія къ отвлеченности, постояннаго обращенія мысли среди голыхъ понятій, вообразили наконецъ, что эти понятія имѣютъ какое-то самостоятельное существованіе, что они живуть особою жизнью, какъ независимые организмы. Послушать ихъ—то наука, искусство, поэзія, философія и пр. имѣютъ внутреннее, самобытное развитіе, такую исторію, въ которой каждое явленіе извѣстной области главнѣйшимъ образомъ происходить изъ предъидущихъ явленій той же области. Такъ, каждая философская система производится историками изъ предшествующихъ системъ, одинъ періодъ литературы выводится изъ другаго и т. д.

Между тёмъ, самостоятельныхъ организмовъ такого рода вовсе нётъ, хотя и существуетъ нёкоторая связь и преемственность между явленіями каждой области. Каждое явленіе имёетъ одинаковый, общій корень съ другими, ему однородными, и развивается по общимъ

ихъ законамъ, а не коренится одно явление въ другомъ и не составляетъ одно явленіе новаго фазиса, зависящаго отъ фазиса предъидущаго. Въ какую-бы эпоху ни явился философъ или поэтъ, это будетъ въ сущности все то же явленіе, и въ новыхъ формахъ повторятся все тъ же черты, тъ же существенные законы. Каждое новое явленіе только уясняеть намъ общую сущность, лежащую въ ихъ основаніи, а не приносить намъ чеголибо абсолютно-новаго. Такимъ образомъ, если мы пишемъ, напримъръ, исторію философіи, то нашей цалью не можеть быть изложение какихъ-нибудь послъднихъ результатовъ и разсказъ о той работъ, о тъхъ послъдовательныхъ шагахъ, которыми эти результаты достигнуты. Такая цёль была бы недостаточно важна и занимательна. Историкъ, по нашему мнѣнію, долженъ имѣть въ виду идею философіи, во всв въка ту же самую, воплощавшуюся въ болже или менже ясныхъ и совершенныхъ формахъ, но всегда по одинаковымъ законамъ. При такомъ взглядъ, каждое историческое явленіе, то есть извъстный философъ, опредъленная философская система, составляеть лишь частный примърь общаго явленія-философскаго мышленія, которое въ зачаткахъ есть всегда и вездъ, но лишь изръдка развивается въ крупныхъ размърахъ. Въ Платонъ, въ Спинозъ, способность въ философіи, нужно полагать, воплотилась поливе и пвственне, чемъ въ Милле или Бюхнере.

Отсюда же получается возможность тъснъе связывать явленія особой области человъческихъ проявленій съ остальными фактами жизни человъчества. Въ людяхъ хранится постоянная возможность, постоянное расположеніе къ поэзін, философіи, литературъ. Эта возможность переходить въ дъло только при благопріятныхъ

обстоятельствахъ, при особомъ возбужденіи и при сушествованіи особо одаренныхъ людей. Не вся поэзія. существовавшая и существующая въ душахъ людей, записана стихами; можетъ быть дучная и чистъйшая осталась невысказанною и намъ неизвъстна. И каждый разъ, когда является поэтъ, ему не нужно искать источника поэзін у своихъ предшественниковъ; главный источникъ въ немъ самомъ. Вслъдствіе такой независимости, онъ прямо черпаетъ изъ жизни, онъ не столько связанъ съ предъидущею литературою, сколько съ современными ему историческими событіями. Поэтому, каждаго поэта нужно объяснять, главнымъ образомъ, изъ свойствъ его народа и изъ современныхъ ему событій этого народа, а не изъ развитія идей, выраженныхъ предшественниками, и не изъ вліянія какихъ нибудь иностранныхъ образцовъ. По крайней мъръ, истинная поэтическая сила такъ дъйствуетъ, самобытно, по однимъ лишь своимъ въчнымъ закономъ. Да и во второстепенныхъ писателяхъ-эту сторону дъятельности нужно считать главною.

Жуковскій, восп'явая событія 1812 года, нигд'й не говорить о пушкахь и выстр'ялахь; у него везд'я только меш и стрылы. Воть черта той подражательности и преемственности, которую любять зам'ячать историки. Но Пушкинь уже рисуеть все красками, ни у кого не заимствованными, а взятыми изъ жизни. Такъ, говоря о Кавказ'в, онъ воспоминаеть времена.

Когда на Терект стдомъ Впервые грянулъ битсы громъ И грохотъ русскихъ барабановъ.

Если вспомнимъ, что дёло идетъ объ ущельё, въ которомъ этотъ зловещій грохотъ долженъ былъ раздаваться особенно ярко, то мы поймемъ, какъ жива здёсь черта, схваченная поэтомъ. И онъ схватилъ ее уже въ Кавказскомъ плиники, когда стихи Жуковскаго еще не отзвучали, когда вся Россія еще твердила о спиахъ и звуки мечей, о щитахъ и стрплахъ.

Связь между развитіемъ писателя и его в'вкомъ есть дъло первой важности, такъ какъ истинная поэзія не есть отвлеченная вещь, а сливается съ глубочайшими движеніями жизни народа. Если же такъ, то легко понять, почему столь несовершенна исторія нашей новой литературы: у насъ почти вовсе нътъ исторіи государства и народа за последній періодъ, начинающійся съ Петра. Совершенно ясно, что этотъ періодъ еще не конченъ, что мы сами еще охвачены его интересами и столкновеніями; преобразованія минувшаго царствованія, хотя въ нихъ и послышалась намъ наша старина, все-таки составляють продолжение эпохи, начатой Петромъ. Понятно поэтому, что мы не можемъ смотр'вть на явленія этого періода объективно и безпристрастно, что мы не имбемъ объ нихъ установившихся понятій. Сверхъ того, и самая сущность дёла, какъ намъ кажется, трудна необыкновенно; жизненное движеніе, происходившее въ этомъ періодъ, такъ сложно, противоръчиво, пеясно, что нужны очень гибкія и необыкновенныя категорін, чтобы уложить его въ опредёленныя формы мысли. И вотъ какъ случилось, что до сихъ поръ мы собственно стоимъ въ недоумъніи передъ новою русскою исторією, и, проживши энергическою жизнью полтора стольтія, наполнивши міръ славою и страхомъ, создавши свою литературу, театръ, музыку, чувствуя въ себ'в крфпость силь непоколебимую, мы все еще съ изумленіемъ оглядываемъ сами себя и готовы въ минуту сомнънія счесть всю эту исторію почти за безсмыслицу.

А если такъ, то мудрено намъ и понимать связь между нашими писателями и тъмъ временемъ, которое ихъ воснитало. Некоторыя черты впрочемъ такъ ясны, что ихъ смёло можно указать. Напримёръ, Ломоносовъ есть. очевидно, воспитанникъ Петровской эпохи; Карамзинъплодъ Екатерининскаго времени; Пушкинъ и плеяда поэтовъ, его окружавшихъ, порождены 1812 годомъ; Левъ Толстой есть порождение того, что самъ онъ называетъ "Севастопольской эпопеей". Такимъ образомъ ясно, что время особенныхъ напряженій народныхъ, время, когда духъ народа подымался и чувствовалъ свою мощь, оставляло следы въ избранныхъ душахъ, оплодотворяло дарованія. Можно сдёлать и обратное заключеніе: если мы находимъ, что извъстная эпоха отразилась въ крупныхъ явленіяхъ литературы, то это доказываеть, что она действительно отличалась усиленною жизнію народнаго духа. Стихи Державина лучше всякихъ изысканій показывають, что Россія того времени упивалась восторгомъ отъ своей славы, а строй мыслей и чувствъ Карамзина непререкаемо свидетельствуеть о лучшихъ сторонахъ того духа, которымъ было проникнуто царствование Екатерины. При слабости нашего историческаго пониманія близкихъ къ намъ эпохъ, указанія дитературы составляють даже почти единственную путеводную нить при возсозданіи той жизни, которая одушевляла эти эпохи.

Возьмемъ какую нибудь частность, наприм'єръ 1812 годь. Г. Полевой не видить ничего хорошаго въ томъ д'яйствіи, которое произвела эта в'янопамятная война съ Европою на нашу литературу. Онъ, во первыхъ, считаетъ за н'якоторую пом'єху развитію нашей литературы то, что тогдашніе писатели такъ легко увлекались воинскимъ духомъ. Изъ нашихъ знаменитостей, какъ

извъстно, Жуковскій быль въ ополченіи; Батюшковъ дѣлаль весь походь по Европѣ; о Грибоѣдовѣ нашъ историкъ разсказываеть такъ: "1812 годъ и ему, какъ большей части тогдашняю русскаго юношества, становится поперет дороги: 17-лѣтній Грибоѣдовъ бросаетъ все, поступаетъ корнетомъ въ Салтыковскій гусарскій полкъ, и въ 1813 году является уже въ Брестъ-Литовскъ, въ одномъ изъ нашихъ гусарскихъ полковъ... Объ этомъ пребываніи своемъ въ гусарахъ Грибоѣдовъ не могъ вспомнить безъ особеннаго негодованія, и утверждалъ, что "пробывъ всего четыре мѣсяца въ этой дружинъ, цѣлыхъ четыре года не могъ потомъ попасть на путь истинный". (стр. 568).

Такимъ образомъ, г. Полевой, какъ видимъ, готовъ предположить, что, если бы русскіе юноши того времени не поддавались общему теченію и не поступали въ гусарскіе и другіе ужасные полки, а занимались бы науками и опытами въ словесности, то наша литература и все развитіе оказали бы несравненно большіе успіхи.

Но еще хуже, по мнѣнію г. Полеваго, тѣ послѣдствія, которыя порождены были нашими побѣдами, безмѣрнымъ патріотическимъ воодушевленіемъ. Интересный образчикъ того, какъ извращены были взгляды этимъ настроеніемъ, г. Полевой приводитъ въ біографіи Батюшкова:

"Дошедшія до насъ письма его, писанныя изъ Парижа, указывають на то, что и Батюшковь, наравий со множествомъ современниковъ своихъ, ръшительно потерял голову въ чаду упоенія той славой, которая такъ изобильно ув'єнчала лаврами наше оружіе, и тою рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу Европы, которую мы такъ твердо вынесли. Видно, что Батюшковъ и въ это время все еще продолжалъжить однимъ только настоящимъ, не задумываясь о завтрашнемъ днѣ, да къ тому же и очень легко приходил въ восторът.

...,Я часто съ удовольствіемъ смотрю", пишетъ онъ изъ Парижа Данилову — "какъ наши казаки безпечно провзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ Траяновой колонной или у рѣшетки Тюльери, передъ Агс de Triomphe, гдѣ изображены и Ульма, и Аустерлицъ, и Фридландъ, и Іена... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ".

"Такимъ-же увлеченіемт и заносиивымт, поверхностнымт взлядомт на Францію, на французскую литературу и просвыщеніе отзывается вообще все то, что Батюнковъ пишетъ изъ Парижа о пребываніи въ немъ, причемъ называетъ себя "маленькимъ Тибулломъ, или проще, капитаномъ русской императорской службы, что въ нынѣшнее время важные, нежели бывшій кавалерт или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, "живой воробей лучше мертваго льва")..."

"Особенно *странно* и *непріятно* поражають нась сужденія "маленькаго Тибулла" о современномъ состояніи французской литературы:

"Нынвшній годъ была предложена къ увѣнчанію (въ академіи) "Смерть Баярда"; но, по слабости поэзіи, не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предметъ назначенъ для будущаго года? — "Польза прививанія коровьей оспы"!! Это хоть бы нашей Академіи выдумать! По этому, любезный другь, можете судить о состояніи французской словесности. Ея не любиль Наполеонъ... что не мало послужило къ упадку

академін французской. Правленіе должно лемьять и баловать музь; иначе они будуть безплодны \*). Слідуя обыкновенному теченію вещей, я думаю, что вікъ славы для французской словесности прошель и врядъ-ли можеть когда воротиться. Впрочемъ мирное отечественное правленіе будеть во сто разъ благосклонніве для музь судорожнаго тиранскаго правленія корсиканца... (стр. 509).

Мы понимаемъ, почему эти слова Батюшкова кажутся г. Полевому одни—просто странными и непріятными, а другія — особенно странными и непріятными. Батюшковъ восхищается и гордится тѣмъ, чѣмъ, по мнѣнію г. Полеваго, нельзя гордиться, и отзывается очень смѣло и поверхностно о томъ, передъ чѣмъ слѣдуетъ благоговѣть. Онъ осмѣливается смотрѣть свысока на французскую словесность — какова дерзость! Онъ осмѣливается мечтать, что правленіе, которое мы тогда установили во Франціи, будетъ благопріятнѣе музамъ, чѣмъ Наполеонъ—каково ослѣпленіе!

Что касается до насъ, то этотъ тонъ самоувъренности и радости представляетъ для насъ явленіе истиннопріятное. Такое настроеніе должно было сильно содъйствовать развитію нашей литературы. Именно какъ? Писатель въ тъ времена считалъ для себя возможнымъ ту же славу, тотъ же геній, какіе онъ находилъ у другихъ народовъ. Мы признали своею всю поэзію, какую только знали; отсюда такое множество переводовъ и подражаній, неуступающихъ подлинникамъ и имѣющихъ все значеніе оригинальныхъ произведеній. Отсюда нѣсколько ложный, но истиню чудесный колоритъ, который наброшенъ былъ на всѣ явленія русской жизни; все было

<sup>(\*</sup> Это мъсто и предъидущее подчеркнуты не нами, а г. Полевымъ..

опоэтизировано и хотя облечено было въ формы отчасти чужія, но въ нихъ сказалось и много своего. Батюшковъ не даромъ называетъ себя Тибулломъ и мечтаетъ, глядя на нашихъ солдатъ въ Парижѣ, что онъ ничѣмъ не хуже какого нибудь римскаго всадника.

Безъ вѣры въ себя невозможно пикакое развитіе и, только вѣруя въ свой народъ, Карамзинъ могъ создать свою Исторію — въ подражаніе Юму, а Пушкинъ Капитанскую Дошку — въ подражаніе Вальтеръ-Скотту. Вѣрою же мы надолго запаслись въ 1812 году, и ни въ комъ она не проявилась такъ сильно, живо, безгранично смѣло, какъ въ Пушкинѣ. Всѣ мѣста, гдѣ Пушкинъ говоритъ о 1812 годѣ, свидѣтельствуютъ о неизгладимомъ и несравненномъ впечатлѣніи. Пушкинъ былъ въ это время отрокомъ и, слѣдовательно, въ той порѣ, когда впервые раскрывается душа и впечатлѣнія дѣйствуютъ всего могущественнѣе.

Вы поминте? Текла за ратью рать, Со старшими мы братьями прощались И въ сънь наукъ съ досадой возвращались, Завидуя тому, кто умирать Шель мимо насъ.

Какъ искренно и какъ глубоко! Идти на войну не значить, какъ воображаеть, кажется, большая часть нынъшнихъ писателей, идти убивать другихъ; это значить, прежде всего, идти самому на смерть.

Соображая все это, мы были очень удивлены, встрътивъ у г. Полеваго о стихотвореніяхъ Пушкина: Клеветникамъ Россіи и Бородинская годовщина—такой отзывъ:

"Въ нихъ совершенно пѣтъ ни того теплаго чувства, ни той искренности, которыя одни только и способны придать значеніе всякому патріотическому стихотворенію". (стр. 552). Дальше этого, по нашему мнѣнію, непониманіе дѣла простираться не можеть. Стихотворенія эти не только говорять сами за себя, но и согласуются строжайшимъ образомъ со всею исторією развитія Пушкина, со всѣмъ, что онъ говориль и писаль.

Замѣтимъ, что уже Пушкинъ хорошо зналъ сомнѣнія относительно нашей славы, что онъ уже слышалъ скептическіе голоса—и свои, и чужіе. Онъ спрашиваетъ:

Что взяли вы? Еще-ли Россъ Больной, раслабленный колоссь? Еще ли съверная слава Пустая притиа, лэкивый сонь?

Но эти сомнинія потомъ выросли и заполонили насъ до такой степени, что многіе у насъ перестали понимать самую возможность искренней и живой въры въ Россію. Между тъмъ, если мы не понимаемъ въры въ Россію, то мы ровно ничего не поймемъ въ русской литературъ - вотъ какая бъда грозитъ новымъ, просвъщеннымъ историкамъ этой литературы. Если мы думаемъ, что Россія-больной, разслабленный колоссь и что ел слава-пустая притча, то на людей, восхищающихся этою славою, мы естественно будемъ смотръть или какъ на глупцовъ, не понимающихъ дъла, или какъ на лгуновъ, писавшихъ громкія фразы ради лести и изъ видовъ. Тогда намъ покажется страненъ и непріятенъ Батюшковъ, любующійся казаками на Аустерлицкомъ мосту, и мы не найдемъ ни искренности, ни теплоты въ стихотвореніи Клеветниками Россіи. Тогда вся наша литература окажется и фальшивою, и непонятною; ибо не только всѣ большіе русскіе писатели, отъ Ломоносова до Льва Толстого, проникнуты върою въ Россію, но эта въра была существеннымъ, главнымъ условіемъ ихъ дъятельности Скептицизмъ есть чувство непроизводительное, и напрасно думають наши историки, что наши сатирическіе писатели, которыхъ они особенно любять, фонъ-Визинъ, Грибовдовъ, Гоголь и т. п., питались однимъ разочарованіемъ и невъріемъ. Дать полную волю своей нисмъшливости, казнить безъ пощады каждое темное явленіе возможно только при непоколебимой в'тр'в, что эти явленія суть частности и случайности, не им'ющія существеннаго значенія для здоровья и силы цілой Россіи. Императоръ Николай разр $\pm$ нилъ постановку Peвизора и самъ смъился на представлении. Скептикъ Чаадаевъ удивляется этому факту, не понимая, что только онъ, маловерный, могь видеть въ этой комедіи обличеніе несостоятельности всей русской жизни; Николаю же, при его обиліи въры, не могло прійти въ голову бояться того, что глупость и подлость, встрічающіяся у насъ, всенародно казнятся на сцепъ. И можемъ увърить нашихъ историковъ, что Гоголь имёлъ въ этомъ случай: такія-же чувства, какъ Императоръ Николай.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

#### Ломоносовъ и Карамзинъ.

Ломоносовъ и Петръ Великій.—Поэтическій и ученый подвигь Ломоносова.—Его поэзія. — Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.— Космонолитизмъ и народность. — Сантиментальность.—"Исторія Государства Россійскаго".

Русская литература, въ своей исторіи, представляєть стремленіе освободиться отъ чужеземныхъ вліяній, претворить ихъ въ себѣ, побѣдить ихъ и стать вполнѣ самостоятельною. Въ этой работѣ, составляющей ея существенное дѣло, литература находится въ тѣсной зависимости отъ общихъ судебъ русскаго народа, русскаго государства. Такимъ образомъ эпохи Петра, Екатерины, 1812-го года, Севастополя—отражаются въ усиленномъ развитіи литературы, наступающемъ черезъ извѣстный промежутокъ времени. Что эти возбужденія дѣйствуютъ именно въ такомъ смыслѣ, что они все больше и больше развиваютъ въ насъ чувство нашей духовной самобытности,—легко замѣтить даже при поверхностномъ вниманіи.

Ломоносовъ, котораго любимымъ героемъ былъ Петръ, а любимою мыслью—науки и просвъщеніе, —создаетъ намъ языкъ и стихъ. Съ легкой руки Пушкина у насъ вошло въ моду мало цънить эту заслугу Ломоносова и восхвалять его больше какъ ученаго и дъятеля просвъ-

щенія. Но если мы взв'єсимъ относительную важность того и другаго подвига Ломоносова въ дълъ нашего развитія, то увидимъ, что поэтическій подвигъ далеко превосходить своимъ значеніемъ подвигь ученый. Мы можемъ сміно это утверждать, не смотря на мнінія самого Ломоносова и не смотря на отзывъ Пушкина. Ломоносовъ смотрълъ съ нъкоторымъ пренебрежениемъ на свои упражненія въ словесности, -- но это не должно насъ обманывать; это только доказываетъ намъ въ тысячный разъ, что великія дёла дёлаются безсознательно и что часто бываетъ не дано человъку самому понимать свои силы и смыслъ своей деятельности. Что касается до отзыва Пушкина, то въ немъ ясно выражается только чувство того неизмъримаго превосходства, которое находиль Пушкинъ въ своемъ языкъ и своей поэзіи надъ языкомъ и поэзіею Ломоносова. Не забудемъ, что въ то время, какъ и во всякое, существовало великое множество старовъровъ, которые презрительно смотръли на Пушкина и съ благоговънінмъ вспоминали Ломоносова и Державина. Понятно, что человъкъ, увъренный въ красотъ своихъ созданій, вздумалъ сравнить себя съ этими авторитетами не исторически, а такъ, какъ будто они были его современниками, и въ нъсколькихъ словахъ записалъ ту огромную разницу, которую нашелъ между ними и собою. Разница записана върно, но выводъ изъ нея сдёланъ несправедливый. Ибо, изъ того, что поэзія Ломоносова оказалась малою и несовершенною сравнительно съ поэзіею Пушкина, не следуеть, что величіе Ломоносова не можеть заключаться въ созданіи столь малой и несовершенной поэзіи и должно быть отыскиваемо въ чемъ-нибудь другомъ, напримъръ въ его ученыхъ трудахъ или въ заботахъ о просвъщении.

Да поэзію эту, въ сущности, в'єдь нельзя назвать и малою. Она не есть великое дело въ полномъ его развитіи, но она очевидно есть уже зачатокъ великаго дізла, то есть такой зачатокъ, который уже носить на себъ черты будущаго величія. Въ стихахъ и прозв Ломоносова послышался какой-то тонь, раздались неожиданно какіе-то звуки, мощные, широкіе, съ такимъ размахомъ, съ такою мужественною мелодіею, что въ этомъ отношеніи ихъ не превзошла до сихъ поръ наша литература. Въ этихъ звукахъ еще не было опредъленнаго, яснаго поэтическаго содержанія; они были наполнены избитыми риторическими образами, отвлеченными и изуродованными преувеличеніями и напыщенными мыслями. Но слъдуеть также сообразить и то: откуда-бы могъ почерпнуть Ломоносовъ содержаніе для своей поэзіи? Разв'є могъ хаосъ тогдашней русской жизни дать ему твердую точку опоры? Время было слишкомъ безпокойное; не было ничего установившагося ни въ быть, ни въ понятіяхъ. Но оживленіе было великое, стремленія и надежды, оторвавшія самого Ломоносова отъ рыбачьихъ сѣтей, говорили громко. И вотъ раздались его стихи и его проза, въ которыхъ на первый разъ сказалось только неопредвленное чувство восторга и силы и уловлена музыкальность русской речи. Ломоносовъ, такъ сказать, задаль тонь нашей литературь. Вспомнимь, что въ складъ стиховъ Пушкина вполнъ повторяется и только развивается дальше складъ Ломоносовскихъ стиховъ. Пушкинъ любилъ тъ же размъры, и безподобное течение его рвчи живо напоминаетъ рвчь Ломоносова. Въ "Евгеніи Онъгинъ" Пушкинъ однажды почувствовалъ, что его тонъ совершенно сбивается на тонъ Ломоносова, и ради шутки вставиль цёликомъ три Ломоносовскихъ стиха:

Заря багряною рукою Уже от утренниих долинт Выводить ст солнцем за собою Веселый праздникъ имянинъ.

Ученая д'ятельность Ломоносова, которою такъ дорожиль онь самь, которую такъ восхваляеть Пушкинъ и которую теперь часто ставять выше заслугь Ломоносова въ словесности, по самой сущности дъла, не могла имъть большаго значенія. Естественно, что Ломоносовъ быль ревностнымъ ученикомъ европейской науки; но эта ревность, даже и при гораздо большихъ успъхахъ, не могла принести особенныхъ плодовъ ни для науки, ни для Россіи. На ученомъ поприщ'в Ломоносовъ становился въ ряды всего множества тогдашнихъ европейскихъ ученыхъ, брался за дъло давно и усердно разработываемое; слъдовательно, быть оригинальнымъ или даже первенствующимъ тутъ было трудно. И дъйствительно, хотя онъ поравнялся съ лучшими тогдашними учеными, но не оставиль намъ ни великаго открытія, ни такого направленія въ наукъ, которое мы могли-бы считать заслугою русскаго ума. Для Россіи Ломоносовъ оставиль конечно превосходный примъръ, оставиль доказательство, что русскіе способны къ наукамъ, что наша академія можеть со временемъ состоять изъ русскихъ и не уступать другимъ европейскимъ академіямъ. Но, если-бы даже за Ломоносовымъ считались значительныя открытія, его имя для всякаго юноши, посвящающаго себя наукъ, заслонялось-бы множествомъ именъ другихъ свътилъ, и не могло-бы быть путеводною звъздою, какъ имена Галилея, Ньютона, Кювье и т. п.

Совершенно иное дѣло въ литературѣ. Тутъ нѣкогда Ломоносовъ былъ первымъ и единственнымъ; тутъ онъ совершилъ нѣчто въ высшей степени оригинальное и

оставиль намь звуки, которые живуть до сихъ порь; туть онь безсмертень и послужиль намь не только хорошимь примвромь, а и самымь деломь, результаты котораго будуть продолжаться, пока будеть существовать русскій языкъ. Сколько поколеній воспитывалось на его стихахъ, сколько душь было согрето радостію и верою, которая въ нихъ дышеть!

Не скажуть-ли, что это дъло потому у него вышло успъшнъе, что было легче? Не думаемъ, чтобы оно въ сущности было легче, то есть, требовало меньшихъ силъ; но оно было можеть быть естественние, находило себы больше естественныхъ средствъ и орудій въ душѣ Ломоносова. Можетъ быть, вследствіе этой кажущейся легкости, онъ и смотрълъ на него нъсколько свысока. Могъ-ли онъ поставлять себъ въ особенную заслугу, что хорошо владветь русскимъ языкомъ и чувствуеть красоту и силу его словъ и словосочетаній? Это казалось ему деломъ простымъ. Могъ-ли онъ сознательно опънить и признать за ведикое свое достоинство тотъ спокойный и севтлый восторгь, которымъ звучать его стихи? Для насъ, издали, эта въра и сила являются великими; Ломоносовъ-же больше цёниль то, что составляло для него настоящій трудъ и для чего были готовыя мърки-свои успъхи въ наукахъ.

Пушкинъ считалъ главнымъ недостаткомъ Ломоносова "отсутствіе всякой народности и оригинальности". Этотъ приговоръ относится очевидно только къ содержанію, къ опредъленнымъ мыслямъ и образамъ, а никакъ не къ языку и тону. Истинная народность и оригинальность (мы нынче сказали-бы: самобытность) принесены намъ конечно только Пушкинымъ; до него они появлялись только въ зачаткахъ. Но языкъ и тонъ Ло-

моносова были уже вполнъ народны и оригинальны, какъ это доказывается и тъмъ, что они вошли, какъ основной элементъ, въ языкъ и тонъ Пушкина.

До народности и оригинальности содержанія было еще очень далеко; нужно было еще пережить цълый періодъ новой фальши, новой амальгамы русскихъ чувствъ и мыслей съ чужими формами и настроеніями, именно Карамзинскій періодъ. Карамзинъ быль сынъ екатерининскаго времени, и существенныя свойства деятельности Карамзина объясняются вполнъ только свойствами этого времени. Геніальная царица отозвалась широкою душою на всй лучшіе призывы, какіе послышала вокругъ себя: она была одною изъ представительницъ тогдашняго гуманнаго европейскаго просвещения и вместь искренно любила Россію, вѣрно понимала и берегла интересы своего народа. Та-же амальгама въ Карамзинъ; онъ вполнѣ проникнутъ просвѣщеніемъ XVIII вѣка и вм'вст'в безграничною любовью къ родинт, къ темъ людямъ, которые, по свидътельству современныхъ нашихъ журналовъ, и были и остаются "первобытными, зв рообразными варварами" (Дѣло, 1872, № 1, стр. 7).

Эта способность великих душъ обнимать и примирять въ себѣ многое, повидимому различное и непримиримое, кажется непослѣдовательностію мелкимъ и узкимъ умамъ, и они готовы предпочесть этому обилію, этой широтѣ умственной и сердечной жизни одностороннюю дѣятельность человѣка, который слѣпъ и глухъ для всего, кромѣ одной мысли, одного чувства. Такъ, понемногу вошло въ моду у прогрессивныхъ людей прославлять Радищева и отважно ставить его выше Карамзина. Между тѣмъ очевидно, что Радищевъ не принадлежить къ числу властителей своего времени, а есть

его несчастная жертва, раздавленная тымъ противорычемъ, въ которое онъ попалъ и относительно котораго онъ стоялъ, конечно, ниже, а никакъ не выше.

Время Екатерины было временемъ удивительнаго примиренія двухъ противоположныхъ началъ, подъ дъйствіемъ которыхъ развивалась Россія, —наплыва Европейскаго просв'єщенія, и ревниваго охраненія своей самобытности, своей государственной силы, своихъ народныхъ интересовъ. Космополитизмъ въ принципахъ и народность въ практикъ-уживались и не мъщали другъ другу почти непонятнымъ образомъ. Это было время мира, который, очевидно, не могъ удержаться и грозиль перейти въ жестокую борьбу; но въ ту минуту никто не зам'вчалъ этой опасности. И этотъ миръ принесъ свои прекрасные плоды. Карамзинъ былъ вполнъ сынъ XVIII въка, былъ проникнутъ всъми лучшими сторонами тогдашняго просвъщенія, его сантиментальностію, любовью къ людямъ, розовыми надеждами на возможное и близкое счастіе человъчества. Онъ прочель лучшія тогдашнія книги и познакомился съ Европою въ своемъ путешествіи, такъ что быль, безъ сомнінія, однимъ изъ лучшихъ тогдашнихъ европейцевъ. Но въ то-же время онъ быль вполнё русскій, гордился своею царицею, глубоко восхищался славою и могуществомъ Россіи, юношески върилъ въ то, что она счастлива и процвътаетъ, любилъ душевно свой народъ, отнюдь не видя въ немъ "первобытныхъ и звфрообразныхъ варваровъ".

Только при такомъ двойственномъ настроеніи возможно было сдёлать то, что сдёлаль Карамзинъ. Во первыхъ, онъ сблизиль литературу съ жизнью; во вторыхъ, онъ создаль Русскую исторію.

Карамзинъ не создалъ великихъ поэтическихъ произведеній; въ отношеніи къ поэзіи онъ стоитъ далеко ниже Ломоносова и Державина. Тъмъ не менъе, онъ сдёлаль дёло великое: онъ безмёрно расшириль область литературы и если не осуществиль, то показаль возможность въ ней такихъ формъ и предметовъ, о которыхъ прежде и не слыхано было. Повъсть изъ современной московской жизни, повъсть изъ временъ Новгорода или Алексыя Михайловича, стихи, выражающие мимолетное, легкое чувство, изображение ежедневныхъ предметовъ и мыслей, сочиненія столь безпритязательныя, что самъ авторъ называетъ ихъ Бездимами, вотъ что явилось среди одъ, трагедій и похвальныхъ словъ, и въ первый разъ явилось облеченное въ несомнънную, неотразимую красоту. Такія явленія возможны были только при полной въръ въ себя и въ ту жизнь, которою быль окружень писатель, при наивной увъренности, что весь строй этой жизни имфеть право на поэтическое воспроизведение. Нужно было много благодушія, много душевной теплоты и чистоты, чтобы такъ заразительно обманываться и въ этомъ самообольщении выразить одну изъ существенныхъ чертъ русскаго духа. Невърно видълъ и изображалъ Карамзинъ внъшнюю жизнь своего общества и народа; но очень живо и върно сказалась въ немъ одна черта внутренней жизни этого общества и народа.

Сантиментальность—такъ называется то душевное настроеніе, которое проникаеть собою сочиненія Карамзина. Хотя это настроеніе, благодаря его сочиненіямъ, увлекло все тогдашнее общество, хотя едвали какое другое настроеніе достигало у насъ такого распространенія и долгаго господства, однако обыкно-

венно на сантиментальность смотрять, какъ на повътріе, занесенное съ Запада, считаютъ ее чуждою и даже противоположною русскому характеру. Не думаемъ, чтобы это мнвніе было вполнв справедливо. Та душевная мягкость, которою отличаются славяне и которая находится въ связи съ ихъ безволіемъ, съ ихъ распущенностію, съ легкою отзывчивостію на всевозможныя вліянія, съ гибкостію и неустойчивостью чувствъ и мыслей, -- эта мягкость очевидно представляла удобную почву для развитія сантиментальности, и русское общество по природному расположению такъ живо отозвалось на пропов'йдь н'ыжности и чувствительности. Признать это нисколько не мъщаеть то обстоятельство, что русскій характеръ представляетъ многія черты, прямо противоноложныя всякой сантиментальности. Психическій строй отдельных людей и целых народовъ кажется неръдко развивается по закону полярности, т. е. развитіе однихъ свойствъ вызываетъ и поддерживаетъ развитіе свойствъ прямо противоположныхъ. Французы одинаково знамениты и горячею религіозностью, и вольнодумствомъ; англичане прославились какъ своимъ эгоизмомъ, такъ и благотворительностю; нъмцы - народъ, въ одно время, и самый идеальный, и самый филистерскій. Такъ и въ русскомъ характеръ нъжность и чувствительность (употребляемъ слова Карамзина) сочетаются съ суровостью и холодомъ, расположение къ энтузіазму съ вѣчною насмѣшливостю и недовъріемъ. Во всякомъ случаъ, если перебрать всв явленія русской литературы, мы кажется найдемъ не мало доказательствъ, что сантиментальность им'йла корни въ самой русской натур'й. Характеръ самого Карамзина представляетъ одинъ изъ лучшихъ и поразительнъйшихъ примъровъ. Итакъ, онъ имѣлъ нѣкоторое право облекать все въ тѣ звуки и краски, которые такъ ясно звучали и ярко свѣтились въ его собственной душѣ. Картина выходила ложная только на половину и увлекала всѣхъ, очевидно потому, что въ этомъ обманѣ не все было обманомъ.

Но всего поразительные то простодущие, та геніальная наивность, въ силу которыхъ Карамзинъ создалъ свое важивищее произведение, "Историю Государства Россійскаго". Для этого труда, для того, чтобы долгіе годы вести его съ пламеннымъ усердіемъ, нужны были совершенно особыя условія, которыя счастливо соединились въ душ'в Карамзина. Нужно было, во первыхъ, высокое развитіе, именно, нужна была большая художественная и нравственная чуткость, такъ, чтобы историкъ могъ понимать и правильно ценить характеры липъ, чтобы образы ихъ возсоздавались передъ нимъ съ приблизительно върнымъ распредъленіемъ свъта и тъней. Но при этомъ развитіи нужно было, чтобы историкъ не считалъ себя выше своего народа, какъ считаютъ себя обыкновенно наши просвъщенные люди, чтобы онъ не смотрѣлъ на этотъ народъ, какъ на "первобытныхъ и звърообразныхъ варваровъ", а напротивъ, твердо върилъ въ его славу, въ принадлежность его къ семъъ великихъ народовъ, въ то, что его исторія равняется євоею значительностію другимъ исторіямъ.

Вспомнимъ то время, когда развивался Карамзинъ, когда складывались его понятія и то душевное настроеніе, которымъ проникнуты его чисто-литературныя про-изведенія. Въ Европѣ это былъ вѣкъ анти-историческій, вѣкъ самодовольнаго просвѣщенія, смотрѣвшаго съ пренебреженіемъ на прошлое и готоваго все пересоздать по новымъ идеямъ. Не заключается-ли по-

этому странная и знаменательная загадка въ томъ, что у насъ одинъ изъ сыновъ этого въка, глубоко воспринявшій его идеи, сдълался историкомъ своего народа, такъ что просвъщеніе XVIII стольтія у насъ отразилось, между прочимъ, созданіемъ исторіи, то есть наращеніемъ любви и уваженія къ прошлому?

#### ГЛАВА ПЯТАЯ.

## Движение литературы въ прощлое царствование.

Возбужденіе начавшееся съ 1856 г.—Отвлеченныя идеи.—Идея матеріальнаго благосостоянія.—Ея безсиліе.—Сила правственныхъ идей.—Отрицаніе искусства.—Красота природы.—Любовь.—Пакостныя понятія.—Правило художника.

Какія благородныя, чистыя, сіяющія исходныя точки иміна та литература, которая началась вмісті съ минувшимъ царствованіемъ! Можно ли было ожидать, что мы придемъ къ теперешнему печальному положенію? Вспомните, тото была проповідь просвіщенія, свободы, справедливости, это было негодованіе противъ всякихъ золъ и пороковъ, это былъ призывъ къ полному обновленію, къ горячей діятельности умственной и нравственной. И что же вышло! Такая жестокая и странная неудача стоитъ того, чтобы объ ней подумать. Какой-то червь подточиль всі тогдашніе всходы, и мы теперь грустно раздумываемъ, скоро-ли и откуда начнется новое движеніе?

Очевидно, начала, лежавшія въ основъ литературнаго движенія, начавшагося съ 1856 года, были мало содержательны и недолговъчны. Дъло было испорчено тъмъ всемогущимъ вліяніемъ, отъ котораго у насъ много выходитъ зла,—вліяніемъ Европы. Наше возбужденіе, наше одушевленіе послъ минувшей тишины и скрытаго броженія, приняло направленіе, опредъленное вътромъ дув-

шимъ съ Запада, и принесло насъ на мель. Странное, лихорадочное, почти фантастическое волненіе, овлад'явшее русскимъ обществомъ и возраставшее до 1863 года, не оставило посл'я себя никакихъ почти плодовъ; кром'я сорныхъ травъ и пустоцв'ята, ничего не укоренилось и не разрослось на русской почв'я; посл'я всей этой исторіи общество остается въ прежнемъ недоум'яніи, только бол'я разочарованное, меньше прежняго способное держаться чего-нибудь кр'япко и посл'ядовательно.

Состояніе Запада въ настоящее время неясно только очень поверхностнымъ людямъ; но всякій, кто искренно и серьезно обращался или обращается къ Европъ за нравственнымъ руководствомъ, кто дъйствительно ищетъ въ ней для своихъ мыслей и дъйствій руководящаго начала,—всякій знаетъ, что Западъ тяжко боленъ, что онъ не исполненъ надеждъ, какъ когда-то было, а весь потрясенъ внутреннимъ страхомъ, ищетъ и не находитъ выхода изъ противоръчій, зародившихся въ его жизни.

Просвъщение—вещь прекрасная; но въдь неизбъженъ вопросъ: иему слъдуетъ намъ учить непросвъщенныхъ? какое содержание въ нашемъ просвъщени? Свобода—дъло неоцъненное; но въдь свобода есть понятие отрицательное; спрашивается, ито намъ дълать, когда мы получимъ свободу? Что мы хотимъ осуществить въ своей жизни? Для иего именно нужна намъ свобода?—Справедливость дорога каждому нравственному человъку; но въ чемъ состоятъ ея правила? Что нужно дълать, чтобы быть справедливымъ?

Гордый Западъ когда-то много на себя над'вялся и думаль, что эти вопросы разр'вшатся сами собою, что истина получится изъ свободы его мысли и правда выяснится изъ борьбы его партій; но теперь эти надежды

ослабъли и почти угасли; борьба идей привела къ скептицизму, а борьба интересовъ къ неутолимой враждъ.

Отвлеченныя идеи просв'вщенія, свободы, справедливости не могуть составлять внутреннихъ двигателей исторіи; содержаніе всему движенію дается другаго рода идеями, им'вющими прямое, опред'вленное значение для жизни человъка. Такъ и въ нашемъ въкъ явилась мысль, которая стала дъйствительно заправлять исторіею и сдълалась мъриломъ для другихъ мыслей; эта мысль есть идея общаго матеріальнаго благосостоянія, избавленія отъ физическихъ золъ и сколь возможно лучшаго пользованія благами жизни. Въ умахъ огромнаго множества людей-къ этой идев, какъ къ главной и центральной, сводятся теперь всё другія идеи; и просвещеніе, и свобода и справедливость имѣють для этого множества одну верховную цёль и одно неизмённое условіе-матеріальное благосостояніе. Оно есть истинное содержаніе діла, а все прочее только формы и пособія.

И вотъ, въ то время, когда мы были такъ сильно возбуждены, когда порывались съ восторгомъ впередъ и готовы были, кажется, на всевозможные подвиги, на юношескую отвагу и самоотверженіе, Европа ничего не могла предложить намъ для руководства, кромѣ этой идеи. Мы приняли ее съ величайшимъ увлеченіемъ, перевертывали на тысячу ладовъ, приложили ко всему на свѣтѣ, довели до величайшихъ крайностей, до отчаяннаго нигилизма, до холоднаго разврата и преступленія, и такимъ образомъ въ самый короткій срокъ до того истаскали и измыкали европейскую идею, что она намъ опротивѣла до тошноты.

Европа еще долго будеть болъть этою идеею; она принимаеть ее серьозно и будеть проводить ее въ жизнь

со своею всегдашнею энергіею и послѣдовательностію. О, еслибы у насъ было иначе! Еслибы эта болѣзнь уже не возвращалась мутить наши умы и сердца! На такое благополучіе можетъ быть не слѣдуетъ терять надежды; очень можетъ быть, что прививная болѣзнь избавить насъ отъ настоящей.

Такимъ образомъ исторія нашей литературы за минувшее царствованіе весьма поучительна; она представляєть новый разсказь о много разь повторявшемся случаь, о томъ, какъ иныя европейскія идеи овладывали умами русскаго общества, какъ оны развивались, видоизмынямись и изнашивались въ этихъ умахъ, и какъ, наконецъ, исчезали, оставляя по себы смуту и безплодную умственную ниву, на которой никакъ не могли укорениться европейскія сымена. Вотъ ясное, бросающееся въ глаза содержаніе этой исторіи; если же при этомъ совершалось и что-нибудь положительное, если въ глубины зрыла понемножку самобытная русская мысль и получила, можетъ быть, ныкоторое оживленіе отъ самыхъ этихъ исчезающихъ метеоровъ, то это будеть уже другая исторія, очень темная и очень трудная.

Но что же дурнаго въ идев общаго матеріальнаго благосостоянія? Или точнве, почему эта идея оказалась у насъ такою слабою, почему ея жизненность такъ быстро истощилась?

На первый взглядъ это идея прекрасная; безъ сомн'ьнія, всякій желаль бы ея осуществленія; но сказать, что выше ея не должно быть никакого принципа, что она есть главная идея—вотъ что мы считаемъ и нев'ърнымъ и вреднымъ. Защитники ея насъ увъряють, что будто бы "всп, желающіе равномърнаго распредъленія матеріальнаго благосостоянія, желають и равномърнаго распредъленія духовных благь и наслажденій"; намь говорять, что, конечно, невозможно считать за что-нибудь дурное "желаніе снабдить сосъда тьмь, чего у него ньть"; наконець насъ спрашивають: "Развъ, желаніе надълить всъхъ и каждаго матеріальнымь благосостояніемь не способно составить идеаль, вызвать высокія чувства, великія мысли? Развъ, наконець, мы не видимь этого и въ дъйствительности, хотя бы и въ слабомь размъръ?" ("Отеч. Зап." 1872. Сентябрь, стр. 132).

Вотъ постановка дъла, которую мы охотно принимаемъ; мы очень желаемъ, чтобы вопросъ намъ предлагаемый не былъ мимолетною журнальною фразою, а быль действительною, серьезною мыслью, и будемъ отвечать на него въ этомъ смыслъ. Мы скажемъ ръшительно: нътъ, мысль о благосостоянии неспособна составить идеалъ, не можетъ вызвать высокія чувства и великія мысли. Къ этому способны и это могутъ делать только идеи чисто нравственныя, то есть такія, вся ціль которыхъ заключается въ нравственномъ усовершенствовани человъка, въ возвышении достоинства его жизни. Любовь къ ближнему запов'єдана намъ вовсе не какъ средство къ общему матеріальному благосостоянію, а какъ чувство, которое должень питать въ себъ человъкъ для блага своей души, для такого блага, которое стоитъ выше всего временнаго, всякаго имущества и наслажденія.

Только такими и подобными идеями живетъ человъчество; напрасно думають, что матеріальная жизнь когда нибудь много значила или будетъ значить въ историческихъ явленіяхъ и дъйствіяхъ людей. Идея благосостоянія сама по себ'в совершенно безсильна, и получаеть силу только тогда, когда возбуждаеть собою другія иден, наприм'връ, идеи состраданія, самоотверженія, любви, или же, наобороть, идеи злобы, зависти, мести. Человъкъ вообще живеть не имуществомъ, а твмъ чувствомъ, которое онъ въ себъ носить и которое его гръеть и даеть ему силу. И следовательно, чтобы идея была плодотворна, чтобы она могла способствовать развитію человіческихъ душъ, она должна содержать правило чувствъ, должна быть руководствомъ для сердецъ людей. А этогото и нътъ въ идеъ благосостоянія; и вотъ почему она не только не можетъ считаться прямым источникомъ высокихъ чувствъ, но справедливо обвиняется въ томъ, что никакъ не препятствуетъ развитію дурныхъ и злыхъ страстей. Когда любовь къ ближнему считается лишь средствомъ къ общему благосостоянію, то недалека мысль:- не поискать ли и другихъ средствъ, и не возможно ли обойтись безъ этой любви?

Если намъ указывають, что идея благосостоянія вз дъйствительности уже была источникомъ высокихъ чувствъ, то на это мы должны сказать, что туть дивиться рѣшительно нечему, что не только эта благовидная идея, а и всякія чудовищныя и дикія фантазіи могуть вызывать благороднѣйшія чувства и самый крайній героизмъ. Такое ужь созданіе человѣкъ, что онъ легко хватается за всѣ случаи, гдѣ требуется великодушіе и самоножертвованіе. Когда раздастся кличъ войны, посмотрите тогда на людей, если желаете понимать ихъ истинную природу. Всѣ вдругъ встрепенутся, какъ будто кончились будни и начинается какой-то праздникъ. Игра въ жизнь и смерть, возможность каждую минуту за что-то пострадать и умереть—безконечно привлекательны и заразительны. Энтузіазмъ загорается въ самыхъ вялыхъ и лівнивыхъ; зрители слідять за кровавымъ зрівлищемъ съ жадностью и радостнымъ любопытствомъ— они готовы сами вмішаться въ діло.

При такой натурѣ людей, что же мудренаго, что идея матеріальнаго благосостоянія нашла поклонниковъ, готовыхъ положить за нее свою душу? Все-таки, она никогда не будеть главною двигающею идеею, ни зиждительною, ни разрушительною; иден болве сильныя, двйствительно способныя насытить человъческое сердце, всегда возьмутъ верхъ надъ мыслыо о благосостояніи и она будеть лишь орудіемъ въ ихъ рукахъ. Изъ исторіи мы видимъ, какія идеи потрясали и обновляли человъчество. Христіанство было пропов'ядью блаженствъ, которыя не от міра сего, пропов'ядью новой правственности. Реформація—первое проявленіе могущественнаго германскаго духа, держалась на той мысли, что нравственное достоинство человъка зависить не отъ папы и его индульгенцій, а отъ Бога и сов'єсти каждаго. И т'в иден, которыя породили Революцію и до сихъ поръ, развиваясь и видоизм'вняясь, движуть Европу, состояли не въ одномъ желаніи правъ, имущества, устраненія гнета и т. п., а имъли нравственную подкладку, отъ которой и заимствовали всю свою силу. Онъ опирались на мысль, что челов'вкъ по самой своей природ'в добръ и хорошъ, что нравственное зло есть случайность, которую возможно устранить безъ правственныхъ усилій, что для этого нужно лишь побороть вижшнія условія, искажающія жизнь людей.

Идея матеріальнаго благосостоянія, въ которую, наконець, съузились понятія о счастій жизни и ея достоинствъ, есть очевидное порожденіе того же поворота въ нравственныхъ взглядахъ людей. Но она, если проводить ее строго и последовательно, собственно уже отрицаеть всякія стремленія, дурныя и хорошія, но им'єющія правственный, духовный характеръ. Конечно, она никогда не возобладаеть надъ ними на дёлё, въ двиствительности; но въ своей настоящей сферв, въ области идей, въ людскихъ умахъ и понятіяхъ, она можеть получить большую силу, и туть она действуеть несомивнию отрицательнымъ образомъ, расшатывая и разрушая другія идеи, и следовательно, въ сущности, разслабляя силы людей. Всв чисто духовныя стремленія-наука, искусство, благородство и чистота душитеряють свою истинную, высокую цёну и разсматриваются только какъ орудія, какъ средства для некоторой высшей цъли. Какъ нъкогда въ Средніе Въка наука была только служанкой богословія, такъ теперь она для многихъ умовъ стала служанкой матеріальнаго благосостоянія. Отъ искусства безпрестанно требують такого же рабства. Наконецъ, подлости и преступленія считаются чуть не героизмомъ, если они служать прогрессу. Такъ оправдалось давно сказанное слово, что нельзя служить въ одно время Богу и мамонъ.

Такимъ образомъ, просвъщение для многихъ современныхъ людей состоитъ преимущественно въ отрицапіи всякихъ духовныхъ требованій, какъ устарълыхъ предразсудковъ; свобода—только въ освобожденіи отъ давящей силы капитала; справедливость—только въ равномърномъ распредъленіи матеріальныхъ удобствъ жизни.

До какой степени такія идеи противны коренному духу русской жизни,— намъ кажется, не требуетъ поясненій и доказательствъ. Насколько въ этихъ идеяхъ
было призыва къ великодушію и жертвѣ, настолько
онѣ и были для насъ привлекательны. Но развиться и

укорениться на нашей почвѣ въ своемъ чистомъ видѣ онѣ не могли. Европа стара; она отжила свои духовныя стремленія. Мы же молоды, и старческія мысли скоро должны намъ опротивѣть. Наша полная духовная жизнь еще впереди, и, если насъ не обманываетъ наша любовь и вѣра, должна распуститься пышными цвѣтами и плодами.

Изъ тъхъ же идей проистекли и ходячія ученія о поэзіи, которыя унизили смыслъ искусства и много повредили ему и въ общемъ мнвніи и въ развитіи самихъ художниковъ. Идеи политической борьбы, насущной пользы, общаго благосостоянія и т. п. фанатически требовали себъ главнаго мъста, устраненія или подчиненія другихъ идей. Когда создаются новые боги, то старые должны быть низвержены, или даже обращаются въ демоновъ-соблазнителей, считаются врагами новаго божества. Кто не съ нами, тотъ противъ насъ. Книги, въ которыхъ писано не то, что въ нашемъ коранъ, -- вредныя книги и должны быть истреблены. Вотъ давнишнія правила нетерпимости и фанатизма, въ силу которыхъ въ нашъ просвъщенный въкъ поэзія подверглась такому гоненію и утвсненію, какого еще не бывало. Мудренаго туть ничего нъть: нашъ въкъ такое же поприще страстей и узкихъ мыслей, какъ и другіе въка; минуты, когда человъчество устремляется къ идеямъ широкимъ и истинно-чистымъ, ръдки и скоро проходятъ.

Всякая вещь только тогда бываеть предметомъ искреннихъ желаній и усилій, когда цёнится сама по себів, а не разсматривается только какъ средство для другой вещи. Къ вещамъ, которыя нужны намъ только какъ средства, мы бываемъ совершенно равнодушны, мы ихъ

бросаемъ какъ скоро употребили ихъ въ дело, мы готовы заменить ихъ другими вещами, мы часто питаемъ къ нимъ даже отвращение. Мы не любимъ и не имъемъ никакой надобности любить тѣ лекарства, которыя возвращаютъ намъ здоровье, или тотъ костыль, который замъняетъ намъ хромую ногу. Вотъ почему признать какой-нибудь предметь средствомо значить безмёрно умалить его значеніе; и воть гдъ основаніе для знаменитой формулы искусства для искусства. Она им'ветъ тотъ простой смыслъ, что искусство есть предметь хорошій самъ по себъ, всегда достойный любви и желанія, и следовательно не можеть быть разсматриваемо какъ средство. Противники этой формулы должны доказать, что искусство само по себъ безразлично, что оно ни хорошо ни дурно, а получаеть различную цену, смотря по своимъ результатамъ. Они должны поэтому доказывать, что есть случаи, когда искусство дурно, когда оно бываетъ безполезно, или безнравственно, или вредно въ какомъ-нибудь отношении.

Такъ они и доказываютъ.

Искусство, говорять они, не всегда ведеть къ нашимъ цълямъ, а иногда и противодъйствуеть имъ; слъдовательно оно бываетъ вредно. Вотъ положеніе, которое, по нашему мнѣнію, такъ же трудно доказать, какъ и то, что пищевареніе или дыханіе мѣшаютъ и противодѣйствуютъ чему-нибудь и потому бываютъ вредны.

Возьмемъ частный примёръ. Лозунгъ къ отрицанію истиннаго достоинства искусства далъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ, Некрасовъ. Еще въ 1856 году онъ написалъ стихотвореніе Поэтъ и Гражданинъ, въ которомъ гражданинъ говоритъ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать; Еще стыдиой въ годину горя

Красу долинь, небесь и моря И ласки милой воспывать...

И такъ, два предмета самымъ прямымъ и настоятельнымъ образомъ запрещаются поэзіи: праса долинг, небест и моря, т. е. природа, и ласки милой, то есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно стыдно думать о нихъ вт подину горя. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависить отъ человѣческаго произвола?

И чему же могуть мѣшать природа и любовь? Не составляють ли они нашей лучшей радости, не укрѣпляють ли они насъ въ минуты величайшаго горя? Насъ увѣряють, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываеть иногда стыдно; да это не стыдно не только въ годину горя, а и въ минуту самой смерти.

Посмотрите, что дълаетъ народъ, тотъ самый народъ, въ сочувствіи къ которому такъ усердно увъряють насъ наши поэты. Пъсня для него ежедневная, насущная потребность; въ горъ и трудъ онъ поетъ про синее море и про милаго друга.

Но, какъ видно, есть разница между настоящею пъснью, настоящею поэзіею, наполняющею душу и вырывающеюся изъ души, и стихами, которые продолжительно и упорно сочиняются въ петербургскихъ комнатахъ и предназначаются для украшенія журнальныхъ книжекъ. Никогда истинный поэтъ не усумнится взять предметомъ своего пъснопънія природу или любовь; но стихотворецъ, сочинитель стиховъ, вынужденный подогръвать и растятивать свои маленькія чувства, для того чтобы изъ нихъ что-нибудь вышло, конечно можетъ потерять въру въ достоинство такихъ предметовъ.

Какой смыслъ им'вють для Некрасовскаго гражданина природа и любовь, если онъ отозвался объ нихъ съ такимъ презрѣніемъ? "Краса долинъ, небесъ и моря" есть для него предметъ празднаго созерцанія, зрѣлище почему-то пріятное для глазъ, но ничего не говорящее уму и сердцу. А между тѣмъ природа въ своей вѣчной красотѣ есть великая тайна. Точно такъ, любовь ему является только какъ наслажденіе, какъ ласки милой, которыя дъйствительно стыдно воспивать, если съ ними не связано ничего, кромѣ мысли объ удовольствіи. Между тѣмъ любовь вѣдь не состоить изъ одной клубнички и имѣетъ духовную сторону, которая безмѣрно глубока и которой кажется ни на минуту не долженъ бы забывать ни одинъ поэтъ.

Мы вовсе не думаемъ искажать серьезнаго значенія, въ которомъ сдёланы эти выходки; это, изволите видёть, нѣ-который суровый аскетизмъ, гражданское монашество. Отреченіе отъ любви есть знакъ отреченія отъ радостей жизни; отреченіе отъ природы есть фанатическое отрицаніе всёхъ отвлеченныхъ, непрактическихъ интересовъ; созерцаніе природы, какъ извёстно, есть дёло вполнѣ безкорыстное и вполнѣ свободное отъ чувственности. Вотъ та суровая гражданская мысль, въ силу которой Некрасовъ такъ рѣшительно подсмѣялся надъ "красою долинъ, небесъ и моря" и надъ "ласками милой".

Но посмотрите, что вышло изъ такого противоестественнаго и анти-поэтическаго настроенія, изъ такой неосмысленной дерзости противъ существенныхъ законовъ природы и человѣка. Настроеніе, овладѣвшее Некрасовымъ еще въ 1856 году, въ послѣдствіи нашло себѣ весьма пригодную почву въ нашемъ подвижномъ обществѣ, разрослось и стало господствовать. Только немногіе поэты, преимущественно тѣ три, которые заключаются въ стихѣ Добролюбова—

Майковъ, Полонскій и Феть

пе поддались общему теченію (одинъ изъ нихъ однако изръдка поддавался); всв остальные стихописатели захотъли непремвно быть "гражданскими" поэтами, стали выбирать предметомъ пвнія "гражданскіе мотивы" и стали проливать "гражданскія слезы". Что же вышло? Расплодилась невыносимая реторика, которая имветъ себъ равную только въ реторикв нашихъ одъ конца прошлаго столітія; настоящая же поэзія, истинное вдохновеніе—почти вовсе исчезли. Новыхъ поэтовъ не является; молодые люди съ поэтическою струйкою сейчасъ-же попадають подъ вредное вліяніе господствующей школы, и—прощай поэзія!

Но вышло нѣчто и гораздо худшее. Такъ какъ стыдно стало воспѣвать "красу долинъ, небесь и моря", то наши стихотворцы и читатели журналовъ перестали глядѣть на небо и оборотились спиною къ морю. Бѣда была конечно еще не большая. Небо и море отъ этого не измѣнилось; небо по прежнему одинаково сіяло

Надъ безпорочнымъ п виповнымъ;

море по прежнему было могуче и величественно, по прежнему билось въ свои берега и безъ конца мѣняло видъ на своемъ просторѣ. По счастію, скажемъ кстати, природа недоступна никакой власти даже сильнѣйшаго прогресса, а безъ того, нѣтъ сомнѣнія, ей пришлось бы плохо. Подъ вліяніемъ своихъ идей люди давно бы ее исковеркали; какая-нибудь новая коммуна, перебивши всѣ статуи и сожегши всѣ картины, пожалуй обратила бы вниманіе и на соблазнъ, вносимый въ общество "красою долинъ, небесъ и моря", и—будь только это въ ея

власти—не задумавшись стерла бы эту сіяющую красоту съ лица природы.

И такъ природа намъ осталась такою же, какъ была. Но не то вышло съ любовью. Любви устыдились и перестали ее восиввать. Но спрашивается, перестали ли влюбляться и жениться? О, нътъ! влюблялись и женились по прежнему, только въ тихомолку, не делая изъ этого серьознаго дела и не поднимая большаго шума изъ за такихъ пустяковъ. Перестали думать и говорить о любви, но на дёлё отъ нея нимало не отказались. И вотъ, такъ какъ понятія о любви понизились, упростились и огрубъли, то стали происходить явленія смѣшныя и безсмысленныя, или даже отвратительныя и ужасныя. Смъшно было, когда влюбленные скрывали свои постыдныя чувства и сохраняли видъ гражданской суровости и равнодушія; отвратительно было, когда никакого чувства действительно не было и любовь принималась за естестоенную потребность, въ родъ вды и питья.

Наибольшее зло понесли въ этомъ случай женщины. Инстинкть, побуждающій женщину стать женою и матерью, такъ силенъ въ ен натурй, что можетъ все заглушить и вмёшивается во всё женскія дёла и отношенія. Когда мужчины стали пропов'ядывать, что любовь не дёло серьозныхъ людей, что умные люди не должны вполн'я отдаваться поэзіи этого чувства, что даже вся эта поэзія вздоръ, а главное—трудъ, наука, политическіе разговоры,—женщины ничего не съум'яли возразить на это отрицаніе своего значенія; он'я повидимому поворились, остригли волосы, перестали наряжаться, стали возиться съ книгами, размахивать руками и толковать тоже о труд'я, наук'я, политическихъ вопросахъ. Но своего он'я достигли—любовь процв'ятала по прежнему, не

смотря на простоту и суровость новыхъ формъ. Таинственное влеченіе и средство душъ было осмѣяно и отвергнуто; за то явилось новое начало, дѣйствующее даже гораздо сильнѣе—сходство убъжденій.

Мы слегка касаемся здёсь предмета очень обширнаго, представляющаго безчисленныя варіяціи. Странное и печальное зрѣлище представляетъ это извращение душъ подъ вліяніемъ противоестественныхъ идей. Вотъ намъ наглядное доказательство, какъ права, естественна и полезна поэзія восп'явающая любовь. Она одухотворяеть это чувство, возвышаеть и истолковываеть лучшее его значение и такимъ образомъ противодъйствуетъ всякаго рода разврату, который неизбежно является, какъ скоро отношенія между полами опредбляются какими-нибудь другими началами, все равно деньгами или гражданскими убъжденіями. Даже чувственную страсть можно считать въ этомъ случав лучшимъ правиломъ, чвиъ низведение любви на степень простой физической потребности, чемъ холодное сластолюбіе, неоправдываемое никакою страстью, не дълающее никакого выбора.

Каковъ бы ни быль смыслъ, въ которомъ прежніе поэты выставляли любовь, онъ, по самому свойству поэзіи, никогда не заключалъ въ себѣ ничего грязнаго.
Пушкинъ, напримѣръ, котораго Добролюбовъ называлъ
съ насмѣшкою эротическимъ поэтомъ, есть истинный образецъ цѣломудрія. Онъ возвелъ въ нашей литературѣ чувство любви до его совершенной чистоты; онъ умѣлъ смотрѣть на женщину,

Благогов'вя богомольно Передъ *святыней* красоты.

Между тъмъ теперь мы дошли до того, что не понимаемъ этой святыни и этого цъломудрія. Любовь стала синонимомъ клубнички. Съ какимъ азартомъ журналистика набрасывалась и набрасывается на всякаго поэта или романиста, который вздумаетъ изображать любовь! Можно подумать, что здёсь дёйствуетъ достойный почтенія ригоризмъ, гражданское пуританство. Между тёмъ въ дёйствительности тутъ иногда обнаруживается только развратное понятіе о любви; любовь считается вещью совершенно дозволительною, простою, ежедневною, но говорить о ней нельзя, такъ какъ въ сущности она все-таки только клубничка, и на большее значеніе претендовать не должна, чтобы какъ нибудь—сохрани Боже! —не отвлечь насъ отъ тёхъ серьозныхъ дёлъ, которыя мы постоянно дёлаемъ.

Естественно, что когда стихотворцы им нотъ такія пакостныя понятія, то у насъ не будеть и пѣсенъ о любви. И вообще понятно, почему при такомъ настроеніи у насъ упала поэзія, и никто не хочеть читать стиховъ даже съ наилучшими гражданскими чувствами. Мы наказаны за то, что измѣнили завѣту Шиллера:

Пъвецъ о мюбои благодатной поеть, О всемъ, что святаго есть въ мірѣ, Что душу волнуеть, что сердце манить.

Мы вздумали обратить поэзію въ средство, и поэзія исчезла; мы забыли, что говорить поэту императоръ:

Не мив управлять песнопевца душой! Опъ высшую сплу признать падъ собой: Минута—ему повелитель.

Въ этихъ словахъ выражена истинная, неизмѣнная природа поэзіи. Поэтъ, который пересталъ имъ вѣрить и ихъ соблюдать, перестаетъ быть поэтомъ.

(1873 г.)

# и Фейервахъ

И сыновъ твонхъ покинетъ Мысли ясной благодать.

Хомягода.

Фейербахъ представляетъ весьма значительное, или лучше, знаменательное явленіе въ современной философіи. Характеристично для него то обстоятельство, что онъ почти совершенно одинока, что у него, собственно говоря нъть последователей. Вы самомы дель, изы числа техы, которые клянутся его именемъ, почти никто его не понимаеть. Мы знаемь только одного писателя, который, намъ кажется, върно понялъ и почти всегда върно слъдуетъ Фейербаху (Герцена). Другіе понимають его очень просто, именно считають его матеріалистомъ, то есть низводять на весьма низкую степень, на степень своего собственнаго пониманія, на которой почти ровно ничего не остается понимать. Такая одинокость Фейербаха вовсе не есть дурной признакъ для самаго Фейербаха. При ней онъ всетаки могъ бы быть показателемъ и выразителемъ чрезвычайно глубоваго движенія мысли. Къ сожальнію, намъ кажется въроятнъе другое объяснение этого явления. Фейербахъ одинокъ потому, что представляетъ глубокую мысль, доведенную до крайности, и по тому самому съ одной стороны требуеть большой тонкости для своего настоящаго пониманія, съ другой стороны—при непониманіи можеть совпадать съ мыслію весьма грубою и плоскою. Такъ это бываеть. Высшею мудростію для однихъ бываеть то, что другіе признають величайшимь безуміемь. Такимъ образомъ я полагаю, что мысль Фейербаха есть чужая и върная мысль, только доведенная имъ до тъхъ размъровъ и образовъ, когда она естественно кажется нелъпостью и, повидимому, совпадаеть съ самыми обыкновенными глупостями. Къ такому убъжденію привели меня попытки проникнуть въ мысль Фейербаха, понять ее точнъе и опредъленнъе. Эти попытки я и намъренъ здъсь изложить.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

O томъ, можно ли издавать полное собраніе своихъ сочиненій.

Полныя собранія сочиненій какого-нибудь живаго или покойнаго автора есть дёло весьма обыкновенное и каждому знакомое. Они бывають въ различной степени полныя, бывають иногда неудобны и странны, и тогда охотно замёняются "избранными сочиненіями" того же автора; но, какъ бы то не было, полныя собранія сочиненій есть явленіе весьма установившееся и опредёленное. Каждый писатель не нашель бы ничего страннаго въ мысли о полномъ собраніи своихъ сочиненій, или по крайней мёрё тотчась бы нашель надлежащее отношеніе къ этой мысли,

именно сталь бы р'вшать, что должно входить въ это собраніе и что н'втъ.

Но не такъ думаетъ Фейербахъ. Въ 1846 г. вышелъ первый томъ его полнаго собранія сочиненій изъ типо-графіи Отто Виганда, и этотъ первый томъ начинается слѣдующимъ любопытнымъ предисловіемъ:

# предисловіе.

"Открывая симъ полное собраніе своихъ сочиненій, я "долженъ прежде всего зам'єтить, что это собраніе древ-"постей обязано своимъ происхожденіемъ не мнів, а моему "издателю."

> Je ferme à jamais Ce livre à ma pensée étranger désormais, Je n'écouterais pas ce qu'en dira la foule, Car qu'importe à la source, où son onde s'écoule?

"Такъ думалъ я не только при той маленькой брошюрѣ, "при которой я прямо привелъ эти слова французскаго "поэта; такъ думалъ я при каждомъ своемъ сочиненіи."

Не правда ли, любонытно? Поэть сказаль: п пою какъ птица пость; оказывается, что и философъ такая же птица, что ему нѣть дѣла до одобреній, что, распѣвая новыя пѣсни, онъ не думаеть о старыхъ, словомъ, что сладость для него заключается въ самомъ процессть пѣнія. Впрочемъ, философъ старается объяснить это нѣсколько раціональнѣе, чѣть дѣлаютъ поэты, сравнивающіе себя то съ птицею, то съ источникомъ, которому все равно, куда течетъ его волна. Фейербахъ объясняеть дѣло такъ:

"Каждому готовому. сочинению я говориль: прости "навсегда; каждое изъ нихъ приводило только миѣ къ "сознанию мои ошибки и недостатки и потому не остав-"ляло во миѣ ничего инаго, кромѣ настоятельнаго же-"лания—изгладить его память новымъ сочинениемъ." Резонъ самый основательный. Какъ скоро человѣкъ прогрессируетъ, то такъ это и должно быть. Онъ каждымъ слѣдующимъ сочиненіемъ долженъ изглаживать память о предъидущемъ. Нужно только благодарить Бога, если прогрессъ этотъ имѣетъ не слишкомъ большую быстроту, если человѣкъ, по крайней мѣрѣ, успѣетъ отослать въ типографію и продержать корректуру своего сочиненія прежде, чѣмъ почувствуетъ, что оно только приводитъ ему въ сознаніе его ошибки и недостатки. Хорошо, что пока статья печатается, еще можно терпѣть; но какъ скоро печатаніе кончено, то, по мнѣнію фейербаха, нужно тотчасъ приниматься изглаживать память объ этомъ напечатанномъ.

Понятно теперь, какъ онъ долженъ смотреть на полное собрание своихъ сочинений.

"И вдругъ", продолжаетъ онъ, "мнѣ предлагается, чтобы "я свой духъ, свой недовольный, противокнижный, ан-"тибиблейскій духъ обратилъ на всѣ мои сочиненія, дав-"но исчезнувшія изъ моей памяти. Какое предложеніе! "Какъ? Я долженъ плыть противъ теченія жизни? Въ "противность ходу природы, вмѣсто того, чтобы идти "впередъ, идти назадъ? въ противность хорошему вкусу, "пережевывать то, что давно переварено? въ противность "влеченію плоти, вмѣсто того, чтобы раждать дѣтей, "оживлять мертвыхъ? Нѣтъ, мой любезный господинъ "Вигандъ! Такое дѣло противно моей природѣ, против-"но моему чувству."

Удивительнъйшее предисловіе, какое только когданибудь было написано къ полному собранію сочиненій! Въ самомъ дълъ, авторъ самъ, добровольно и даже съ величайшимъ увлеченіемъ объявляетъ читателямъ, что его произведенія суть совершенная мертвечина, или еще хуже—нѣчто давно переваренное, которое пережевывать, конечно, весьма противно хорошему вкусу.

А между тёмъ авторъ именно такъ смотритъ на свои сочиненія, и иначе не могъ смотрёть. То, что Фейербахъ сказалъ вчера, сегодня уже не годится, и то, что онъ говоритъ сегодня, не будетъ уже никуда негодно завтра. Таковъ безостановочный прогрессъ его мысли.

Фейербахъ очевидно совершенно доволенъ такимъ положеніемъ дѣлъ. Таковъ мой духъ, такова моя натура, таково мое чувство, говоритъ онъ съ явною гордостью. Да и почему же ему не быть довольнымъ? Онъ обладаетъ истиной, такъ какъ въ каждую данную минуту онъ признаетъ за истину то, что онъ думаетъ въ эту минуту.

Для него-то хорошо, но для читателей здёсь встрёчается затрудненіе, на которое мы уже намекнули. Та истина, которую Фейербахъ носить въ головѣ, очевидно никакъ не можеть попасть въ книгу. Какъ скоро она стоить въ книгѣ, ея уже нѣтъ въ головѣ автора и, слѣдовательно, она уже не истина. Мой духъ, говоритъ Фейербахъ, есть духъ противокниженый, т. е. невыражающійся въ книгахъ, и потому отвергающій книги, непризнающій ихъ настоящей годности и нужды.

Но если такъ, если твои книги могутъ быть только мертвечиной или чѣмъ то давно перевареннымъ, то тебя вовсе не слѣдуетъ читать, возразятъ читатели. Вотъ заключеніе, котораго тѣмъ или другимъ способомъ, но непремѣнно нужно было избѣжать фейербаху. Тотчасъ послѣ приведенной выходки, онъ говоритъ:

"Между тѣмъ, какъ это часто случается въ жизни, "размышленіе побъдило наконецъ сопротивленіе чувства. "Именно, я слъдующимъ образомъ разсуждалъ и спо"рилъ съ собою. Конечно, зрѣлище твоихъ сочиненій, и "именно самыхъ раннихъ, есть для тебя нерадостное "зрѣлище давно уже чуждаго тебѣ прошедшаго; но развѣ "то, что для тебя прошло, прошло по этому и для дру-"гихъ? Развѣ завѣса, которая спала съ твоихъ глазъ, "не составляетъ еще теперь панцыря твоихъ против-"никовъ?"

"Развѣ твой кредить не быль поколеблень именно "твоими позднѣйшими сочиненіями, которыя—увы! еще "весьма несовершенно—выражають твое нынѣшнее на-"строеніе и образъ мыслей?"

"О!" заключаетъ онъ, "какой бы великій ты быль мы-"слитель, еслибы и теперь еще думаль такъ же, какъ "прежде!"

Итакъ, онъ приходитъ къ ироническому выводу, что его прежнія, для него уже никуда негодныя сочиненія, еще вполнъ годятся для текущаго времени, для современниковъ.

"Нельзя этого отвергать; но развѣ настоящее есть "мѣра истины и человѣчества? развѣ оно есть законо-"датель будущаго? Не будетъ ли, можетъ быть уже въ "ближайшемъ будущемъ, истиною то, что считается "теперь заблужденіемъ, практикою то, что теперь одна "теорія? И такъ, ужели вниманіе къ нынѣшнему дню "должно останавливать твой неустанно стремящійся "духъ?—Никоимъ образомъ."

И такъ, впередъ и впередъ; ни на чемъ старомъ останавливаться не должно. Обращаясь къ своему полному собранію, Фейербахъ дѣлаетъ такой выводъ:

"Только въ томъ случав, если ты можешь примирить "самого себя съ твоимъ прошедшимъ, если ты можешь "согласить его съ твоимъ собственнымъ настоящимъ, съ "своей теперешней точкой зрвнія; только въ такомъ слу-"чав ты можешь допустить, чтобы оно снова воскресло."

Затемь Фейербахь начинаеть разсуждать на тему: ,,каковь я прежде быль, таковь и нынё я", и разсуждаеть прекрасно и основательно. Онъ съ большою тонкостію показываеть, что и старыя, и новыя его сочиненія, хотя противорёчать другь другу, но носять на себё совершенно одинаковый характерь, и что начальный періодъ его д'вятельности естественнымъ и необходимымъ образомъ долженъ быль породить изъ себя д'вятельность втораго періода. Всему этому легко пов'єрить даже на слово: челов'єкъ каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку; не смотря на вс'є перем'єны, онъ всегда сохраняеть въ своихъ проявленіяхъ н'єкоторое коренное единство.

Предисловіе оканчивается словами:

"И такъ, я согласился на это полное собраніе только "подъ условіємь, что я не просто буду моимъ собствен-"нымъ, хотя бы и критическимъ антикваріємъ, но что, "вмѣстѣ съ тѣмъ, я употреблю книжную пыль моего "прошедшаго въ видѣ навоза для новаго произращенія, "которое должно хотя въ главныхъ чертахъ пополнить "мою тему."

По просту, это значить, что онъ рѣшился сдѣлать примѣчанія и поясненія къ своимъ старымъ статьямъ, такъ что читатели рядомъ со старымъ навозомъ получають и это новое произращеніе.

Вотъ точное изложение того, какимъ образомъ Фейербахъ помирился съ мыслію о полномъ собраніи своихъ сочиненій. Помирился онъ съ нею, какъ видно нешутя. Передъ нами девять томовъ обыкновеннаго формата. Первый томъ, въ которомъ было разобранное здівсь предисловіе, явился въ 1846 году, послёдній — въ 1857.

Глядя на эти книги, читатель будеть однако же совершенно правъ, если сохранить нѣкоторое недоумѣніе. Развѣ можетъ быть ими доволенъ противокнижный, неустанно стремящійся впередъ духъ фейербаха? Не онъ ли говорилъ, что каждая его книга только приводить ему въ сознаніе его ошибки и заблужденія? Не его ли слова, что то, что передумано, похоже на то, что переварено?

Чему же върить? Тому ли, что Фейербахъ былъ и останется все тъмъ же Фейербахомъ, или тому, что съ каждымъ новымъ шагомъ, съ каждою новою книгою, онъ перестаетъ быть тъмъ, чъмъ былъ?

Върьте послъднему, читатель, и вы будете ближе къ истинной мысли Фейербаха. Онъ самъ, въ другомъ мъстъ, весьма ясно выразилъ это въ видъ слъдующаго афоризма: "ты хочешь знать, что я такое? Погоди, пока я перестану быть тъмъ, что я теперь."

### ГЛАВА ВТОРАЯ

О томъ, можно ли сказать, что "человѣкъ имѣетъ голову"?

Разсуждение объ этомъ находится въ лекциях о сишности религи, именно въ 14-й лекцін. Никто не станеть спорить, что истина: человью импеть голову, или: у всякаго человъка есть голова, есть истина хотя не им вющая особой важности и глубины, но во всякомъ случав истина простая, ясная, несомнённая. Тёмъ поучительные видыть, какъ анализируетъ это ясное положеніе Фейербахъ; на такомъ простомъ примъръ всего яснъе можно подмътить особенность его мышленія. Фейербахъ вооружается противъ какихъ-то ложныхъ пониманій, къ которымъ будто-бы даеть поводъ разбираемая истина; онъ старается выяснить ея настоящій, действительный смысль; но, какъ мы увидимъ, перебирая всевозможные смыслы, онъ все-таки не добрался до настоящаго смысла. Поэтому въ концъ концовъ у него выходить, что положение человым имыеми голову есть софизмъ.

"Каждый человѣкъ", начинаетъ онъ, "имѣетъ голову, "конечно человѣчью голову, т. е. голову съ человѣчес-"кими свойствами, ибо и животныя имѣютъ головы, хотя "голова не принадлежить къ характеристическому по"нятію животныхъ вообще, такъ какъ существуютъ жи"вотныя, у которыхъ настоящей, развитой головы еще
"вовсе не имъется, и даже у болъе высокихъ живот"ныхъ голова служитъ только низшимъ потребностямъ
"и не имъетъ самостоятельнаго достоинства и значенія;
"поэтому у нихъ собственно-голова отступаетъ назадъ
"сравнительно съ челюстями. И такъ, голова есть отли"чіе, свойственное всъмъ людямъ, есть общій, существен"ный признакъ или предикатъ человъка; существо, выхо"дящее изъ материнскаго тъла безъ ногъ и рукъ, есть
"конечно человъкъ, но существо безъ головы не есть
"человъкъ.,

Вотъ весьма положительное объяснение, въ которомъ не мало страннаго. Уже здёсь очевидно, что положение: человьки импеть голову не нравится Фейербаху. Онъ обставляеть его какими-то оговорками и поясненіями, неизвъстно почему нужными. Когда я говорю, что человекъ имееть голову, что голова есть общій признакъ человъка, то я просто хочу сказать, у человъка есть та часть тъла, которая называется головою. При этомъ вовсе я ничего не подразумъваю о человъчьей головъ, о ея характеристическихъ свойствахъ, о ея самостоятельномъ достоинствъ и значении и т. п. Такъ точно, когда я говорю: человъкъ имъетъ двъ ноги, а лошадь четыре, то я вовсе не хочу сказать: человъкъ имъетъ двъ человъчьи ноги, а лошадь четыре лошадиныя ноги, а хочу именно утверждать: тих частей тила, которыя называются ногами, у человика дви, а у лошади четыре.

Но эти простые и ясные пріемы мысли, какъ видно, не нравятся Фейербаху. Пусть будеть однакоже по его: прибавимъ къ нашему положенію еще другое; скажемъ такъ: человъкъ имъетъ голову; человъческая голова имъетъ извъстныя характерическія свойства  $^{1}$ ).

"Но", продолжаетъ Фейербахъ, "развъ изъ этого слъду-"етъ, что всѣ люди имъютъ только одну голову? А между "тъмъ единство головы есть необходимое слъдствіе един-"ства рода, какъ понимаеть его дающее ему самостоя-"тельность отвлеченное, нечувственное <sup>2</sup>) мышленіе."

Очевидно Фейербахъ вооружается здёсь противъ какого-то невозможнаго и небывалаго заблужденія. Никому конечно не можетъ придти на мысль единство головы. Фейербахъ говоритъ однакоже, что это единство есть необходимое слёдствіе единства рода (родъ, здёсь разумѣемый,—человѣкъ). Если такъ, то отсюда можно вывести только одно заключеніе: должно быть единство рода понимается совершенно иначе, чѣмъ думаетъ Фейербахъ; ибо никто не выводитъ изъ него этого "необходимаго" слёдствія.

Пойдемъ далъ́е и мы яснъ́е увидимъ, въ чемъ состоитъ то отвлеченное, нечувственное мышленіе, противъ котораго такъ вооружается Фейербахъ.

"Не свидътельствуетъ ли мнъ", продолжаетъ онъ, "чув-"ство, что каждый человъкъ имъетъ свою голову, что "существуетъ столько головъ, сколько людей, и что слъ-"довательно нътъ общей или родовой головы, а есть "только индивидуальныя головы? Что голова, какъ родовое "понятіе, голова, отъ которой я отнялъ всъ индивиду-"альныя отличія и признаки, существуетъ только въ моей "головъ, а внъ моей головы существуютъ только головы?" И такъ фейербахъ идетъ все дальше и дальше. Прежде вмёсто: исловикъ импетъ голову онъ хотълъ поправить такъ: каждый исловикъ импетъ исловъческую голову; теперь онъ дѣлаетъ еще новый шагъ; опасаясь, чтобы эту человъческую голову не припяли за одну голову, онъ измѣняетъ первоначальную формулу въ такую: каждый исловикъ импетъ свою голову. Ему даже положительно не нравится единственное число—голова; онъ предпочитаетъ множественное; ибо, говоритъ онъ, существуетъ не голова, а головы.

Между твить сущность двла заключается именно въ единственномъ числъ. Множественное число есть форма производная; первоначальная же и коренная форма есть единственное число. Смыслъ единственнаго числа есть именно настоящій смыслъ слова голова, и этотъ смыслъ, какъ видно, ускользаетъ отъ фейербаха.

"Ибо, что же существенно", говорить онь, "воть въ "этой, въ моей головъ? То ли, что она голова вообще, "или то, что она эта опредъленная голова? Конечно то, "что она—эта голова; ибо, кто у меня отниметь мою го-"лову, тоть лишить меня вообще всякой головы. И также, "дъйствуетъ, творитъ, мыслитъ не голова вообще, а только "дъйствительная, индивидуальная голова."

Что существенно въ моей головъ? О, конечно то, чтобы это была хорошая голова, чтобы обо мнъ говорили: вотъ человъкъ съ головой, чтобы за мною признавали голову въ самомъ лучшемъ ея значеніи. Фейербахъ думаетъ иначе. Существенно, говоритъ онъ, то, что это моя голова, а не чужая. Ибо, доказываетъ онъ, если у меня отнимутъ эту голову, какая она тамъ ни есть, то у меня уже не будетъ никакой головы.

Безъ сомнинія, это очень важно и существенно; но

<sup>1)</sup> Она есть голова по преимуществу, на что и намекаеть Фейербахъ; но опять не въ этомъ дёло.

<sup>2)</sup> У Фейербаха зд'ясь каламбурь; нечувственный онъ выражаеть словомъ sinnlos т. е. въ обыкновенномъ значенін — беземысленный.

только для кого? Для васъ, а не для кого другаго. Каждому человъку дорога своя голова, хотя бы она была и весьма дрянная. Цъна и существенность головы въ этомъ смыслъ совсъмъ иное дъло, чъмъ существенность вообще. Слъдуя ходу фейербаховой мысли, мы должны сказать, что нъть ничего существенного вообще, а все на свътъ существенно только для себя. Но тогда нечего и спрашивать: что существенно въ такой то вещи? Отвътъ будетъ: все существенно, или, что все равно: все несущественно.

"Только индивидуальная голова дёйствуетт, творить, мыслить." Это можеть имёть большую важность и существенность для этой индивидуальной головы. Но намъто какое дёло? Для насъ эта дёятельность, это творчество и мышленіе могуть оказаться совершенно ничтожными. Для насъ важно то, что важно вообще, а не то, что важно именно для этой головы.

Фейербахъ повторяеть и точне выражаеть свою мысль следующимъ образомъ.

"Слово: индивидуальный конечно двусмысленно; ибо мы подразуми ваемь подъ нимь также и тв неважныя, слу"чайныя, незначительныя особенности, которыми человыкъ
"часто отличается отъ другихъ. Поэтому, чтобы понять
"вначеніе индивидуальности, прежде всего нужно проти"вупоставить человыка, или, держась примыра, голову
"человыка—животной головы, нужно поставить себы на
"видъ индивидуальность человыческой головы въ отличіе
"отъ животной. Но и дальше, при сравненіи человыче"ской головы съ человыческою, хотя конечно существу"ють индивидуальныя различія въ томъ смыслы, въ
"которомъ индивидуальное означаеть незначущія особен"ности, существенное однакоже состоить въ томъ, что

"наждый человъкъ имъетъ *свою собственную* голову, вотъ "эту опредъленную, чувственную, видимую, индивиду-"альную голову".

Воть изложеніе, весьма ясно представляющее ходъ мысли Фейербаха. Благодаря этой ясности, можно тотчась видёть, что начало здёсь вовсе не сходится съ концомь. Въ началь фейербахъ требуеть, чтобы мы отличали человъческую голову отъ животныхъ головъ. Требованіе весьма правильное и пріемъ отличенія есть весьма старинный, хорошо знакомый пріемъ. Но если идти этимъ путемъ, то рядъ нашихъ мыслей будетъ таковъ:

- 1) Человъкъ, подобно многимъ другимъ животнымъ, имъетъ голову.
- 2) Человъческая голова существенно отличается отъ всякихъ другихъ головъ.
- 3) Голова каждаго человѣка имѣетъ свои особенности. Этого-то послѣдняго положенія и не хочетъ Фейербахъ; онъ полагаетъ, что, идя тою же дорогою, мы придемъ совсѣмъ къ другой истинѣ, именно къ такой:
- 3) Каждый человъкъ *импетъ свою собственную* голову (не въ смыслъ особенной, отличной отъ другихъ).

Совершенно ясно однако же, что къ этому положенію никакъ нельзя прійти путемъ отличенія и обособленія; этимъ путемъ мы приходимъ только къ положенію: голова каждаго человъка имъетъ свои особенности. Мало того: едва ли есть такой путь, которымъ можно бы было прійти къ положенію Фейербаха. Собственно говоря, это положеніе невозможно выразить словами безъ противоръчія. "Каждый человъкъ, говоритъ Фейербахъ, имъетъ свою собственную, вотъ эту опредъленную, чувственную, видимую, индивидуальную голову". Странная ръчь!

Каждый человъкъ имъетъ свою голову.

Каждый челов'якъ им'етъ собственную голову.

Каждый челов'якь им'веть опредёленную голову.

Каждый человёкъ имёетъ видимую голову.

Каждый человікь иміеть чувственную голову.

Каждый человъкъ имъетъ индивидуальную голову.

Каждый челов'якъ им'веть воть эту голову.

Не ясно ли, что рядъ этихъ положеній представляеть напрасныя усилія сказать что-то не поддающееся слову?

Всв они, кромв послвдняго, двусмысленны, какъ замвтилъ Фейербахъ о словв: индивидуальный. Только послвднее приближается къ его настоящей мысли; за то оно совершенно безсмысленно:

Каждый человькъ имьетъ вотъ эту голову.

Такъ нельзя говорить. Но это выражение указываетъ тотъ случай, когда Фейербархъ считаетъ возможнымъ признать у человъка голову. Представьте, что передъ вами находится нъкоторый человъкъ; вы конечно можете сказать такъ:

Этотъ человъкъ имъетъ вотъ эту голову, ту, которую я вижу, ту, которую осязаю, ту, которая находится только въ этомъ мъстъ, которая только ему принадлежитъ, которая ему индивидуальна.

Рѣчь конечно весьма справедливая; но подобное мышленіе возможно только въ присутствіи предметовъ его возбуждающихъ. Фейербахъ полагаетъ, что это-то и есть самое драгоцѣнное и высшее мышленіе; что, какъ скоро изъ моихъ глазъ скроется какая нибудь голова, или даже скроются всякія головы, и я отважусь на тощее размышленіе: "да, у всякаго человѣка есть голова", то я уже впаду въ нѣкоторое заблужденіе; ибо я уже буду говорить о головъ вообще, о такой головѣ, которой я не вижу и не осязаю, о которой не могу сказать: "вотъ она,

воть эта голова", слъдовательно буду говорить о какойто вовсе не существующей головъ.

Положеніе, въ которое такимъ образомъ старается поставить себя фейербахъ для истиннаго разумѣнія вещей, до того насильственно, что удержаться въ немъ невозможно. Фейербахъ какъ будто пробуетъ ходить по острому гребню крыши, и безпрестанно сваливается то на одну, то на другую сторону. Онъ самъ не въ силахъ выдержать своей точки зрѣнія. Вотъ какъ онъ разсуждаетъ далѣе.

"Голова, какъ родовое понятіе, какъ общій аттрибутъ "или признакъ всёхъ людей, имбетъ поэтому не иное ка-"кое значеніе, не иной какой смыслъ, какъ тотъ, что всё "люди сходны въ томъ, что каждый имбетъ голову."

Люди сходны въ томъ, что голова бываетъ не то чтобы у двухъ, или у трехъ, или у нѣсколькихъ людей, а у каждаго человѣка. Замѣчательное сходство! На каждую голову приходится по человѣку и на каждаго человѣка по головѣ. Вотъ общій признакъ, принадлежащій всѣмъ людямъ. Признакъ конечно правильный, но очевидно это не то, что хотѣлъ сказать Фейербахъ.

"Если же", продолжаетъ онъ, "несмотря на это сходство "(что голова есть у каждаю), я однакоже отрицаю то, "что всв люди имъютъ только одну голову, — а это, т. е. "единство головы, составляетъ необходимое слъдствіе того "представленія, по которому единство рода, въ отличіе "отъ недълимыхъ, есть нъчто существующее, самостоя— тельное, именно же того представленія, по которому всв "люди имъютъ только одинъ разумъ; если я утверждаю: "существуетъ столько же головъ, сколько недълимыхъ, если "я такимъ образомъ отожествляю голову съ недълимымъ, "не различаю или не отрываю ихъ другъ отъ друга, то

"слѣдуетъ развѣ изъ этого, что я отрицаю значеніе и "существованіе головы, что я дѣлаю изъ человѣка без"головое существо? Напротивъ, вмѣсто одной головы я "получу много головъ, и если четыре глаза больше ви"дятъ, чѣмъ два, то и многія головы совершаютъ гораз"до больше, чѣмъ одна голова; и такъ, я нетолько ни"чего не теряю, но даже выигрываю.

Существует столько голов, сколько недълимых; фейербахъ уже прямо принимается считать и повидимому полагаеть, что истинный смысль положенія: человък имьеть голову должень выразиться такъ: каждый человък имѣеть по одной головъ, откуда прямое слѣдствіе: сколько людей, столько головъ. Понимаемое строго-ариеметически, конечно это положеніе совершенно справедливо. Да только опять вовсе не то хотѣль сказать фейербахъ; очевидно онъ не имѣлъ въ виду одну ариеметику.

Воть и всё разсужденія Фейербаха относительно этого предмета. Пересматривая ихъ, мы видимъ, наконецъ, что онъ ни разу не упоминаетъ дъйствительнаго, настоящаго смысла, въ которомъ говорится: человекъ иметъ голову. Истинный смысль человеческой речи, когда въ ней дъло идетъ о головъ вообще, или о человъческой голов' въ частности, какъ видно вовсе не нуженъ Фейербаху; ибо противъ этого смысла нельзя возражать и его нельзя поправлять. Когда Фейербахъ возражаетъ, то онъ вооружается противъ какого-то небывалаго заблужденія; онъ отвергаеть то, что у всёхъ людей одна голова. Когда же онъ принимается утверждать, то онъ сводить дело на положенія совершенно верныя, но дотого незначущія, что въ обыкновенной різчи они употребляются только въ шутку, наприм'връ: у меня не двъ головы; береги голову, -- въ другой разъ не наживешь, и т. п. Въ чемъ же истинный смыслъ положенія: человъкъ имѣетъ голову? Если держаться ближайшаго значенія словъ и понимать ихъ зоологически, то это значитъ: человъкъ имѣетъ обособленный главный органъ, въ которомъ сосредоточены: главная масса нервной системы, внѣшнія чувства и важныя части растительныхъ органовъ—начало пищевыхъ и воздушныхъ путей. Такова натура человъка, общая ему со многими животными. Голова—это всегда тотъ органъ, который видитъ, кусаетъ, издаетъ звуки и пр.

И такъ, наше положеніе указываетъ на изв'єстную черту тілесной организаціи человіка.

Чтобы приблизиться къ темѣ разсужденій Фейербаха, замѣтимъ, что во множествѣ случаевъ слово голова употребляется вмѣсто болѣе опредѣленнаго выраженія: исловическая голова. Понятіе человѣческой головы и имѣетъ въ виду Фейербахъ, и оно же подразумѣвается въ такихъ рѣчахъ: вѣдь есть же у него голова; сколько головъ, столько умовъ и пр.

Человько импето голову, отличающуюся извъстными постоянными признаками.

Когда дёло идеть о человёческой головё, то разумёется именно совокупность этихъ признаковъ. Передъ нами тотчасъ рисуются глаза, носъ, ротъ, уши— извёстнымъ образомъ расположенные, способные къ извёстнымъ движеніямъ, имёющимъ извёстное внутреннее значеніе. Все дёло въ томъ, что всё эти признаки неразрывно солзаны между собою; мы знаемъ, что настоящая, правильная человёческая голова должна всё ихъ имёть, и какъ скоро замёчаемъ одинъ, то непремённо предполагаемъ и всё другіе.

Вонг какой - то человьки высунули свою голову; накъ

скоро мы это замѣтили, по какому бы легкому и недостаточному признаку это ни произошло, напр. положимъ въ потемкахъ по одному общему очертаню головы, то мы тотчасъ уже знаемъ, что дѣлается; мы знаемъ, что эта голова по человѣчески смотритъ, слушаетъ, понимаетъ, можетъ издаватъ крики и проч. Или, напримѣръ, мы идемъ по дорогѣ и встрѣчаемъ отрѣзанную человѣческую голову; насъ поражаетъ ужасъ, хотя мы не имѣемъ ни малѣйшаго понятія о чѣловѣкъ, которому она принадлежала, о его имени, дѣятельности и всякихъ другихъ индивидуальныхъ принадлежностяхъ. Насъ поражаетъ уже одно то, что это—человъческая голова, то есть голова, которая такъ же мыслила и чувствовала, такъ же глядѣла и говорила,какъ мы или другіе люди.

Голова у осихъ модей болье или менье одинакован. Не одна, какъ, по словамъ Фейербаха, будто бы ктото думаетъ, а одинаковая, о чемъ Фейербахъ не сказалъ ни слова.

Дъйствительное, реальное заключается здъсь въ той связи, которая соединяетъ между собою всъ родовые признаки головы. Разумъется, мы говоримъ здъсь о головъ вполнъ развитой, такъ сказать вполнъ осуществленной. Самую прекрасную голову можно изуродовать, и трудно сказать, до какого искаженія ее можно довести, прежде чъмъ прекратится жизнь.

Но, какъ скоро голова развилась вполив и безпрепятственно, то въ ней непремвно будуть извъстныя части, въ извъстномъ расположении, съ извъстными отправленіями и пр. Вотъ почему, замътивъ одинъ признакъ головы, мы тотчасъ говоримъ: съ этимъ признакомъ непремънно должны быть соединены и всъ другіе. Одинъ безъ другихъ явиться не можетъ. Эта реальная внутренняя взаимная связь признаковъ вещи между собою есть непремённое условіе, безъ котораго намъ невозможно бы было ни мыслить, ни дёйствовать. Мы не могли бы ступить ни шагу, еслибы эта связь не существовала въ дёйствительности, еслибы она была только видимостію и мы не находили бы въ вещи тёхъ свойствъ, которыя въ силу этой связи въ ней предполагаемъ. Точно также, мышленіе было бы невозможно, еслибы признаки вещей были хаотически перемёшаны между собою.

Вотъ настоящій, притомъ весьма обыкновенный и простой смыслъ понятія о челов'вческой голов'в. Спрашивается, какъ же относится къ нему Фейербахъ? Что значатъ его разсужденія въ отношеніи къ этому смыслу? Собственно говоря, Фейербахъ относится къ нему враждебно, и если его возраженія им'вли такой неловкій видъ, если они постоянно падали въ сторону, то это происходило только оттого, что они несогласны съ духомъ челов'вческой р'вчи, что словами скор'ве можно намекнуть на нихъ, ч'вмъ ихъ выразить.

Есть одно отправленіе человіческой головы, противъ одинаковости которато Фейербахъ выразился довольно ясно. Я отрицаю, говорить онъ, именно то представленіе, по которому всть люди импють только одинь разумь. Здісь діло достигаеть наибольшей своей ясности.

Когда говорится, что у всёхъ разумъ одинъ и тотъ же, то подъ разумомъ разумёются неизмённые законы мысли, логическія формы, общія всёмъ людямъ. Слёдовательно въ этомъ самомъ смыслё говорить о разумё и Фейербахъ.

Совершенно подобнымъ образомъ говорится, напримѣръ, въ физикѣ, что всѣ тѣла падаютъ по одному закону, по закону Галилея. Что же хочетъ сказать Фей-

ербахъ въ отношении къ такимъ положениямъ? Повидимому онъ думаетъ только утверждать, что законъ этотъ не одинъ въ ариеметическомъ смыслъ, что каждое тъло падаетъ по своему собственному закону, хотя и совершенно одинаковому съ закономъ другихъ тёлъ. Это совершенно справедливо, и даже само собою разумбется. Но вследъ за темъ Фейербахъ начинаетъ утверждать, что этотъ новый взглядъ будто бы приносить большія выгоды. Такимъ образомъ, говоритъ онъ, у меня будеть не одинъ законъ, а столько, сколько тёлъ, слёдовательно очень много законовъ. Точно также-столько разумовъ, сколько головъ, и слъдовательно множество разумовъ. Спрашивается въ чемъ же тутъ выгода? Фейербахъ поясняеть это такимъ примфромъ: четыре глаза видять больше, чемъ два. Но если такъ, то значить одна пара глазъ видитъ одно, а другая другое. Слъдовательно выгода получается, когда есть разница въ дъйствіи. И такъ, если нівсколько разумовъ лучше одного, то только потому, что они неодинаково действуютъ.

Неодинаковыя дъйствія дъйствительно дають въ совокупности различную сумму, одинаковыя же, сколько бы разъ ни были повторены, дають все тоть же результать. Слъдовательно, когда Фейербахъ находить невърнымъ положеніе, что у всъхъ людей только одинъ разумъ, то онъ хочеть этимъ сказать, что разумъ у людей бываеть различный, неодинаково дъйствующій и дающій различные результаты. "Разума вообще" нъть, какъ нъть головы вообще; есть разумы, но не разумъ.

## глава третья

О томъ, что истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать.

Въ началъ "Феноменологіи Духа" Гегель разсуждаетъ о иувственной достовпрности. Разсматривая ел значеніе и опровергая неправильныя ученія о ней, Гегель указываеть, какъ на самое ясное опроверженіе, на то явленіе, что эти ученія не могуть сказать что хотять, и если пробують выражать свою мысль словами, то говорять прямо противное тому, что думають. Приведемь эту блистательную аргументацію. Гегель вооружается противь положенія: реальность или бытіе внъшних вещей какт этихъ, или какт чувственныхъ, импеть абсолютную истину для сознанія.

"Такое утвержденіе само не знаеть, что говорить, "не знаеть, что оно высказываеть прямо противное тому, "что хочеть сказать. Истина чувственнаго этого есть "будто бы общій опыть для сознанія; общій опыть, "скорье, есть прямо противное; такую истину, какъ напр. "здюсь дерево, или теперь полдень, всякое сознаніе не- "прем'вню устраняеть высказываеть противуположное ей: "зд'єсь не дерево, а домь; потомъ снова устраняеть то, что "въ этомъ положеніи, уничтожающемь собою первое по- "ложеніе, содержится какъ утвержденіе н'вкотораго чув"ственнаго этого, и т. д.; такъ что каждое сознание изъ

"всей чувственной достов рности въ дъйствительности "узнаетъ только это, какъ нъчто общее, слъдовательно "узнаетъ прямо противоположное тому, что, по утверж-"денію, о которомъ мы говоримъ, составляетъ общій "опытъ. При этой ссылкъ на общій опытъ позволитель-"но будетъ, забъгая впередъ, сдълать указаніе на прак-"тику. Въ этомъ отношеніи, тімъ, которые признають "истину и достовърность реальности чувственныхъ прел-"метовъ, можно сказать, что они должны пройти спер-"ва самую низшую школу мудрости, а именно древнія "элевсинскія мистеріи Цереры и Бахуса, и должны сперва "проникнуть въ таинство вды и питья, потому-что тотъ, "кто посвященъ въ эти тайны, нетолько начинаетъ со-"миваться въ бытіи чувственныхъ вещей, но даже со-"вершенно отчаявается въ этомъ бытіи и съ одной сто-"роны самъ производитъ въ нихъ ихъ ничтожество, съ "другой стороны умъетъ видъть, какъ онъ сами его "производять. Впрочемь, самыя животныя не лишены "этой премудрости; оказывается даже, что они глубо-"чайшимъ образомъ посвящены въ нее, ибо они не оста-"навливаются передъ бытіемъ чувственныхъ предметовъ, "но, вполнъ сомнъваясь въ ихъ реальности и въ пол-"номъ убъжденіи въ ихъ ничтожествѣ, безъ всякихъ "околичностей прямо хватаютъ ихъ и пожираютъ; да и "вся природа, подобно имъ, празднуетъ эти открытыя "мистеріи, научающія насъ тому, что есть истиннаго "въ чувственныхъ вещахъ. "Тъ, которые дълаютъ такое утвержденіе, высказыва-

"Тѣ, которые дѣлаютъ такое утвержденіе, высказыва-"ютъ однакоже, какъ мы замѣтили, непосредственно про-"тивоположное тому, что думаютъ; вотъ явленіе, кото-"рое всего удобнѣе можетъ навести на мысль объ истин"ной природъ чувственной достовърности. Они говорятъ "о бытіи внъшних предметовъ, которые могуть быть "еще точнъе опредълены, какъ дийствительныя, абсо-, лютно единичныя, вполнъ личныя, индивидуальныя ве-"щи, изъ коихъ каждая уже не имбетъ другой себъ "абсолютно-равной. Они думають объ листкъ бумаги, на "которомъ я вотъ это пишу или, скоръе, написалъ; но "то, что они думають, они не говорять. Еслибы они "дъйствительно хотъли сказать объ этомъ листкъ бу-"маги, а они о немъ хотятъ сказать, то это было бы "невозможно; ибо, чувственное это, о которомъ они ду-"маютъ, недостижимо для языка, принадлежащаго лишь "сознанію, лишь общему въ себъ. Такъ что, пока пы-"тались бы сказать (выразить) его, листокъ успёль бы "сгнить: тѣ, кто началъ бы его описаніе, не могли бы "его кончить и должны бы были предоставить это дру-"гимъ, которые наконецъ сознались бы, что они гово-"рять о вещи несуществующей. И такъ, они конечно "им'вють въ мысли этот листокъ, который лежить "здъсь и совсъмъ не то, что вонъ тотъ, который повыше; "но если они заговорять, то у нихъ выйдуть: дъйстви-"тельныя вещи, внишніе или чувственные предметы, "абсолютно единичныя существа и т. д.; то есть, они "говорять о нихъ только общее; поэтому то, что назы-"вается невыразимымъ, есть ничто иное, какъ неистин-"ное, неразумное, только мнимое (думаемое). Если о чемъ "нибудь ничего не сказано, кромѣ того, что оно дъй-"ствительная вещь, внишній предметг, то этимъ нічто "обозначено только какъ самое общее, и выражено скоръе "его разсиство со всёмъ другимъ, чёмъ его различіе. Если "я говорю: единичная вещь, то означаю предметъ какъ "нъчто совершенно общее, ибо всъ вещи суть единичныя "вещи; и точно также "эта вещь" есть все что угодно. Въ "частности, если я говорю: этот листокъ бумаги, то оказы"вается, что всякая и каждая бумага есть инкоторый этот 
"листокъ бумаги, и я сказаль все-таки только общее. Языкъ, 
"въ силу своей божественной природы, непосредственно 
"переворачиваетъ миније, дѣлаетъ изъ него нѣчто другое, 
"не даетъ ему даже слова молвити; если же я вздумаю 
"помочь себѣ тѣмъ, что укажу на этотъ листокъ бумаги, то 
"я на опытѣ узнаю, что такое въ дѣйствительности истина 
"чувственной достовѣрности: я указываю на него какъ 
"на нѣкоторое здпсь, которое есть "здѣсь" другихъ здпсь, 
"или въ себѣ самомъ простая совокупность многихъ 
"здпсь, т. е. какъ на нѣчто общее; я принимаю его такъ, 
"какъ оно есть въ дѣйствительности, и вмѣсто того чтобы 
"знать нѣчто непосредственное, я воспринимаю". \*).

\*) Примъчаніе. Такъ какъ изложеніе Гегеля можеть показаться темнымъ, то, оставляя въ текстъ его точныя слова, попробую въ этомъ примъчаніи изложить дъло своими словами.

Когда передъ нами дерево, то мы можемъ засвидътельствовать его бытіе сказавши: здъсь дерево; но, черезъ минуту, если мы подойдемъ къ дому, должны будемъ сказать: здъсь домъ; еще далье: —здъсь ръка, здъсь поле и т. д. И такъ одна достовърность чувственнаго познанія смыняется другою, другая третьею, и т. д., но сознаніе при этомъ ничего не пріобрътаетъ, никакой мысли, никакой абсолютной истины, кромъ только общей формы эджов, общаго представленія, что существуютъ вещи, которыя можно воспринимать, объ каждой изъ которыхъ можно бываетъ сказать: вотъ она здъсь.

Следовательно, сколько бы разъ мы такимъ образомъ ни пересматривали вещи, мы не найдемъ въ нихъ никакой большей или существеннейшей реальности, чемъ та, которая выражется определениемъ: когла оне на лицо, о нихъ можно сказать: вотъ оне, оне существуютъ-

Между тъмъ, мы ищемъ не такой реальности; мы хотимъ реальности неизмънной, пребывающей; такъ, напримъръ, матеріалистъ не ограничивается тъмъ, что признаетъ существованіе предметовъ пока о нихъ ему свидътельствуютъ чувства; онъ признаетъ въ нихъ больше, признаетъ въ нихъ въчпую, неисчезающую матерію. Только та-

Вотъ отрывокъ, который можетъ пояснить многое, о чемъ мы говорили выше. Здъсъ указывается на природу мысли и языка, на ихъ существенныя свойства, недопускающія уклоненій. Фейербахъ очевидно противится мысли и языку.

Воть отчего онъ находить слова двусмысленными, воть отчего множественное число ему кажется лучше единственнаго; воть отчего наконець онъ такъ часто говорить не то, что хотвлъ сказать.

Что касается до мысли, то, упорно сопротивляясь ей, онъ все таки конечно не могъ выбиться изъ заколдованнаго круга. Онъ остановился только на самой тощей, на самой отвлеченной мысли, какая только существовала. Его истина есть самая малая, самая бъдная, наименъе оыгодная, говоря его собственнымъ выраженіемъ. Побъда и сокровище физика заключается въ томъ, что онъ на-

кимъ образомъ чувственныя вещи пріобрівтають въ его глазахъ дійствительную субстанціальность, настоящую реальность.

Такой реальности, однако же, чувственные предметы, какъ чувственные, не имѣютъ; объ такой реальности чувства намъ не свидѣтельствуютъ. Напротивъ, чувственная достовѣрность убѣждаетъ насъ, что всѣ предметы имѣютъ только преходящее бытіе. Все въ природѣ непостоянно; все сперва возникаетъ и потомъ разрушается. Гегель называетъ это открытыми мистеріями, которыя празднуетъ вся природа. Заговоривъ о пищѣ и питъѣ, онъ указываетъ этимъ на безконечныя превращенія органическаго міра, въ которомъ эти мистеріи совершаются съ наибольшею ясностію. Всего разительнѣе примѣръ животныхъ: оказывается, что чувственныя вещи пожирають одна другую, что одна реальность поглощаеть другую.

Чтобы отыскать ту реальность, которая имъетъ абсолютную истину для сознанія, матеріалистамъ ничего не остается, какъ держаться кръпче за атомы, за эти воображаемыя пензмънныя тъла. Такимъ образомъ, и эта грубая и несостоятельная фикція свидътельствуетъ все о томъ же свойствъ человъческой мысли: какъ скоро мышленіе начинаетъ дъйствовать, какъ скоро не останавливается на одномъ воспріятіи, оно подвергаетъ сомнънію абсолютную истину реаль-

ходить общій законь, напр. законь паденія тёль. А что выходить изь этого по Фейербаху? Общаго закона нёть. Каждое тёло слёдуеть своему закону. Эти законы только тамъ существують, гдё тёла падають, и только тогда существують, пока тёла падають.

Но что же значить все это толкование?

Оно значить только, что каждое nadenie совершается опредъленными образоми, от опредъленноми мъсть и от опредъленное время,—истина очень общая и отвлеченная, гораздо общье и отвлеченные, чъмъ законъ физика, ближе опредъляющій, какъ происходить дъло. Фейербахъ хочеть сказать о каждомъ тълъ въ особенности, но противъ воли и неизбъжно говорить о вспят тълахъ; онъ ходъль бы выразить нъчто болье идущее въ частность, но противъ воли и неизбъжно впадаетъ еще въ большую общность.

ности чувственныхъ предметовъ и приписываетъ реальность и существенность чему-то другому.

Какова мысль, таковъ и языкъ, такъ какъ, въ корив, природа мысли и языка одинакова. Если нельзя иначе мыслить, то нельзя иначе и говорить. Поэтому Гегель справедливо указываеть на непреодолимую, такъ-сказать физическую невозможность говорить о вешахъ какъ объ этихъ, какъ о чувственныхъ, единичныхъ предметахъ. Когда я говорю: тот предметь, который я видыль, то положимъ при этомъ и имью въ мысли именно едипичный, виденный мною предметь; но слова мон все таки выражають ивчто общее и даже весьма отвлеченное. Для того, кто слышить меня, мой предметь нисколько не опредъляется; ибо я могь видьть всякій предметь. Если я далье буду описывать моему слушателю форму предмета, его цвътъ и такъ далье, то онъ будеть себь представлять всякие предметы, имъющие такую форму, есякіе предметы, им'вющіе такой цвіть и пр. Если я прибавлю, что это особый, единичный предметь, то онь, и будеть думать о немъ, какъ думаеть о осякомо единичномъ, особомъ предметь. Такъ что, для того, чтобы онъ дъйствительно узналь его, остается одно средство: указать предметь нальцемъ, или указать нальцемъ дорогу къ нему, или сдёлать какое нибудь другое подобное указаніе.

Все это не могло ускользнуть отъ самого Фейербаха и потому онъ принялъ всё эти слёдствія, вытекающія изъ его точки зрёнія. Онъ призналъ языкъ неправильною формою мысли, вовлекающею насъ въ софизмы, и прямо высказалъ, что истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать.

Замѣчательное мѣсто, въ которомъ онъ выражаетъ эти свои мысли, составляетъ опроверженіе или скорѣе поясненіе того отрывка изъ "Феноменологіи Духа", который мы только-что привели. Оно находится въ статьѣ "Философія Будущаго" (1843 г.) и составляетъ въ ней 28-й параграфъ. Въ началѣ стоитъ общее положеніе, направленное противъ Гегеля.

Во всякомъ случав на словахъ дъло обойтись не можетъ; необходимо прибъгнуть къ воспріятію.

Что же это значить? Какъ говоритъ Гегель, это показываетъ божественную природу языка. Языкъ есть форма мысли, а мысль никогда не можетъ совпасть со воспріятіемъ. Мысль идетъ отъ воспрінтія; она можетъ быть обращена къ воспріятію; но перестать быть сама собою она не можетъ. Воспріятіе многообразно и дробно; мысль

представляетъ единство и сосредоточенность.

Такимъ образомъ Гегель чрезвычайно глубоко и върно указалъ на то, въ какомъ отношени (или въ какомъ противоръчии) находятся мысль и слово къ такъ называемой дъйствительности, къ бытию чувственныхъ предметовъ, къ свидътельству чувственной достовърности. Съ нъкоторой наивной грубостью онъ отталкиваетъ отъ себя эту чувственную очевидность, пбо испо видитъ, что мысль и слово никогда на ней не останавливаются, а постоянно выдвигаютъ изъ за нея другой міръ, — міръ сущностей болъе реальныхъ, чъмъ чувственные предметы.

Фейербахъ хорошо это понимаетъ; но, ставши на эту же точку, онъ повернумъ прямо въ противоположную сторону. Гегель вършть въмысль и слово; Фейербахъ же отчаявается въмысли и словъ, и потому не хочетъ отойти отъ единственной достовърности, которая ему осталась, отъ воспріятія. Поэтому Фейербахъ всего непослъдовательнъе тамъ, гдъ онъ скрываетъ свое отчаяніе и начинаетъ говорить о разумъ, присущемъ дъйствительности, о знаніи, о мышленіи.

88

"Гегелевская философія не возвысилась надъ проти-"ворючіемъ мышленія и бытія. То бытіе, съ котораго на-"чинаетъ Феноменологія, находится, не менте какъ и то "бытіе, отъ котораго отправляется Логика, въ прямъй-"шемъ противорючіи съ дъйствительнымъ бытіемъ".

"Это противоръчіе обнаруживается въ Феноменологіи "въ формъ этого и общаго, ибо единичное принадлежить "бытію, сбщее—мышленію. Въ Феноменологіи "это" съ ""этимъ" сливается совершенно неразличимо для мысли: "но какое страшное различіе между "этимъ", какъ объек-"томъ отвлеченнаго мышленія, и тѣмъ-же самымъ "этимъ", "какъ объектомъ дѣйствительности! Эта жена, напр., есть "моя жена, этотъ домъ есть мой домъ, хотя каждый го-"ворить о своемъ домъ и своей женъ такъ-же какъ и я: "этотъ домъ, эта жена. И такъ, равнодушіе и безразли-"чіе логическаго "этого" разрывается и уничтожается "здѣсь чувствомъ права".

"Еслибы мы вздумали логическому "этому" дать силу "въ естественномъ правъ, то мы прямо бы пришли къ "общенію имуществъ и женъ, гдѣ нѣтъ никакого разли-"чія между тою и этою, гдѣ каждый имѣетъ каждую,— "или-же скорѣе прямо къ отрицанію всякаго права; ибо "право основывается только на реальности различія "того" "и "этого".

"Въ началъ Феноменологіи мы имъемъ передъ собою "ничто иное, какъ противоръчіе между словомъ, которое "обще, и дъломъ, которое всегда есть нъкоторое единич"ное. И мысль, которая опирается только на слово, не "возвышается надъ этимъ противоръчіемъ. Но, какъ слово "не есть дъло, такъ-же точно—сказанное или мыслимое "бытіе не есть дъйствительное бытіе. Если на это возра"зятъ, что у Гегеля ръчь идеть о бытіи не съ практи-

"ческой точки зрвнія, какъ здёсь, а съ теоретической, "то на это следуеть ответить, что здесь именно на месте "практическая точка. Вопрось о бытіи есть именно прак-"тическій вопросъ, вопросъ, въ которомъ участвуеть наше "бытіе, вопросъ о жизни и смерти. И если мы вправъ "кръпко держаться за наше бытіе, то мы не дадимъ и "логикъ отнять его у насъ. Оно должно быть признано "за нами и логикою, если она не хочеть остаться въ "противоръчіи съ дъйствительнымъ бытіемъ. Впрочемъ, "практическая точка зрвнія, — точка зрвнія вды и питья, "указана самою Феноменологіею для опроверженія исти-"ны чувственнаго, т. е. единичнаго бытія. Но издісь, я "обязанъ своимъ существованіемъ ничуть и никоимъ обра-"зомъ словесному или логическому хлібу, хлібу in ab-"stracto,—а всегда только этому хльоу, "несказанному" "(или лучше несказуемому). Бытіе, основанное чисто на "такихъ несказуемостяхъ, есть поэтому само нѣчто неска-"зуемое. Именно несказуемое. Гдв прекращаются слова, "только тамъ начинается жизнь, раскрывается тайна бы-"тія. Если поэтому несказуемость есть неразумность, то "всякое существованіе, такъ какъ оно всегда и непрем'вино "есть это существованіе, есть неразуміе. Но оно не есть "неразуміе. Существованіе само по себъ, и безъ сказуе-"мости, имъетъ смыслъ и разумность".

ФЕЙЕРВАХЪ

Конець параграфа. И такъ, дѣло ясное. Существованіе есть нѣчто такое, чего нельзя сказать, такъ какъ оно есть всегда это существованіе. Существованіе имѣетъ смыслъ и разумность, но этого смысла и разумности сказать нельзя; ибо они начинаются какъ-разъ тамъ, гдѣ прекращаются слова.

Фейербахъ говоритъ, что въ этомъ его параграфѣ, а равно въ началѣ Феноменологіи и въ началѣ Логики у Гегеля, дыло идеть о экизни и смерти; онъ опасается, что логика отниметь у него его бытіе. Онъ, очевидно, ошибается; діло идеть вовсе не объ этомъ, діло идеть о томъ, можно ли мыслить и говорить такъ, какъ мыслить и говорить фейербахъ. И оказывается, что логика отнимаеть у него не бытіе, а только право на такія річи и мысли, что такъ мыслить и говорить нельзя, не слідуеть.

И въ самомъ дѣлѣ, что сказалъ Фейербахъ? Меня питаетъ вотъ этотъ хлѣбъ; мой домъ вотъ этотъ домъ и моя жена вотъ эта женщина; жизнь начинается тогда, когда я перестаю говорить, и таинство бытія открывается мнѣ тамъ, гдѣ прекращается мысль.

Спрашивается, можно-ли сказать что-нибудь, что бы заключало въ себъ еще менъе содержанія? Не есть ли это одно отвлеченное тыканье пальцемь? По Фрейербаху выходить, что тайна бытія открывается очень легко; стоить только направить указательный паленъ на свой домь, свою жену или свой хлѣбъ и тотчась можно сказать: воть оно! Воть дыствительное бытіе! Это будеть вполнъ справедливо; но нельзя не согласиться съ Гегелемь, что эта тайна есть наименъе глубокая изъ всъхъ тайнь, это открытіе самое маловажное изъ всъхъ открытій и эта истина самая бъдная изъ всъхъ истинъ.

#### ГЛАВА IV.

Теорія "свиръпой имманентности", или то, что называется матеріализмомъ Фейербаха.

Соирппая имманентность—выраженіе, принадлежащее Хомякову. Въ одномъ изъ частныхъ разговоровъ, о которомъ потомъ появились нѣкоторыя печатныя указанія, онъ назвалъ такъ то существенное свойство, которое должно принадлежать міру по ученію Фейербаха. Предъидущіе опыты истолкованія нѣкоторыхъ мѣстъ Фейербаха, какъ намъ кажется, уясняють ту оригинальную и чрезвычайно скользкую точку зрѣнія, на которой старается держаться этотъ философъ, и изъ которой возникаеть эта теорія "свирѣпой имманентности". Въ общихъ чертахъ это міросозерцаніе можно представить слѣдующимъ образомъ:

Нѣтъ никакого различія между явленіемъ и сущностью. Сущность вся, цѣликомъ и безъ остатка, переходить въ явленіе; она имманентна явленію. Такимъ образомъ, можно сказать даже наоборотъ: существенное въ явленіи есть именно то, что оно—явленіе; существенное въ каждой вещи не то, что въ ней общее, а то, что въ ней частное; существенное именно то, что обыкновенно считается несущественнымъ, случайное, индивидуальное, единичное.

Явленія представляють разнообразіе и множество; та-

кова и сущность: она состоить въ разнообразіи и множествъ. Нѣть въ мірѣ ничего единаго и цѣдаго; существуеть только множество и части. Нѣть въ мірѣ никакого средоточія и никакой связи; средоточіе каждой вещи въ ней самой, каждая вещь потому только и существуеть, что она отдѣльна, не связана съ другими. Каждая точка въ пространствѣ, каждый атомъ существуетъ отдѣльно, самъ по себѣ, и это-то и есть настоящее существованіе.

Въ отношеніи ко времени, существуетъ только то, что совершается теперь, сейчась, въ настоящее мгновеніе. Это мгновеніе исчерпываетъ собою все, что дъйствительно существуетъ въ вещахъ. Каждая слѣдующая минута пожираетъ безъ остатка предъидущую и, въ свою очередь, пожирается слѣдующею. Пребывающаго и постояннаго нѣтъ ничего. Пока явленіе совершается, до тѣхъ поръ только существуетъ его сущность; какъ скоро явленіе прекращается, исчезаетъ и его сущность.

Воть общія положенія, къ которымъ пришелъ Фейербахъ. Объ нихъ можно бы много распространиться, ибо они заключають въ себъ основаніе для безчисленныхъ отрищаній. Въ самомъ дълъ, въ концъ концовъ взглядъ Фейербаха есть ничто иное какъ отрищаніе мысли, а слъдовательно и отрицаніе безчисленныхъ ея проявленій.

Нѣкоторыя изъ этихъ отрицаній мы и привели, какъ разительные примѣры такого поворота мысли. Напримѣръ, Фейербаху кажется страннымъ изданіе полнаго собранія сочиненій, ибо для него существуютъ только тѣ мысли, которыя онъ питаетъ теперь, въ данную минуту. Онъ хочетъ быть послѣдовательнымъ, и потому желалъ бы на себѣ, на своей философіи оправдать и олицетворить свое міросозерцаніе. Я признаю только то, что

думаю теперь, въ сію минуту; все остальное поглощено и не существуєть. Зач'ємь же туть полное собраніе сочиненій?

Точно также фейербахъ отрицаетъ существенность общихъ понятій, напр. голова, разумъ и пр. Безъ сомнивнія каждый изъ насъ, даже думая о своей собственной головів и о своемъ собственномъ разумів, прежде всего понимаетъ ихъ какъ человівческую голову и какъ человівческій разумъ. Фейербахъ находить, что въ такомъ случать мы думаемъ о томъ, чего ність; онъ желаль бы, чтобы мы понимали каждую голову исключительно какъ частную голову, и каждый разумъ, только какъ частный, единичный разумъ. Тогда мы будемъ въ истинів.

Но, такъ какъ мы мыслимъ и говоримъ не иначе, какъ общими понятіями, такъ какъ частныя вещи мы только воспринимаемъ въ ихъ частности, но говорить и мыслить объ нихъ въ ихъ частности не можемъ, то Фейербахъ отрицаетъ самый языкъ, какъ выраженіе истины. Истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать, что недоступно слову. Слова заключаютъ въ себъ фальшь, языкъ представляетъ постоянный обманъ. Отсюда прямое слъдствіе: мысль есть софизмъ и истина заключается въ одномъ воспріятіи.

Воть взглядъ Фейербаха. Мы назвали его — теорією соирьной имманентности; но обыкновенно его называють матеріализмомь, и самъ Фейербахъ не прочь отъ такого названія. Можно однако же легко показать, чімь отличается взглядъ Фейербаха отъ настоящаго матеріализма; это разграниченіе послужить вмісті еще къ большему уясненію Фейербаховой мысли.

Матеріалисты не признають той имманентности, на которой держится все ученіе Фейербаха; они, подобно всёмъ догматикамъ, слёдовательно, подобно обыкновенному ходу и пріему мысли людей нефилософствующихъ, полагають строгое различіе между сущностью и явленіемъ. Сущность будеть—матерія, неизмённая, вёчная и проч. Все остальное будуть только явленія. Вся мудрость состоить въ томъ, чтобы вещи несущественныя, т. е. явленія, вывести и объяснить изъ сущности, т. е. изъ матеріи.

Очевидно, по взгляду Фейербаха то, что называется матеріей, существуеть меньше, чвмъ что бы то ни было другое. Существують твла, но не матерія. И даже твла не существують; существують одни процессы, явленія, превращенія. Все течеть, какъ говориль Гераклить, и кромъ теченія ничего нъть.

Чтобы пояснить дёло, мы возьмемъ частный прим'єръ, который наглядно изобразить намъ эти отвлеченныя различія. Въ § 42 той-же статьи, "Философіи будущаго", Фейербахъ, между прочимъ, говоритъ:

"Мы чувствуемъ не только камни и дерево, не только плоть и кости, когда жмемъ руки или губы чувствующаго существа; мы воспринимаемъ ушами не только журчаніе воды и шелесть листьевъ, но и полный души голось любви и мудрости; мы видимъ ни одни отражающія поверхности и цвѣтные спектры, мы смотримъ также во взглядъ человѣка. И такъ, предметъ (внѣшнихъ), чувствъ есть не только внѣшнее, но и внутреннее, не только плоть, но и духъ, нетолько вещь, но и л".

Воть слова, которыя могь сказать только одинь Фейербахь, которыя ръзко противоръчать и матеріализму и всякому другому взгляду не доходящему до свиръпости фейербаховой теоріи.

Нашими ушами мы слышим голост мудрости. Вотъ

явленіе; попробуемъ опредълить, въ чемъ заключается его сущность.

Во первыхъ, мы воспринимаемъ физическіе *звуки*, точно такіе звуки, какіе образуются журчаніемъ воды или шелестомъ листьевъ. Очевидно, не въ нихъ заключается сущность.

Эти звуки въ извъстномъ совокупленіи составляють слова, но и не въ словахъ еще сущность.

Слова эти имѣютъ извѣстное значеніе; но и не въ этомъ значеніи сущность.

Сочетанія словъ и слідовательно сочетанія ихъ значеній образують наконець *смысл*т, который можеть быть глубокимь смысломь, можеть быть мудростью. И воть гді настоящая сущность.

Очевидно, явленіе здёсь совершенно ясно распадается на свои существенныя, центральныя точки и на то, что составляеть ихъ проявленіе. Слушая річь мудраго человіка, мы знаемъ, въ чемъ сущность, и прямо къ ней стремимся. Насъ занимають не движеніе губъ и языка, не дрожаніе гортанныхъ тяжей, не слова,—а смыслърічи. Это различіе между сущностью и явленіемъ необходимо признаеть и матеріалисть. И для матеріалиста сущность заключается здісь не въ звуковыхъ дрожаніяхъ, а въ тіхъ процессахъ мозга, которые, по его предположенію, составляють мудрость.

Но такъ какъ фейербахъ считаетъ сущность имманентною явленію, то онъ никакъ не хочетъ ихъ раздѣлить другъ отъ друга. Онъ сливаетъ всѣ части явленія, сдвигаетъ все его пространство въ одну линію. Онъ взялъ явленіе на самомъ его внѣшнемъ краю, на звукѣ, и увѣряетъ, что въ этомъ звукѣ уже все есть, и смыслъ, и душа, и мудрость, что и смыслъ, и душу, и мудрость говорящаго человъка мы воспринимаемъ точно такъ же, какъ журчаніе воды и шелесть листьевъ.

Вотъ гдё несомнённымъ образомъ открывается несостоятельность фейербаховой теоріи. Человёкъ и его явленія—вотъ пробный камень всякаго взгляда.

Въ человъкъ сущность и явленіе не совпадають, хотя и находятся въ удивительно-строгой гармоніи между собою. Отсюда выходить, что важность или существенность явленій человъческаго міра весьма различна: она опредъляется тою мърою и степенью, въ которой въ явленіи выражается сущность.

Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ есть нѣчто строго единое и цѣлое. Онъ есть существо глубоко сосредоточенное. Поэтому нельзя сказать, что въ немъ части существуютъ каждая сама по себѣ; напротивъ, части имѣютъ значеніе только въ цѣломъ. Вслѣдствіе этого объединенія, вслѣдствіе того, что части не только тѣсно связаны, но и правильно соподчинены, мы можемъ различать въ человѣкѣ части болѣе существенныя и части менѣе существенныя; мы можемъ, такъ сказать, измѣрять разстояніе каждой части отъ ихъ общаго центра.

Въ отношеніи ко времени, человѣкъ представляетъ точно также строгое сосредоточеніе. Нѣтъ такой минуты, когда бы человѣкъ могъ сказать: теперь я все, чѣмъ могу быть, теперь я вполнѣ выражаю собою свою сущность. Поэтому минуты человѣческаго бытія различаюття по своей важности и существенности, и ни одна изъ нихъ не содержитъ всего человѣка.

#### глава У.

Мнѣніе Хомакова о происхожденіи современнаго матеріализма.

Хомяковъ производить современный нѣмецкій матеріализмъ отъ Фейербаха, а черезъ Фейербаха отъ Гегеля. Въ своей стать о современных явленіях въ области философіи (см. Собр. Соч. Хомякова, Т. 1) онъ объясняеть, что школа Гегеля перешла въ современный матеріализмъ и что блистательнѣйшее средоточіе этой школы составляетъ фейербахъ.

И такъ, вообще Хомяковъ видитъ въ современномъ матеріализмѣ, во первыхъ, ничто новое, а во вторыхъ, ничто посически вытекающее изъ предъидущаго состоянія философіи, когда господствовало гегельянство. Чтобы оправдать такое объясненіе, онъ прибѣгаетъ къ той самой методѣ, которую ввелъ Гегель въ исторію философіи, къ тому закону полярности, помощію котораго Гегель выводиль каждую философскую систему изъ системы ей предшествовавшей. Очень страннымъ можетъ казаться то, говоритъ Хомяковъ, что ученіе, правда раціоналистическое, но въ высшей степени отвлеченное (ученіе Гегеля), перешло прямо въ противоположную крайность матеріализма. Но, замѣчаетъ онъ, это—явленіе, постоянно возвращающееся въ исторіи философіи и въ исторіи религій.

"Крайность самоубійственнаго Йогизма истекаеть изъ
"тѣхъ же началъ шиваизма, изъ которыхъ истекаетъ и
"крайнее развитіе физическаго разврата. Отвлеченнѣйшее
"изъ всѣхъ вѣроученій, буддаизмъ, съ одной стороны
"разрѣшается въ созерцательный нигилизмъ, а съ дру"гой — переходитъ въ самый грубый фетишизмъ. Словомъ,
"односторонняя мысль, или, лучше сказать, односторон"няя ложь мысли, заключаетъ въ себѣ или поставляетъ
"по необходимости ложь противоположной односторонно"сти, по закону полярности, точно такъ, какъ римскій
"католицизмъ не могъ не разрѣшиться въ протестант"ство (Т. 1, стр. 303)".

Еслибы такое мивніе было справедливо, т. е. еслибы современный матеріализмъ д'айствительно логически вытекалъ изъ великой системы Гегеля, то этотъ матеріализмъ имѣлъ-бы великую важность. Но за нимъ невозможно признать такой почетной генеалогіи. Теорія свиръпой имманентности-вотъ взглядъ, который дъйствительно имбеть корни въ гегельянствъ, составляетъ, какъ мы отчасти вид'йли, изв'йстнаго рода отрицаніе гегельянства и, потому, можетъ быть производимъ изъ него по закону полярности. Но Хомяковъ неправильно смъшаль эту скользкую и трудно уловимую точку зрвнія съ грубымъ матеріализмомъ, получивнимъ ходъ въ Германіи. Свой матеріализмъ матеріалисты понимають очень хорошо; въ этой понятности заключается даже главная причина заразительности матеріализма; Фейербаха-же они вовсе не понимають, какъ вообще не понимають никакой философіи.

- Чтобы убъдиться въ этомъ различіи, посмотримъ на самый выводъ, которымъ Хомяковъ производитъ матеріализмъ изъ Гегеля.

"Критика", говорить онъ, "сознала одно,—полную не-"состоятельность гегельянства, силившагося создать міръ "безъ субстрата. Ученики его не поняли того, что въ "этомъ-то и состояла задача учителя, и очень просто-"душно вообразили себъ, что только стоитъ ввести въ "систему этотъ недостающій субстрать, и діло будеть "слажено. Но откуда взять субстрать? Духъ очевидно "негодился, вопервыхъ потому, что самая задача Гегеля "прямо выражала себя какъ исканіе процесса, созидаю-"щаго духъ; а вовторыхъ и потому, что самый харак-"теръ Гегелева раціонализма, въ высшей степени идеали-"стическій, вовсе не быль спиритуалистическимъ. И воть, "самое отвлеченное изъ человъческихъ отвлеченностей,— "гегельянство-прямо хватилось за вещество и перешло "въ чиствиший и грубвиший матеріализмъ. Вещество "будетъ субстратомъ, а затъмъ система Генеля сохра-"нится, т. е. сохранится терминологія, большая часть "опредъленій, мысленных переходов, логических пріе-"мост и т. д., сохранится, однимъ словомъ, то, что можно "назвать фабричнымъ процессомъ гегелева ума. Не до-"жилъ великій мыслитель до такого посрамленія, но "можеть быть и не осмълились бы его ученики ръшиться "на такое посрамление учителя, еслибы гробъ не скрылъ "его грознаго лица".

Здёсь ясно, что попасть на правду Хомякову помёшало только предвзятое уб'єжденіе, что фейербахъ въ изв'єстной точк'є вполн'є совпадаеть съ грубымъ матеріализмомъ. Какъ мы вид'єли, вещество вообще — еще меньше существуеть для фейербаха, ч'ємъ голова вообще. Нетолько не беретъ фейербахъ вещества за субстратъ, скор'єе можно сказать, что онъ вовсе не ищеть и не хочеть никакого субстрата. Онъ какъ будто хочеть сказать: субстрата не нашли и не создали, да онъ и не нужень; всякое его исканіе и созиданіе есть ложь и софизмъ.

Матеріалисты же напротивъ легко поддаются этому софизму, столь свойственному человъческому уму; они прямо хватаются за первое, что можетъ играть роль субстрата и признаютъ истиннымъ субстратомъ міра вещество.

Еще больше подтверждають нашу мысль тѣ слова въ отрывкѣ Хомякова, которыя мы подчеркнули. Онъ увѣряеть, что въ этомъ матеріализмѣ сохраняется терминологія Гегеля, большая часть опредпленій и пр. Это вполнѣ справедливо относительно Фейербаха, но совершенно невѣрно относительно матеріализма. Фейербахъ дѣйствительно—гегельянецъ въ каждомъ своемъ словѣ; пріемы его мысли, его логическіе переходы—чисто гегелевскіе. Онъ самъ ни разу даже не пробовалъ объяснить, чѣмъ разнится его діалектика отъ гегелевской, гдѣ тотъ поворотъ въ методѣ, на которомъ онъ разошелся съ Гегелемъ. Мысль его очевидно движется по той же линіи, какую описываетъ мысль Гегеля; но, между тѣмъ какъ Гегель свободно направляется и въ ту, и въ другую сторону, Фейербахъ упорно пятится къ одному концу.

Совершенно другое дѣло матеріалисты. Если судить по ихъ терминологіи, опредпленіям, логическими прісмами о происхожденіи матеріализма, то обмануться здѣсь нѣтъ никакой возможности. Гегелевскаго здѣсь ничего нѣтъ. Весь логическій строй современныхъ матеріалистовъ получилъ свое начало вполнѣ и несомнѣнно отъ Декарта, отъ того самого Декарта, который сказалъ: "дайте мнѣ вещество и движеніе, и я построю вамъ міръ". Вотъ генеалогія матеріализма, которую можно подтвердить безчисленными доказательствами.

Какъ натуралисты нашего времени идутъ все по тому

же пути, по которому шла эпоха возрожденія, по пути Коперника и Галилея, такъ точно современные матеріалисты въ логическомъ отношеніи ничѣмъ не отличаются отъ матеріалистовъ, порожденныхъ когда-то школою Декарта. Фактъ этотъ такъ ясенъ, что не допускаетъ никакого сомнѣнія.

И такъ въ нѣмецкомъ матеріализмѣ нѣтъ ничего новаго, а если такъ, то и нельзя его выводить изъ предъидущаго философскаго настроенія. Онъ не слѣдуетъ логически изъ гегельянства, не порожденъ изъ него по закону полярности, а объясняется въ своемъ историческомъ появленіи другимъ закономъ, именно той боязнью пустоты, horror vacui, которая свойственна человѣческому духу и на которую сводятся многія явленія человѣческой исторіи. Все равно, какъ и почему, но только философія утратила свою власть надъ умами въ Германіи; она оставила послѣ себя пустое, незанятое мѣсто, и вотъ матеріализмъ, который никогда не исчезалъ со временъ Декарта, занялъ собою это свободное пространство. Его распространеніе есть ничто иное, какъ отрицательный знакъ, мѣра недостатка силы истинной философіи.

Явленія умственнаго міра несравненно живучье, чъмъ обыкновенно полагають. Въ настоящее время можно слышать множество толковь о матеріализмъ и его противоположности—спиритуализмъ; всъ эти толки, за весьма малыми исключеніями, ведутся въ томъ же духъ, съ тъми же пріемами мысли и понятія, какіе свойственны Декартовой философіи. Между тъмъ и этотъ матеріализмъ и этотъ спиритуализмъ давно уже не существують въ философіи, давно уже записаны ею въ свою исторію.

#### ГЛАВА VI.

# Зпаченіе Фейербаха.

Нъкоторыя черты въ складъ мышленія Фейербаха, приведенныя выше, могуть показаться смёшными и странными. Наше отношение къ нимъ будетъ правильнъе, если мы посмотримъ на нихъ серьезно; тогда онъ скоръе покажутся намъ страшными, чемъ смешными. Въ самомъ дълъ, неизгладимая болъзненность слышится въ этихъ отчаянных попыткахъ вырваться изъ какого-то заколдованнаго круга. Быть можеть эта черта всего дучие наведеть насъ на мысль объ истинномъ значеніи Фейербаха. Фейербахъ-сынъ своего времени, сынъ нашего въка, - а нашъ въкъ есть въкъ пессимизма, въкъ, страдающій глубокимъ недовольствомъ. Само собою разумъется, что мы говоримъ здъсь не объ Россіи, еще таящей свои умственныя силы, а объ Европъ, о Западъ, настроеніе котораго вполн' выражается и обнаруживается въ его философахъ и писателяхъ.

Чтобы уб'єдиться въ пессимизм'є нашего в'єка, стоитъ только сравнить съ нимъ в'єкъ оптимизма—прошлое стольтіе. Казалось бы, и въ этомъ стольтіи было столько недовольства, столько страданій, столько стремленій къ разрушенію; а между тімъ, по умственному настроенію, по пониманію міра и людей, это была эпоха радости, эпоха величайшихъ и св'єтлыхъ надеждъ, минута небы-

валаго восторга, овладъвшаго человъчествомъ. Критика того времени была бодра и самонадъянна. Все нужно было преобразовать, но всъ были увърены, что преобразовать было возможно; все нужно было исправить, но никто не сомнъвался въ возможности и близости исправленія. Было множество желаній, множество страданій; но всякій думаль, что эти желанія исполнятся и страданія устранятся.

Мыслители того времени твердо върили въ разумъ и говорили: нужно изгнать суевърія и заблужденія, пусть всюду царствуеть та истинная философія, которую мы нашли. Точно также они были полны надеждь и въ сферъ матеріальной. Всъ матеріальныя страданія, говорили они, происходять отъ неправильнаго устройства общества: стоить дать обществу правильное устройство, и страданія исчезнуть. Современное имъ устройство они отвергали, но они знали, чъмъ замънить его, какое новое устройство поставить на его мъсто.

Такимъ образомъ люди прошлаго въка твердо върили въ свои идеалы, въ свою философію и свои политическіе планы; поэтому они были счастливы. Это было время, когда, въ силу такой въры, умъ человъческій вздумалъ распоряжаться жизнью; онъ быль отуманенъ своими надеждами, былъ гордъ своими будущими успъхами.

Въ нашъ вѣкъ—какое разочарованіе! Розовыя мечты исчезли, и гордость человѣческая, кажется, сломлена въ самомъ своемъ корнѣ. Западная критика нашего времени получила характеръ неслыханной мрачности и безнадежности. Представители ея ведутъ рѣчи, составляющія величайшій контрасть съ рѣчами прошлаго вѣка.

Въ самомъ дѣлѣ, является одинъ (именно Фейербахъ) и говоритъ: мод философія состоитъ въ томъ, что я от-

рицаю всякую философію; ибо всякая философія теоло-

Является другой критикъ (Прудонъ) и говоритъ: матеріальное благосостояніе людей невозможно; его объщаютъ вамъ съ одной стороны соціалисты, съ другой политическая экономія; но легко убъдиться въ тщетъ этихъ надеждъ. Я докажу вамъ, что соціализмъ невозможенъ, но что въ то же время и политическая экономія несостоятельна.

Является третій (Герценъ) и говоритъ: никакое счастіе въ настоящее время невозможно. Никакой прогресь—нравственный, умственный, политическій не ведетъ насъ къ лучшему, потому что вся наша цивилизація падаетъ, весь строй жизни оказывается несостоятельнымъ и долженъ погибнуть, какъ погибла древняя жизнь во времена появленія христіанства.

Послѣ этихъ глубовихъ отриданій, не замѣняющихъ отрицаемаго ничьмъ положительнымъ, какъ замъняли его отрицанія прошлаго віка, оставалось сділать еще одно посл'єднее отрицаніе; и оно д'єйствительно приходило на языкъ западныхъ мыслителей. Именно, остается только отрицать человика. Пусть цивилизація гибнеть, пусть не спасаеть насъ политическая экономія, пусть нужно отвергнуть и философію, и религію; можно все-таки думать, что послѣ всей этой гибели останется человъчество, которое пойдеть къ новымъ идеаламъ, къ новымъ формамъ жизни и мысли. Отрицать это-вотъ коненъ отрицанія. И до него дошель Западъ въ силу неизбіжной логики. Не разъ было сказано, что человъкъ есть неудавшееся созданіе, попытка природы, въ род'в тіххъ странныхъ ископаемыхъ твореній, которыя были переходными ступенями къ формамъ нынфшнихъ земныхъ

тварей. Если такъ, то нужно ждать новаго геологическаго переворота, въ которомъ погибнетъ человъчество. Тогда новое созданіе, которое займетъ мъсто человъка, можетъ быть представитъ ту красоту и то достоинство жизни, которое для насъ, людей, невозможно.

Такимъ образомъ западная критика, какъ намъ кажется, вполнѣ раскрылась; она дошла до конца, обнаружила всѣ свои тайны, проявила все свое содержаніе. По этому самому, кажется нѣтъ ничего легче, какъ опровергать эту критику. Мысль такъ выяснилась, что сама указываетъ на свое противорѣчіе. Новые критики повидимому дошли до крайнихъ нелѣпостей, до опроверженія самихъ себя.

Въ самомъ дълъ, что говоритъ, напримъръ, Фейербахъ, этотъ последній философъ? Онъ отвергаетъ религію, потому что отвергаеть философію. Если онъ дъйствительно вооруженъ на религію, то очевидно онъ оказываеть такимъ пріемомъ плохую услугу своему ділу. Прежде думали, что это дело гораздо проще, что можно отвергать религію на основаніи философіи; теперь же оказывается другое: чтобы вполнѣ отвергнуть религію, нужно непремънно отвергнуть всякую философію. Одно безъ другаго невозможно. Очевидно дело усложняется. Отвергать религію — д'йло понятное; мы уже привыкли къ нему и освоились съ нимъ; но отвергать философію —это не всякій и сообразить, или покрайней мірт мы не очень уважаемъ тъхъ, которые ужь очень легко это соображають. Очевидно на насъ налагаются болбе трудныя условія, чімъ прежде; намъ говорять: если отвергаешь религію, то непремінно отвергай уже и философію, а иначе ты будешь непоследователенъ. Какое же отсюда прямое слъдствіе? Очевидно Фейербахъ открыль болье тысную связь между религіею и философіею, чымь какую признавали прежде очень многіе. Онь нашель, что одна необходимо требуеть другой, что, отрицая одну, нужно отрицать и другую. Слыдовательно, онь показаль, что отрицаніе гораздо трудине, чымь мы думали прежде, доказаль, что явленія человыческой души имыють болые тысную связь, чымь мы прежде легкомысленно полагали. Какъ жизненное явленіе, религія сильные и распространенные философіи; но, если дыло идеть о доказательствахь, то очевидно доказывать, что нужна и возможна философія, гораздо легче, чымь доказывать, что нужна и возможна религія. А по фейербаху, какъ скоро доказана философія, то доказана и религія. Итакъ, вся аргументація фейербаха только усиливаеть то дыло, противь котораго она направлена.

То же самое можно сказать и о другихъ критикахъ нашего времени. Прудонъ доказываетъ (возьмемъ одну сторону) невозможность матеріальнаго благосостоянія на основаніи несостоятельности политической экономіи. Это значить, что матеріальныя б'єдствія являются не потому, что не соблюдаются извъстныя правила, а потому, что вовсе нътъ правилъ, соблюдение которыхъ ручалось бы за матеріальное благосостояніе. Но если такъ, то бъдствія, порождаемыя существующимъ экономическимъ порядкомъ, можетъ быть, суть неизбъжное зло, такое же зло, какъ голодъ, болёзнь, смерть и подобныя неотвратимын следствія самой природы человека. Если такъ, то законы политической экономіи тесне связаны съ сущностію вещей, необходимые, чомъ мы до сихъ поръ полагали. Аргументація Прудона идетъ въ пользу той науки, противъ которой онъ вооружился.

Точно также, тотъ, кто видитъ источникъ бъдствій не

въ частныхъ какихъ нибудь явленіяхъ, не въ суевъріи, не въ философіи, или экономическомъ порядкъ, а въ цъломъ строт современной западной цивилизаціи,—что онъ доказываетъ своими доводами, какъ не то, что эта цивилизація есть нѣчто ильлое, тѣсно связанное во всѣхъ своихъ частяхъ и проявленіяхъ, такъ что ее нужно или разомъ признать, или разомъ отвергнуть? Изъ отрицанія цивилизаціи выходитъ, что она есть стройный организмъ и потому неизбъжно должна умереть цъликомъ, а не такъ, что однъ части ея умрутъ, а другія останутся живыми и здоровыми. Значитъ, различныя стороны цивилизаціи гораздо глубже и тверже связаны, чѣмъ мы думали.

Мы видъли наконецъ, что дъло дошло до отрицанія человъка. Очевидно, оно можетъ имъть только такой смыслъ: для человъка по самой сущности вещей возможна только одна, только эта западная цивилизація. И слъдовательно, если она не удалась, если она больна и умираетъ, то нътъ болье надежды на человъка.

Итакъ, вотъ отвътъ современной критикъ, который она сама вызываетъ своими сужденіями. Оказывается, что стоитъ только повърить въ человъка и мы повъримъ во всю эту блистательную цивилизацію; мы принуждены будемъ повърить во всъ ея проявленія, какъ въ необходимыя проявленія самой природы человъка; слъдовательно мы повъримъ и въ ея политическую экономію, и въ ея философію, и въ ея религію.

Все это конечно справедливо, но нельзя не видёть, что все это еще ни мало не рѣшаеть дѣла, не распутываеть загадки. А именно: представители этой безнадежной критики суть конечно сыны своего времени, дѣти той самой цивилизаціи, о которой они говорять. Этого мало: они суть люди, въ высокой степени замѣ-

чательные по своему чуткому сочувствію къ жизни и потому самому невольно привлекають къ себъ и возбуждають вниманіе. Спрашивается, откуда же явилось ихъ бользненное настроеніе? Спрашивается, откуда эта неловкость, которую они чувствують на самомъ лонъ матери, ихъ вспоившей и вскормившей,—западной цивилизаціи? Очевидно, нъть мира ихъ душь, они потеряли свъть, который бы ихъ руководиль и согръваль.

А если такъ, то это дурной признакъ для западной цивилизаціи. Если въ ея организм'є являются такіе страшные симптомы, то ее трудно считать вполн'є здоровою и кр'єпкою. Если въ ней такъ часто не находять себ'є спасенія и успокоенія души алчущія и жаждущія правды, то значить есть какое-то глубокое, можеть быть коренное зло, которымъ страдаеть эта цивилизація.

Итакъ, вотъ разрядъ явленій, къ которому мы, кажется, имъемъ полное право причислить Фейербаха, и гдъ заключается его истинное значеніе. Онъ относится къ той безнадежной пессимистической критикЪ, которая разъ-**Бдаетъ** собою въ настоящее время духовный строй Европы. Въ этой критикъ онъ составляетъ замъчательное явленіе, всего яснье обнаруживающее самую тайну критики. Западныхъ людей нынъ тъснитъ ихъ цивилизація, тъснить все, что они у себя имфють. Имъ тюсно и неловко среди ихъ нравовъ и привычекъ, политическихъ, экономическихъ и всякихъ формъ. Возьмите самое естественное, самое правильное, самое мирное отношение, напримъръ, отношение матери къ сыну, или отношение человъка умственно развитаго и свъдующаго къ человъку неразвитому и несвъдующему - и эти отношенія кажутся стъснительными для западныхъ людей. Они декламируютъ противъ деспотизма ума и противъ деспотизма материнской любви. Таково странно-безпокойное настроеніе ихъ умовъ. Фейербахъ явно принадлежить къ этому настроенію. Онъ чувствуетъ себя тѣсно и неловко среди понятій и декламируетъ противъ деспотизма мысли. Явленіе въ высшей степени поразительное, потому что власть мысли есть самая законная и ясная изъ всѣхъ властей и, хотя она всесильна и непреклонна, никогда не была чувствуема и понимаема людьми какъ деспотизмъ.

Воть нѣкоторые факты изъ современной жизни Занада, факты, обнаружившіе себя съ большою силою и записанные нами по нашему крайнему разумѣнію.

1864 г. 12 Гюня. III.

# ДАРВИНЪ

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

# Перевороть въ наукѣ \*).

Неожиданный успѣхъ.—Ученый ареонагъ.—Авторитетъ Кювье.—Движеніемъ ума заправляетъ сердце.—Ходъ философскихъ ученій.—Сила фантастическихъ понятій. — Ученье Кювье о постоянствѣ видовъ. — Теорія Дарвина.—Отрицаніе явленій. — Главное возраженіе противъ Дарвина.—Естественная смерть.—Европейскій нигилизмъ.

T.

Въ первыхъ строкахъ этого сочиненія Дарвинъ удивляется успѣху, который имѣли его взгляды на измѣненіе видовъ и ихъ происхожденіе однихъ отъ другихъ; онъ никакъ не ожидалъ, что его теорія одержитъ такую легкую побѣду надъ противоположными воззрѣніями, которыя господствовали прежде.

"Въ продолжение многихъ лѣтъ", говоритъ онъ, "я соби-"ралъ замѣтки о происхождении человѣка безъ всякаго "намѣренія печатать что-либо объ этомъ предметѣ,—скорѣе "съ положительнымъ нампреніемъ не выпускать моихъ "зампьтокт вт свптт, такъ какъ я полагалъ, что онъ "могли-бы только усилить предубъжденія, существовавшія "противт моихт взглядовт" (стр. VII).

Эти предубъжденія не состояли изъ однихъ предразсудковъ и митей людей, чуждыхъ наукт и по чему либо питавшихъ извъстныя понятія о происхожденіи видовъ; главное препятствіе для Дарвина, какъ мы сейчасъ увидимъ, состояло въ ученіи, господствовавшемъ у самихъ натуралистовъ. Сама наука сознательно, твердо и ясно исповъдывала ученіе, прямо противоположное тому, которое выставилъ Дарвинъ.

"Теперь", замѣчаетъ Дарвинъ, "дѣло приняло совершен"но другой видъ. Если такой естествоиспытатель, какъ
"Карлъ Фогтъ, рѣшается сказать въ своей рѣчи,въ качествѣ
"президента Національнаго Института въ Женевѣ (1869):
"регѕоппе, еп Europe au moins, n'ose plus soutenir la créatiou
"independante et de toutes pièces, des espèces", (никто, въ
"Европѣ по крайней мѣрѣ, не осмѣливается уже поддер"живать, что виды созданы независимо и цѣликомъ), то
"ясно, что, по крайней мѣрѣ, значительное число нату"ралистовъ должно уже признавать въ существующихъ
"видахъ видоизмѣненныхъ потомковъ другихъ видовъ
"(стр. VIII)".

Слова знаменитаго Карла Фогта кажется всегда бывають таковы, что ихъ приходится немножко поправлять. И Дарвинъ исправляеть, замъчая, что никто вт Европы значить собственно не никто, а только меньшинство европейскихъ натуралистовъ. Чрезъ нъсколько строкъ Дарвинъ положительно говоритъ, что многе изъ старыхъ и уважаемыхъ авторитетовъ науки остаются противниками всякаго измъненія видовъ. Но самое преувеличеніе словъ Фогта конечно показываетъ, что распространеніе

<sup>\*)</sup> Происхожденіе человіна и подборь по отношенію нь полу. *Чарльза* Дарвина. Въ двухъ томахъ. Переводъ съ англійскаго подъ редакцією И. М. Січенова. Съ рисунками. Спб. 1871.

взглядовъ Дарвина очень велико, такъ что пламенный послѣдователь ихъ имѣлъ нѣкоторый поводъ счесть за никого нѣкоторые старые и уважаемые авторитеты. И вотъ Дарвинъ пишетъ:

"Вслъдствіе возэръній, которыя приняты въ настоящее "время большинствомх натуралистов», и къ которымъ "вскоръ, какт это обыкновенно бывает, примкнет пуб-"лика (other men), я ръшился собрать мои замътки въ "одно цълое, чтобы имъть возможность прослъдить, на-"сколько общіе выводы, изложенные въ моихъ прежнихъ "сочиненіяхъ, могутъ быть примънены къ человъку" (стр. "VIII).

Переворотъ, значитъ, совершился, и совершился такъ быстро, какъ Дарвинъ и не ожидалъ. Онъ можетъ теперь напечатать сочиненіе, котораго положительно нам'вревался не выпускать въ св'ътъ. Оппозиція, которой онъ боялся, оказалась очень слабою.

### II.

Воть намъ примъръ того, какъ дълаются дъла въ наукахъ. Дарвинъ въ этомъ случат судитъ и поступаетъ какъ настоящій ученый. Мы видимъ, что для него выше всего авторитетъ его науки, то есть естествознанія. Онъ и теперь, и во вста другихъ своихъ сочиненіяхъ, ни мало не заботится о томъ, что говорятъ или говорили другіе люди, о ттахъ взглядахъ, которые существуютъ въ другихъ областяхъ человъческаго ума. Сила науки такова, что ей нътъ нужды принимать въ соображеніе что-нибудъ постороннее. Если наука рышила, то обыкновенно бываетъ, что вскорт ея рышеніе принимается встами. Но какъ же подслушать ръшеніе науки? Какъ мы узнаемъ, что ръшиль этотъ верховный авторитетъ? Изъ словь Дарвина ясно, что представительство этого авторитета принадлежить общему митнію натуралистовъ. Такъ какъ нынче большинство натуралистовъ на сторонъ Дарвина, то онъ и считаетъ дъло выиграннымъ. Онъ не говорить о требованіяхъ науки, о ен внутреннихъ законахъ, о методахъ и т. п.; предполагается, что все это наилучшимъ образомъ опредъляется большинствомъ голосовъ. Каждый натуралистъ какъ-бы обладаетъ частицею авторитета науки, а вси совокупность натуралистовъ есть трибуналъ, всецъло обладающій властью и силою науки.

Такимъ образомъ, Дарвинъ, котя создалъ новую и смѣлую теорію, однако ни мало не думаетъ быть вполнѣ самостоятельнымъ, а скромно подчиняется тому авторитету, подъ которымъ живутъ всѣ ученые, подъ которымъ живетъ и самъ Карлъ фогтъ, все отрицающій, кромѣ общаго мнѣнія ученыхъ. Дарвинъ какъ-бы внесъ свою теорію на разсмотрѣніе ученаго парламента и теперь радуется, что получилъ одобреніе, что съ нимъ очень быстро согласилось большинство. Съ замѣтнымъ удовольствіемъ онъ перечисляетъ свои авторитеты, не брезгая никъмъ и возводя ихъ въ знаменитости. Такъ, въ частности, по вопросу о происхожденіи человѣка отъ животныхъ, онъ говоритъ:

"Ламаркъ, много времени тому назадъ, пришелъ къ "этому заключенію, которое поддерживается теперь многими "знаменитыми натуралистами и философами; таковы "Уоллесъ, Гексли, Ляйэлль, Фогтъ, Леббокъ, Бюхнеръ, "Ролле и др., и въ особенности Геккель" (стр. XI).

Бюхнеръ и Ролле фигурируютъ здёсь конечно въ ка-

чествъ знаменитыхъ (по англійски eminent, отличный) философовъ.

Вотъ небольшой, но ясный образчивъ тѣхъ предразсудковъ, которые господствуютъ въ ученомъ мірѣ. Каждый ученый воображаетъ, что его частная наука обладаетъ верховнымъ авторитетомъ, и ему въ голову не приходитъ небходимость согласовать добытые имъ результаты съ нѣкоторою общею системою, съ цѣльнымъ взглядомъ на міръ. Этотъ предразсудокъ очень силенъ у Дарвина, который на сколько-нибудь отвлеченные и трудные философскіе взгляды смотритъ съ такимъ невѣріемъ и отчужденіемъ, что даже не считаетъ нужнымъ говорить объ нихъ и опровергать ихъ.

Второй предразсудокъ еще хуже. Ученые суевърно преклоняются предъ общимъ мнѣніемъ своихъ собратій. Казалось-бы, какое дѣло изслѣдователю, кто какъ думаетъ, кто съ нимъ согласенъ и кто нѣтъ? Если онъ твердо увѣренъ въ своей методѣ и убѣжденъ въ научной прочности добытой истины, то какой вѣсъ могутъ имѣть въ сравненіи съ этимъ убѣжденіемъ чьи бы то ни было мнѣнія? какой смыслъ — большинство или меньшинство?

Въ настоящемъ же случав, двло имветъ видъ весьма подозрительный и странный. Ученый ареопагъ, на который ссылается Дарвинъ, обнаружилъ чрезвычайную быстроту въ переходъ отъ одного мивнія къ мивнію прямо противоположному, быстроту, которая внушаетъ скорве всего величайшее недовъріе къ основательности и обдуманности ареопага. Авторитетъ всякаго собранія подрывается, если сегодня оно рышаетъ такъ, а завтра прямо напротивъ. И чымъ горячье идетъ дыло, тымъ подозрительные. А въ настоящемъ случав дыло идетъ именно такъ. Начавши съ оговорокъ и со ссылокъ на всякія

имена, Дарвинъ уже первую главу заключаетъ такими ръшительными словами:

"Только наши предразсудки и высокомъріе, побудив-"шее нашихъ предковъ объявить, что они произошли отъ "полубоговъ, заставляютъ насъ останавливаться въ неръ-"шительности передъ этимъ выводомъ. Но скоро прійдетъ "время, когда всимъ покажется непостижимымъ, какъ "натуралисты, знакомые съ сравнительной анатоміей и "эмбріологіей человика и другихъ млекопитающихъ, могли "допустить мысль, что каждое животное было произве-"деніемъ отдъльнаго акта творенія" (стр. 30).

Вотъ въ какомъ положении дело. Въ истории наукъ случился фактъ непостижимый (по англійски стоитъ впрочемъ wonderful, удивительный); именно, натуралисты, хорошо знавшіе сравнительную анатомію и эмбріологію, сегодня утверждали постоянство видовъ, а завтра, на основаніи той же самой сравнительной анатоміи и эмбріологіи, стали утверждать, что виды перераждаются. Что же случилось? Отчего произошла перемъна? Изъ словъ Дарвина ясно, что нъкоторый срамъ долженъ пасть или на старыхъ, или на новыхъ натуралистовъ. Или старые натуралисты въ теченіе долгихъ літь не виділи очевиднаго вывода, или новые натуралисты забыли и дурно понимають тѣ начала, которыя руководили старыхъ и воздержали ихъ отъ этого вывода. Намъ кажется, что срамъ долженъ быть раздъленъ, если и не поровну, то на двъ части: одна падаетъ на старыхъ, другая на новыхъ. Дарвинъ не постигаетъ того, что думалъ Кювье; туть нъть ничего похвальнаго ни для Кювье, ни для Дарвина, хотя, по общему правилу, непонимающій болже виноватъ.

#### III.

Распутать эту исторію будеть очень любопытно и поучительно. Старые натуралисты виноваты потому, что они испов'ядывали догмать постоянства видовъ не всл'ядствіе ясно сознанных началь, а только всл'ядствіе великаго авторитета, стоявшаго за этоть догмать, именно авторитета Кювое. Такъ идуть д'яла въ наукахъ. По какимъ-нибудь причинамъ одни мн'янія начинають считаться ортодоксальными, а другія еретическими; тогда за правов'ярныя мн'янія стоить упорно и съ жаромъ вся масса ученыхъ, еретическія же едва см'яють высказываться и бывають встр'ячаемы общимъ презр'яніемъ.

Въ настоящемъ случай ученые обнаружили величайшее рабство передъ научнымъ преданіемъ. Цёлыя поколінія ученыхъ пропов'ядывали постоянство видовъ, не потому, чтобы ясно виділи основательность этого ученія, не потому, чтобы имъ не приходили въ голову противоположныя мнінія, а потому, что такъ сказалъ Кювье, и что нельзя было смють говорить другое.

Мнѣнія объ измѣнчивости видовъ такъ легко прикодять въ голову, составляють такое естественное предположеніе, что существовали, можно сказать, всегда. Кювье въ этомъ отношеніи долженъ былъ бороться съ ученіями Ламарка и Жоффруа Сентъ-Илера. Если мы вспомнимъ, что всякій матеріалистъ, всякій пантеистъ, всякій человѣкъ, отвергающій сверхъестественное вмѣшательство въ порядокъ природы, долженъ былъ прійти такъ, или иначе, къ ученію объ измѣнчивости; если вспомпимъ, что такихъ людей между натуралистами всегда было множество, большинство, то нельзя не удивляться, какъ они могли покориться ученію, противоръчившему всьмъ ихъ стремленіямъ, всьмъ поползновеніямъ ихъ мысли.

Но если такъ было, то мы понимаемъ, почему реакція должна была наступить вдругь, внезапно. Ученіе Кювье не было разрушено постепенными изысканіями, новыми фактами, новыми открытіями, уяснившими его несостоятельность. Оно пало вдругь, какъ падаеть мивніе, которое держалось вірою, а не научными основаніями. Факты не изм'єнились, св'єд'єнія наши не расширились; но появилось новое мивніе, новая віра, и старое ученіе должно было уступить місто. Быстрота, съ которою теорія Дарвина набрала себъ послъдователей, вовсе не соотв'єтствуеть ея внутреннему достоинству. Главная ея сила состоить въ некоторыхъ остроумныхъ гипотезахъ относительно самаго процесса измененія видовъ; но вовсе нельзя сказать ни того, чтобы она доказала это изменение, ни того, чтобы она его объяснила. Следовательно, приверженность новыхъ натуралистовъ къ этой теоріи зависить вовсе не отъ научной ея сили; она точно такъ же зависить отъ постороннихъ причинъ, какъ и прежнее общее убъждение натуралистовъ въ неизменности видовъ. Вотъ фактъ, какъ намъ кажется, очень ясный и очень любопытный. Движение наукъ и перевороты, которые въ нихъ происходять, зависять не отъ внутренняго ихъ развитія, а опредвляются вліяніями изъ какой-то другой области. Ученія господствують и изчезають, управляемыя силою болъе могущественною, чъмъ наука.

Если постоянство видовъ есть мысль непостижимая, противоръчащая всему духу естественныхъ наукъ, не требуемая никакими ихъ началами, то подумайте—кто впалъ въ такое заблужденіе? Впалъ Кювье, натуралистъ, которому подобнаго не найти, геніальный изслъдователь

природы, который одинъ создалъ три науки: естественную систему Зоологіи, Сравнительную Анатомію и Палеонтологію. Если такой ученый въ существенномъ пунктѣ подчинился постороннему вліянію и отступилъ отъ прямаго пути науки, то на какомъ основаніи мы станемъ довѣрять свободѣ и безпристрастію ума Дарвина, Фогта, Геккеля?

Если измѣнчивость видовъ есть истина (какъ это мы и думаемъ), то почему же она не уяснилась постепенно, почему была упорно отвергаема, хотя провозглашалась безпрестанно? Почему прежде не принималась нисколько, а теперь принялась слишкомъ легко?

Не наука сдёлала этотъ шагъ, а помимо естествознанія измёнились нравственныя и философскія понятія людей: вотъ причина успёха Дарвина.

### IV.

Движеніе идей вообще вовсе не совершается по самобытнымь логическимь правиламь, какь это постоянно утверждають німцы, а получаеть направленіе оть правственной стороны человіка. Умь есть сила чисто формальная, безсодержательная, и потому способная двигаться по всевозможнымь направленіямь, образовывать безчисленныя понятія, безконечныя сочетанія мыслей. Какь въ пространстві возможны всякія фигуры, такь и въ уміть возможны всякія мысли. Логика и психологія, подобно чистой математикі, изучають формы и законы этихь фигурь, но не могуть ничего сказать о дійствительномь содержаніи человіческихь умовь, точно такь, какь чистая математика ничего не знаеть о настоящихь, вещественныхь тілахь и явленіяхь.

Пусть передъ нами какой-нибудь предметъ, какоенибудь зрълище. Мысли, которыя онъ въ насъ возбудитъ, не опредъляются ни свойствомъ самого предмета,
ни какими либо общими законами движенія мыслей. Эти
мысли опредъляются нашими внутренними свойствами.
Въ человъкъ печальномъ самая веселая картина возбуждаетъ рядъ печальныхъ мыслей; одинъ и тотъ же
предметъ возбуждаетъ и злобу и радость, и высокую
мысль и низкое желаніе. Психологія, опредъляющая законы, по которымъ сочетаются представленія, допускаетъ
возжность безчисленныхъ сочетаній и не можетъ опредълить, которое изъ нихъ случится въ дъйствительности.

То, что думаетъ человъкъ, не есть объективная истина, независимая отъ его натуры, а есть именно то, что ему хочется думать. Вотъ законъ, объясняющій образованіе человъческихъ убъжденій и исторію человъческаго ума. Мы часто удивляемся узости и односторонности иныхъ взглядовъ и не понимаемъ, какъ не дъйствуютъ на людей самые очевидные и многочисленные факты. Въ этомъ случав мы ошибаемся въ нашемъ понятіи объ ум'в, приписываемъ ему такой способъ д'вйствія, котораго онъ не имфетъ. Умъ никогда не видитъ и не обнимаетъ всего, что ему представляется, а всегда избираетг, руководимый чувствомъ. Поэтому, какъ бы ни были разнообразны и значительны факты, которые видить человекь, онь замёчаеть изъ нихъ только тѣ, которые питають его любимую мысль. Все противоръчащее или упускается изъ виду, или только раздражаетъ и усиливаетъ чувство, заправляющее деломъ. И такимъ образомъ иногда случается, что чёмъ долее и живее дъйствуетъ умъ, тъмъ одностороннъе и уже становятся мићнія человъка.

Умомъ заправляеть сердце. Мы въримъ въ то, чего хотимъ, что любимъ, что уд.)влетворяетъ нашимъ нравственнымъ потребностямъ. Вотъ гдъ истинный корень и смыслъ человъческихъ мньній. Иногда насъ поражають удивленіемъ тѣ безобразныя и явныя нелѣпости, которыя человъчество на своемъ долгомъ пути признавало за свои святьйшія и драгоціннівшія истины. Высокоумные историки последняго времени, воображающіе, что сами они ходять въ истинв, часто представляють всю исторію людей, какъ блужданіе въ ошибкахъ, и весь прогрессь этой исторіи, какъ постепенное освобожденіе отъ заблужденій. Но если мы уб'вдимся, что сверхъ объективной истины мнѣнія людей имѣютъ другое значеніе, то можеть быть не будемъ такъ высоком'врно смотръть на прошлыя времена и не будемъ преждевременно хвалиться настоящимъ. И прежде были свътлые и крвикіе умы, можеть быть светле и крвиче нашихъ: если они упорно держались самыхъ повидимому очевидныхъ заблужденій, то на это были причины, имфютія свой смыслъ, достойныя уваженія и изследованія. Именно. фантазіи, въ которыя върило человъчество, часто не имъли въ себъ ничего похожаго на дъйствительность, но за то всегда почти имъли высокій и ясный нравственный смыслъ. А это прежде всего и нужно человъку. Ему нужны крайне, неизбъжно, не отвъты на вопросы знанія, а отв'яты на вопросы сердца. Ему нужно рібшать, что онъ должень дилать. Незнаніе не есть наибольшее зло. Самое важное дело для человека - уменье различать добро отъ зла, умёнье понимать нравственный смыслъ явленій. Поэтому люди упорно держатся за самыя явныя нел'вности, какъ скоро чувствують, что съ отнятіемъ у нихъ этихъ понятій отнимается вм'єст'я

возможность нѣкоторыхъ нравственныхъ сужденій. Физическая природа человѣка устроена такъ, что онъ (напр. плывя по рѣкѣ, вращаясь на планетѣ) считаеть неподвижною ту точку, на которую опирается, и принимаеть все другое за движущееся. Точно таково же и требованіе нравственной природы: нужно, чтобы человѣкъ чтонибудь принималъ за твердую нравственную опору; иначе у него голова закружится и онъ упадетъ, погибнетъ.

Соображая все это, мы поймемъ, почему ходъ наукъ имѣетъ неправильность и шаткость, которыя были-бы необъяснимы, если-бы имъ заправляла одна логика. Каждый народъ и каждая эпоха предпочитаетъ извъстныя ученія не въ силу ихъ логическаго развитія, а вслъдствіе нъкотораго нравственнаго расположенія къ нимъ. Такъ, англичане до сего дня остаются скептиками и эмпириками; но то же самое ученіе, которое въ Англіи имъло свойство спектицизма и эмпиризма, будучи перенесено во Францію становится матеріализмомъ и сенсуализмомъ, а въ Германіи обращается въ идеализмъ.

Тема о національности въ наукѣ блистательно развита Н. Я. Данилевскимъ въ шестой главѣ его книги \*). Тамъ онъ указываетъ между прочимъ и на то, что теорія Дарвина, точно такъ, какъ взглядъ Гоббза на государство и Адама Смита на политическую экономію носять на себѣ печать нравственнаго склада Англичанъ.

Тотъ же взглядъ очевидно можетъ быть распространенъ и на разныя эпохи народа, или цѣлой группы народовъ. Глубокая нравственная исторія (самая существенная изъ всѣхъ исторій) совершается въ народѣ; онъ

<sup>\*)</sup> Россія и Европа, Спб. 1871 г.

переживаеть періоды утомленія, энтузіазма, религіозныхъ и политическихъ волненій. Все это отражается на ход'в мысли, окрашиваеть ее въ извъстные цвъта. Поэтому, намъ кажется не совсимъ справедливымъ, когда философскія ученія выводятся прямо изъ другихъ предшествующихъ. Развитіе не им'єть здісь такой строгости. Такъ, наприм'єръ, намъ кажется очень несправедливымъ выводъ теперешняго нъмецкаго матеріализма изъ гегельянства. Матеріализмъ есть следствіе упадка высшихъ духовныхъ интересовъ, есть понижение ума, а понижение есть отрицательное явленіе, которое, какъ всв такія явленія, не требуеть необходимо положительныхъ причинъ для объясненія. Причина этихъ низшихъ явленій есть только отсутствіе высшихъ. Человъкъ утомленный засынаетъ, все равно чёмъ бы онъ ни быль утомленъ. Такъ и умъ постоянно впадаетъ въ матеріализмъ, когда начинаетъ слабо дъйствовать. Такъ было после Декарта, потомъ после Локка, и точно тоже случилось послѣ Гегеля,

Такимъ образомъ, если мы обратимся къ тому перевороту въ наукахъ, о которомъ повели рѣчь, то будемъ имѣть нѣкоторое основаніе предполагать въ немъ участіе тѣхъ нравственныхъ и философскихъ перемѣнъ, которыя случились въ Европѣ со временъ Кювье. Тогда намъ объяснится, почему этотъ переворотъ случился такъ быстро, и почему такъ долго держались прежнія мнѣнія, по видимому ни на чемъ не опиравшіяся.

V.

Чтобы уяснить нравственную силу и состоятельность, которую могутъ имъть понятія совершенно фантастическія, возьмемъ небольшой примъръ.

Положимъ какого нибудь человѣка убило громомъ. Во времена суевѣрій благочестивые люди подумали бы, что за этимъ человѣкомъ вѣроятно есть какая нибудь тяжкая вина, можетъ быть никому невѣдомая, что эта вина однакоже не укрылась отъ всевидящаго божества и что оно въ гнѣвѣ направило своею рукою громовую стрѣлу на виноватаго и такимъ образомъ покарало его. Теперь мы знаемъ, что все это невѣрно, что невинный можетъ быть убитъ громомъ, какъ и виноватый, что не божество бросаетъ стрѣлы молніи, а направляются они слѣпою силою электричества, и что смерть человѣка, слѣдовательно, есть простая, чистая случайность. Этими открытіями, какъ извѣстно, чрезвычайно гордился XVIII вѣкъ; подобную гордость возбуждало развѣ только доказательство вращенія земли около солнца.

Между тымь, если мы будемъ разсматривать фактъ,— смерть человыка отъ грома,—во всей его цылости, то увидимъ, что наше новое о немъ понятіе не заключаетъ въ себы ничего радостнаго. Старое понятіе есть полное рышеніе дыла, а новое — только возбуждаетъ вопросъ. Старое невырно, но совершенно ясно; новое вырно, но приводитъ насъ въ совершенное недоумыніе, обдаетъ насъ тьмою. Ибо старое утверждаетъ, что въ этой смерти есть смыслъ; новое же доказываетъ, что она есть совершенная безсмыслица.

Въ самомъ дѣлѣ, мы невольно спрашиваемъ: за что и для чего убитъ человѣкъ? Если цѣль и смыслъ жизни, какъ нынче говорятъ, есть наслажденіе ея благами, то почему эта цѣль не достигнута и этотъ смыслъ уничтоженъ? Этотъ человѣкъ имѣлъ, говоря нынѣшнимъ языкомъ, всѣ права на жизнь, не былъ ни въ чемъ виноватъ, могъ быть полезенъ для общества, нуженъ для

семейства, — спрашивается, за чѣмъ же совершилась такая жестокая безсмыслица? Если мы подумаемъ, что жизнь величайшаго генія точно такъ же висить на волоскѣ, какъ и жизнь всякаго человѣка, что игра случайностей дѣйствуетъ ежедневно, ежеминутно, что противъ нея нѣтъ никакихъ силъ и средствъ, то мы вмѣсто радости объ открытіи электричества можемъ впасть въ самый мрачный пессимизмъ. (Читайте на эту тему Паскаля). Всего не откроешь и ото всего не оградишься. Вѣчный обманъ, въ которомъ мы живемъ, не думая о завтрашнемъ днѣ, не чуя грядущихъ бѣдъ, покажется противнымъ, если въ него вдуматься серьезно.

Между тѣмъ, въ старомъ понятіи какое чудесное сочетаніе оптимизма съ пессимизмомъ въ самой надлежащей мѣрѣ! Грозное божество постоянно видитъ человѣка и можетъ его убитъ. Но если убъетъ, то въ этомъ будетъ смыслъ, то это будетъ совершено съ строжайшею справедливостью. Смыслъ явленію данъ полный — вотъ что важно для человѣка.

Можеть быть читатели, привыкшіе къ мысли объ общихъ законахъ природы, найдуть, что смерть отдѣльнаго человѣка не требуеть особаго объясненія, что раздавить человѣка природа имѣеть такое же право, съ какимъ мы давимъ муравья, ползущаго по дорожкѣ; но замѣтимъ, что когда число гибнущихъ людей увеличивается, то мы неудержимо стремимся къ тому самому объясненію, которое отвергается нашими физическими познаніями. Когда цѣлая страна, какъ напримѣръ Франція, покрыта кровью и пламенемъ, то мы непремѣнно хотимъ видѣть здѣсь кару за что-то, не за плохія знанія или неудачныя распоряженія, а именно за нѣкоторую нравственную вину. Между тѣмъ, что доказываетъ

такую вину? Почему не предположить, что бѣдствія Франціи зависять оть случайнаго сочетанія нѣкоторыхъ элементовь, не имѣющихъ ничего общаго съ нравственностію? Но мы во что-бы то ни стало желаемъ думать, что жизнь народовь управляется нравственными началами. А если такъ, то почему этими началами не можетъ управляться жизнь отдѣльнаго человѣка? Или наоборотъ, почему не предположить, что гибель всего человѣчества могла бы произойти такъ же случайно, такъ же безсмысленно, какъ отдѣльная смерть? (Читайте Герцена).

И такъ мы можемъ назвать легкомысленнымъ физика, который, давъ свое объясненіе, не замічаетъ вытекающихъ изъ него трудныхъ вопросовъ, и можемъ понять, почему составилось и долго держалось фантастическое объясненіе, которое эти вопросы разрішаетъ.

### VI.

Подобное разсуждение можно сдълать и при сравнении мнъний Кювье и Дарвина о видахъ.

Взглядъ Кювье на постоянство видовъ и на ихъ отдѣльное созданіе можно формулировать такимъ образомъ:

Прежде всего существовало и выше всего существуеть верховное существо, совмѣщающее въ себѣ всѣ совершенства—Богъ. Организмы созданы этимъ существомъ, именно такъ, что каждый видъ получилъ отъ начала всѣ свои существенныя свойства, сохраняемыя имъ потомъ неизмѣнно. "Видовъ, говорилъ Линней, "столько, сколько Богъ создалъ различныхъ формъ". Каждый видъ организмовъ представляетъ строгую гармонію между органами, составляющими его тѣло; каждый видъ имѣетъ кромѣ того гармонію съ окружающею

его природою. Безъ той и другой гармоніи видъ не могъ бы существовать, и об'в он'в—предуставлены, устроены божественнымъ творчествомъ.

Воть понятія, которыя можно считать невърными, но которыя никто не назоветь неясными, или неудовлетворительно отв'ячающими на вопросъ. Если мы признаемъ ихъ, то намъ останется только изучать и понимать свойства организмовъ, а вопросъ о томъ, какъ они могли явиться, уже не будеть затруднять насъ. Органическій міръ есть высшая часть природы; онъ исполненъ такого разнообразія, такой красоты, такого глубокаго смысла, какъ ничто другое; во главъ его стоитъ человъкъ, чудеснъйшее изъ всъхъ созданій, величайшая загадка, воплощенный духъ. Но какія бы чудеса мы ни находили во всемъ этомъ, насъ не будетъ приводить въ недоумъніе вопросъ, какъ и откуда они могли возникнуть. Ибо источникъ ихъ есть существо, въ которомъ нътъ мъры всякому совершенству, всему, что можно назвать хорошимъ и высокимъ. То, что мы видимъ въ организмахъ, есть лишь частица, даже очень малая, этихъ совершенствъ.

Понятія Кювье составляють лишь частное приложеніе того взгляда, который содержится вообще въ върованіи въ Бога. Взглядь этотъ предполагаетъ, что всъ достоинства, какія мы находимъ въ міръ и его вещахъ, существовали прежде міра и вещей, что источникъ міра уже заключаль ихъ въ себъ.

А если мы сдёлаемъ еще шагъ въ обобщеніи, то получимъ уже несомнівнную аксіому, именно: причины должны содержать въ себі то, что является въ ихъ слідствіяхъ. Изъ ничего ничего не бываетъ; міръ, который мы знаемъ, едва ли исчернываетъ ту сущность, которой онъ есть проявленіе. Взамѣнъ этихъ понятій, что же намъ предлагаетъ Дарвинъ? Внутреннее стремленіе его теоріи очевидно состоитъ въ томъ, чтобы объяснить устройство и разнообразіе организмовъ—случайностями, то есть не предполагать въ этомъ дѣлѣ никакого предустановленнаго плана, никакой причины, предшествующей явленіямъ и заключающей въ себѣ ихъ смыслъ. Такъ точно, греческіе атомисты пытались объяснять весь міръ, какъ порожденіе случайнаго столкновенія и скопленія атомовъ въ пространствѣ.

По Дарвину, появились сперва простёйшіе организмы; откуда? — на этомъ вопросв онъ не останавливается и даже положительно отвергаеть произвольное зарождение, которое по видимому подходило бы къ складу его теоріи. Немногіе первоначальные организмы стали изм'єняться и разнообразиться; ибо измѣнчивость, по Дарвину, есть общее свойство организмовъ. Причины и законы, по которымъ изменяются организмы, намъ мало известны, и Дарвинъ неоднократно настаиваетъ, что это область весьма темная, почти вовсе невъдомая. Но вотъ что ясно и что составляетъ сущность теоріи. Измененія, которымъ подвергаются организмы въ силу многочисленныхъ и неизвъстныхъ причинъ, бываютъ выгодныя и невыгодныя для организмовъ. Эта выгодность и невыгодность есть дёлосовершенно случайное для каждаго существа; она зависить оть сочетанія вившнихъ обстоятельствъ, среди которыхъ живетъ организмъ, и отъ сочетанія другихъ организмовъ, которыя живутъ вмёстё съ нимъ. И вотъ отъ этой-то, совершенно случайной для организма, выгодности или невыгодности измёненія, въ немъ происшедшаго, зависить все разнообразіе животной и растительной жизни. Выгодныя измененія остаются, укрепляются,

образують новые виды; невыгодныя истребляются. Этоть процессь называется борьбою за существованіе.

Такъ дѣло продолжается милліоны лѣтъ; разнообразіе и осложненіе растетъ по мѣрѣ того, какъ новыя и новыя сочетанія случайностей оказываются благопріятными для постоянно измѣняющихся организмовъ. Организмы, такъ сказать, формируются, вылѣпливаются по тѣмъ впадинамъ, которыя случайно представляетъ окружающая ихъ природа. Дарвинъ весьма сильно настаиваетъ на томъ, что организмы подаются, такъ сказать, во всѣ стороны; но форма, которую они могутъ принять и удержать, опредѣляется не какими-либо ихъ внутренними законами, не общимъ планомъ и т. п., а только и единственно тѣми свободными мѣстами, которыя окажутся въ тѣсно обнимающемъ ихъ и постоянно ихъ давящемъ мірѣ существъ, какъ однородныхъ съ ними, такъ и совершенно отъ нихъ отличныхъ.

Вся прелесть, вся привлекательность этой теоріи заключается, какъ это прямо говорять ея приверженцы, именно въ томъ, что не нужно предполагать никакой внутренней причины, по которой та или другая черта устройства существуетъ въ организмѣ: основаніе для этого было внѣшнее, постороннее,—случайное стеченіе обстоятельствъ.

Такъ произошелъ наконецъ и человъкъ; его устройство и все, что мы въ немъ называемъ красотою, благородствомъ, духовностію, есть лишь отраженіе нъкоторыхъ, не слъдующихъ никакому закону, не образующихъ никакого цълаго, случайностей, среди которыхъ развивалось животное царство.

## VII.

Теперь мы можемъ видеть, въ чемъ заключается главная сила Дарвиновой теоріи, и въ чемъ ся главная слабость. Сила ея въ томъ, что она обращаетъ явленія въ случайныя, и слёдовательно дёлаеть ненужнымь объясненіе ихъ изъ болве высокаго источника, отрицаеть такой источникъ. При всякомъ вопросв ничего не бываетъ яснъе и проще, какъ отрицание самого основания вопроса; тогда умъ успокоивается, не видя передъ собой задачи. Такъ вопросъ о философіи очень упрощается, если мы убъдимся, что всякая философія есть вздоръ, безсодержательныя хитросплетенія; вопросъ о Пушкинъ ни мало не затруднить насъ, если признаемъ, что поэзія-пустыя побрякушки, нестоющія вниманія; вообще, вопросъ о всякомъ великомъ человъкъ получитъ самое удовлетворительное разрѣшеніе, если мы повѣримъ, что это быль обыкновенный челов вкъ, лишь случайно попавшій въ необыкновенное стеченіе обстоятельствъ.

Есть люди, которымъ подобныя объясненія очень нравятся; они съ жадностію ищуть ихъ повсюду и схватывають именно эту сторону во всёхъ фактахъ. И нётъ сомнёнія, что д'яйствіе ума здёсь очень правильное, строго логическое. Въ естественныхъ наукахъ оно выразилось въ знаменитомъ правилё: безг необходимости не должно увеличивать число силъ, число началъ для объясненія.

Слабость же теоріи Дарвина заключается въ томъ, что она, какъ и всё теоріи, гдё главная роль дана случайности, не можетъ обнять предмета во всемъ его объемъ, и не объясняетъ самой существенной его стороны. Подобныя теоріи всегда только отодвигаютъ вопросы, но

не разрѣшаютъ ихъ, и въ этомъ отношеніи ихъ нужно причислить вполнѣ къ той *отрицательной* работѣ ума, которая разрушаетъ скороспѣлыя обобщенія и построенія, но не замѣняетъ собою и не можетъ замѣнить положительной работы.

Главное возраженіе, которое нужно сдёлать противъ Дарвина, будеть такое:

Объяснить происхождение организмовъ значить объяснить всь ихъ свойства, всю сущность. Каждая вещь потому имъетъ извъстныя свойства, что извъстнымъ образомъ произошла, и обратно, она потому не могла произойти иначе, что имфетъ такую, а не другую природу. И такъ нужно взять природу организмовъ, ея существенный черты, и потомъ уже искать способа, какимъ могла возникнуть именно такая природа, именно эти черты. Какія же существенныя черты представляють намъ организмы? Размноженіе, насл'ядственность, развитіе, смерть; постоянное взаимодъйствіе органовъ между собою и съ внъшнимъ міромъ; половое различіе, различіе животныхъ и растеній, разные типы и группы, отличающіеся різкимъ своеобразіемъ; въ животныхъ-являются чувствительность и произволь и принимають тысячи более и болве совершенных формъ; чувствительность достигаетъ разнообразія и совершенства пяти чувствъ; являются инстинкты, страсти, умъ; наконецъ высшій организмъ. человька, представляеть явленія столь высокія и трудныя, что глубже и существеннъе мы ничего и не можемъ полагать; для человъка онъ самъ-конецъ и источникъ встхъ вопросовъ.

Вотъ что, въ той или другой мъръ, въ полномъ или частномъ объемъ, долженъ объяснить намъ тотъ, кто берется говорить о происхождении организмовъ. Дарвинъ

отчасти видълъ такую постановку задачи, предчувствовалъ ея обширность. Въ самомъ началъ своей книги О происхождении видовъ онъ говоритъ:

"Натуралисту, размышляющему о происхожденіи ви"довь и соображающему взаимное сродство органическихь
"существь, ихъ эмбріологическія отношенія, ихъ геогра"фическое распредѣленіе, геологическую послѣдователь"ность ихъ появленія, и другіе подобные факты, легко
"прійти къ заключенію, что каждый видъ не быль соз"данъ отдѣльно, но что всѣ они произошли какъ разно"видности отъ другихъ видовъ. Тѣмъ не менѣе, такое за"ключеніе, даже если оно и основательно, не можетъ
"удовлетворить насъ, пока мы не объяснимъ себѣ, ка"кимъ способомъ безчисленные виды, населяющіе землю,
"были видоизмѣнены до того совершенства въ строеніи
"и въ взаимныхъ приспособленіяхъ, которое такъ спра"ведливо восхищаетъ насъ в ".).

Совершенно върно; то именно, что всего больше восжищает насъ, то и составляеть главную сторону задачи, существенный предметь нашего любопытства. А что же сдълаль самъ Дарвинъ? Примъняя въ его теоріи его же слова, мы можемъ сказать такъ:

"Натуралисту, принявшему всё гипотезы и объясненія Дарвина, конечно легко будеть признать, что всё виды подвергались какимъ-нибудъ измёненіямъ, что должно было происходить какое-нибудъ дифференцированіе, и что тё приспособленія, которыя случились, должны были укрёпляться и господствовать въ силу борьбы за существованіе; но такое заключеніе, даже если бы оно было вполнё основательно, не можеть удовлетворить насъ,

<sup>\*)</sup> О происхождении видовъ, етр. 2.

пока теорія не объяснить намъ, какія именно изм'вненія были претерп'вваемы видами, по какимъ законамъ сопершалось дифференцированіе, и какимъ образомъ полутились именно т'в удивительныя приспособленія и удивительныя свойства организмовъ, которыя мы знаемъ, а не какія-нибудь другія".

Въ самомъ дѣлѣ, теорія Дарвина не рисуеть намъ никакой картины растительнаго и животнаго царства, не даеть даже ни единой изъ главныхъ черть этой картины; она не объясняеть ни наслѣдственности, ни половаго различія, ни чувствительности, ни типовъ растеній и животныхъ, словомъ ничего частнаго и опредѣленнаго, заключающагося въ организмахъ. Какъ-же можно сказать, что она объясняеть происхожденіе видовъ?

Намъ говорятъ, что человъкъ произошелъ отъ обезьяны; положимъ. Изъ глины, или отъ обезьяны, -- намъ все равно, если объяснение будетъ совершенно удивлетворительно. Но по книжкъ Дарвина въдь выходить, что человъкъ произошель отъ обезьяны точно такъ, какъ одинъ видъ инфузорій отъ другаго вида инфузорій, или, пожалуй, какъ одна обезьяна отъ другой: вотъ съ чъмъ согласиться невозможно, такъ какъ для насъ ясно, что человъкъ есть совершенно особое существо въ природъ, имъетъ зачатки свойствъ, кореннымъ образомъ расходящихся съ животностію, и следовательно, его происхожденіе, каково бы оно ни было, есть величайшее чудо, такой скачекъ, такой переворотъ, которому равнаго и подобнаго не представляетъ вся остальная исторія земной природы. Уловить всю особенность, всю индивидуальность этого переворота, -- воть настоящая, правильная задача. А если мы этого не понимаемъ, если для насъ совершенно неизвъстно и незанимательно, чъмъ человъкъ отличается отъ обезьяны, то конечно намъ не будетъ затруднительно признать и твердить, что онъ отъ обезьяны происходитъ; да только что же толку въ подобномъ заключеніи, когда оно дъла ни мало не поясняетъ и не исчерпываетъ?

Такъ точно и вообще, Дарвинова теорія не уясняєть вполнъ и не исчерпываетъ содержанія и разнообразія животной и растительной жизни. Она основывается на нівкоторых в дійствительно органических явленіях, каковы-размноженіе, борьба за существованіе и смерть; но и эти черты едва ли поняты въ ихъ настоящемъ, живомъ смыслъ. Такъ, напримъръ, смерть всегда играетъ у Дарвина роль событія случайнаго для самого организма. Невыгодныя изм'вненія, по его теоріи, изгоняются съ лица земли насильственно; виды исчезають отъ голода, или отъ преследованія хищныхъ враговъ, зловредныхъ паразитовъ и т. п. Между темъ, судя по аналогіи, нельзя допустить этого. Конечно, всякій организмъ можеть быть умерщвлень насильственно, и въроятно большая часть ихъ именно такъ умираетъ. Но такая смерть есть случайность, не вытекающая изъ устройства и развитія организма, и следовательно, если бы все организмы такъ умирали, то физіологія имъла бы одною задачею меньше, - именно, вовсе не нужно было бы объяснять, почему организмъ послѣ извѣстнаго времени умираеть безъ всякаго внъшняго повода, безъ всякой перемъны во внъшнихъ обстоятельствахъ? Дарвинъ, чтобы избъжать необходимости органическаго объясненія вымиранія видовъ, принимаеть для нихъ везді механическую смерть. Но, такъ какъ для насъ несомивнио существование такъ называемой естественной смерти отдёльныхъ организмовъ, то мы должны предположить, что и при развити видовъ происходило естественное вымираніе. Нѣкоторые фазисы жизни, такъ сказать, от экспециали; они исчезали не чѣмъ либо тѣснимые, а сами собою.

Мы ограничимся этими общими замѣчаніями, въ которыхъ старались показать, что начала, принимаемыя Дарвиномъ недостаточны для предмета, теорію котораго онъ задумалъ построить. Не странно-ли, что новые натуралисты обратили такъ мало вниманія на эту очевидную скудость началь, что они такъ обрадовались, такъ заторопились и провозгласили побъду, не имѣя на то достаточныхъ основаній? Имъ нужно было не объясненіе дѣла, а какая-нибудъ теорія, поскорѣе нуженъ былъ новый авторитетъ, новое имя, новое знамя. Слѣдовательно переворомъ от наукъ произошелъ не въ строгомъ соотвѣтствіи съ развитіемъ науки, а подгоняемый посторонними вліяніями. Не наука внезапно повернула въ другую сторону, а натуралисты.

И мы знаемъ, какое главное вліяніе содъйствовало перевороту: это быль матеріализмъ, или, если взять дъло общье, это было то направленіе мыслей, которое можно назвать европейскимъ нигилизмомъ, и котораго нашъ нигилизмъ есть частное отраженіе, очень своеобразное и можетъ быть наиболье ръзкое изъ всёхъ. Нигилизмъ же есть явленіе преимущественно нравственное, отнюдь не голое умственное заблужденіе. И слъдовательно міръ ума и науки оказался въ настоящемъ случав подчиненнымъ міру нравственному,—что и доказать надлежало.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

# Последователи и противники. \*)

Путаница въ умахъ.—Геккель.—Механическое объяснение происхождения видовъ.—Роста и наслъдственности не объясняетъ Дарвинъ.— Цълесообразность.—Слова Гельмгольца.—Агасивъ.—Вэръ.—Замътка о переводахъ.

I.

Русскій переводь главнаго сочиненія Дарвина вышель уже третьимь изданіемь. Другое его сочиненіе, О про- исхожденіи человтка, появилось у нась, какъ изв'єстно, въ трехъ переводахъ разомъ. И такъ, Дарвинъ у насъ популярный писатель; онъ читается не только спеціалистами, а массою публики, людьми питающими притязаніе на образованность и просв'єщеніе. Къ сожал'єнію, никакъ нельзя радоваться подобному распространенію любви из серьозному итенію; нын'єшняя страсть къ Дарвину есть явленіе глубоко-фальшивое, чрезвычайно уродливое. Дарвинъ по видимому пишетъ ясно и отличается большою точностію и простотою выраженій; но нельзя сказать, чтобы онъ писаль толково; онъ не указываеть

<sup>\*) 0</sup> происхонденіи видовъ, сочиненіе *Чарльса Даренна*. Перевель съ англійскаго *С. А. Рачинскій*. Ивданіе третье, исправленное. Москва

Zum Streit über den Darwinismus. Von K. E. von-Baer (aus der "Augsburger Allgemeinen Zeitung"). Dorpat 1873. (Къ спору о дарвинизмъ. К. Э. Бэра [изъ "Всеобщей Аугсбургской Газеты"]. Деритъ, 1873).

хода своихъ мыслей, ихъ отношенія къ существующимъ понятіямъ, ихъ точнаго объема. Два его сочиненія О происхожденіи видовт и О происхожденіи человтька имѣють совершенно неправильное заглавіе; они никакого происхожденія не объясняють; первое приличнѣе было бы назвать трактатомъ о вимираніи видовт, а второе о чертахт сходства, существующаго между человѣкомъ и животными.

Какъ бы то ни было, путаница въ умахъ читателей, возбужденная Дарвиномъ, невъроятно велика; это одинъ изъ самыхъ жалкихъ примъровъ уродливостей, порождаемыхъ наукою, когда она перестаетъ быть дъломъ строгого изслъдованія. Естественно, что въ массъ публики вопросы ставятся грубо, ръзко, господствуютъ предразсудки, дъйствуетъ авторитетъ, и вотъ, ученіе нетвердое и одностороннее возводится на степень доказанной истины и набираетъ множество приверженцевъ, которые върятъ не тому, что имъ доказано, даже не тому, что заключается въ словахъ ихъ авторитета, а собственнымъ своимъ выдумкамъ.

Относительно Дарвина можно сказать, что его не знають и не понимають не только обыкновенные читатели, но и сами ученые, ставшіе его посл'єдователями. Въ Германіи самый изв'єстный изъ дарвинистовъ есть н'єкто Геккель, авторъ многихъ объемистыхъ ученыхъ сочиненій. Между т'ємъ, его пониманіе Дарвиновой теоріи ужасно по своей грубости. Вотъ, наприм'єръ, какъ онъ излагаетъ сущность д'єла:

"Необыкновенная заслуга Дарвина, катораго сочине-"ніе О происхожденій видовт вдругъ возбудило къ но-"вой сильной жизни совершенно замолкшую теорію пе-"рерожденія, состоить не только въ томъ, что онъ из"ложиль ее обшириве и поливе своихь предшественни"ковь и вооружиль ее всвии собранными до сихь порь
"доказательствами разныхь отраслей зоологической и бо"танической науки \*). Еще большая заслуга великаго
"англійскаго натуралиста состоить въ томъ, что онъ въ
"первый разъ создаль теорію, которая объясняеть меха"нически процесст происхожденія видовт, т. е. сводить
"его на физическія и химическія причины, на такъ на"зываемыя сліныя, безсознательныя и безъ плана дій"ствующія силы прироры. Эта теорія, составляющая вів"нець и довершеніе всего зданія механическаго понима"нія природы, есть ученіе о естественномъ подборіь".

"Слъпыя, безсознательно и безцъльно дъйствующія "силы природы, которыя, какъ доказываетъ Дарвинъ, со-"ставляють естественныя дёйствующія причины всёхъ "сложныхъ и повидимому столь цёлесообразно устроен-"ныхъ формъ въ животномъ и растительномъ царствъ, "суть жизненныя свойства насладственности и приспо-"собленія или измънчивости. Оба эти жизненныя свой-"ства принадлежать всёмъ организмамъ безъ исключенія, "и составляють лишь особыя обнаруженія или частныя "явленія двухъ другихъ, болье общихъ жизненныхъ дъя-"тельностей, отправленій размноженія и питанія, и имен-"но — приспособленіе тѣсно связано съ питаніемъ, а "наследственность съ размножениемъ. Но, такъ какъ всп "явленія питанія и размноженія суть чисто механиче-"скіе процессы природы и производятся только одними "физическими и химическими причинами, то тоже нужно "сказать и объ ихъ частныхъ явленіяхъ, объ отправленіяхъ "приспособленія и насл'вдственности. Исключительно толь-

<sup>\*)</sup> Похвала, какъ мы увидимъ, несправедливая.

"во взаимодъйствіе этихъ отправленій и тѣ внѣшнія об-"стоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ совершается это "взаимодъйствіе,—суть причины органическихъ образова-"ній и преобразованій." (Ueber die Entstehung und den "Stammbaum des Menschengeschlechts. Dr. Ernst Haeckel, "Berl. 1868. S. 23, 24).

Воть изложеніе, противъ котораго долженъ бы жестоко вооружиться самъ Дарвинъ, если бы заботился о точномъ смыслъ своей теоріи, а не объ одной извъстности, не объ одномъ пріобр'втеніи поклонниковъ, каковы бы они ни были. Но противъ словъ Геккеля вооружится и всякій физикъ, всякій физіологъ. Какъ? наследственность и изменчивость суть силы природы! Большей безсмыслицы въ употреблении слова сила еще не бывало. "Питаніе и размноженіе суть чисто механическіе процессы"; но кто же и когда это доказаль? Какой физіологь не скажеть, что не сделано ни шагу для этого доказательства? И Дарвинъ, выдумавшій для объясненія роста и размноженія организмовъ особую гипотезу пангенезиса, не долженъ ли прямо сказать, что онъ понимаетъ питаніе и размноженіе никакъ не механически, а скоръе чисто органически?

Мысль Дарвина очевидно получила у Геккеля самый превратный смысль. Но мы видимъ отсюда, чего бы хотьлось Геккелю, и почему, какъ онъ, такъ и множество другихъ, стали такими ревностными приверженцами Дарвина. Дарвинъ сдълалъ только шагъ къ устраненію понятія иплесообразности въ организмахъ; онъ вовсе не проповъдывалъ слипыхъ, механически-дийствующихъ силъ измънчивости и наслидственности, а только попытался свести чудесное устройство организмовъ на случайное приспособленіе. Но его послъдователи уже трубятъ,

что зданіе механическаго взгляда на природу закончено и ув'єнчано, что найдены силы, объясняющія вс'є формы организмовъ.

Ничего не найдено, и ничего не объяснено. Въ томъ главномъ сочиненіи Дарвина, заглавіе котораго стоитъ въ началѣ нашей статьи, онъ не говоритъ ни единаго слова, которое имѣло бы цѣлью объясненіе роста и наслѣдственности. И вообще этого объясненія нѣтъ нигдѣ въ его сочиненіяхъ, кромѣ предпослѣдней, XXVII главы его сочиненія "The variation of animals and plants"; а въ этой главѣ онъ объясняетъ ростъ и наслѣдственность не механически, а посредствомъ гипотезы, состоящей изъ очень хитраго и невѣроятнаго усложненія органическихъ процессовъ. Такъ что Дарвинъ и не думалъ и не могъ говорить такой глупости, что ростъ и наслѣдственность суть механическія силы природы, не думалъ и не могъ говорить, что онъ объяснилъ эти явленія какъ механическій процессъ.

Но если такъ, то что же сдълаль Дарвинъ? Оказывается, что это гораздо труднъе понять, чъмъ обыкновенно думають. И въ самомъ дълъ, его послъдователи большею частію защищають не его мнѣнія, а свои собственныя, и его противники нападають на то, чего онъ вовсе не думалъ. Чтобы кратко указать въ чемъ состоить дъйствительная мысль Дарвина, мы приведемъ слова Гельмгольца, старавшагося, въ одной изъ своихъ ръчей, объяснить, что новаго внесъ въ науку Дарвинъ.

"Теорія Дарвина", говорить Гельмгольць, "сдѣлала "возможнымъ совершенно новое объясненіе органической "иплесообразности".

"Эта замъчательная и съ развитіемъ науки все болье "и болье раскрывавшаяся цълесообразность въ строеніи "и отправленіяхъ живыхъ существъ была главною причи-"ною, побудившею сравнивать жизненные процессы съ дъй-"ствіями сознательнаго и разумнаго принципа. Мы зна-"емъ во всемъ окружающемъ насъ мірѣ только одинъ "рядъ явленій, имѣющихъ подобный характеръ, — именно "дъйствія и созданія разумнаго человѣка; и мы должны "признать, что, во множествѣ случаевъ, цѣлесообразность "органическаго міра на столько превосходитъ способности "человѣческаго разума, что ей можно приписать скорѣе "высшія, чѣмъ низшія свойства".

"До Дарвина изв'єстны были только два объясненія "органической цълесообразности, которыя оба предпола-"гали вмѣшательство свободнаго разума въ ходъ естест-"венныхъ процессовъ. Первое объяснение, совпадающее съ "виталистическою теоріей, предполагаеть, что всё жизнен-"ные процессы управляются постоянно жизненною душою; "другое же объясненіе приб'йгаеть къ сверхъестественному "разумному существу, творческій акть котораго произвель "въ отдъльности каждый существующій видъ организмовъ. "Последнее возгреніе, котя и принимаеть более редкія "нарушенія законной связи естественных вяленій и поз-"воляетъ относиться строго-научнымъ образомъ къ твиъ "процессамъ, которые наблюдаются въ живущихъ теперь "органическихъ видахъ, но и оно не могло вполнъ устра-"нить всякое нарушение естественной законом'врности, и "поэтому едвали имъетъ значительное преимущество срав-"нительно съ виталистическимъ воззрѣніемъ, которое, съ "другой стороны, имъетъ сильную поддержку въ есте-"ственномъ стремленіи человъка-за одинаковыми явле-"ніями искать одинаковыхъ причинъ".

"Теорія Дарвина заключаеть въ себъ существенно "новую плодотворную идею. Она показываеть, какъ цъ́ле"сообразность въ строеніи организмовъ можето произойти "безо всякаго вмѣшательства внѣшняго разума, единственно "черезъ необходимое дѣйствіе закона природы, — именно за-"кона наслѣдственности индивидуальныхъ особенностей, — "закона давно извѣстнаго и признаннаго, но нуждавшагося "въ болѣе опредѣленномъ формулированіи". ("Бесѣда", 1871, іюнь, стр. 265, 266).

И такъ вотъ въ чемъ дъло, вотъ узелъ вопроса. Главный въсъ и смыслъ Дарвиновой теоріи заключаются въ отрицаніи иплесообразности организмовь, въ предположеніи, что эта цілесообразность произошла отъ накопленія случайных изміненій, оказавшихся невыгодными для существъ, въ которыхъ эти измененія случились. Ростъ и насл'едственность не объясняются въ этой теоріи, а предполагаются, какъ данныя явленія, изъ которыхъ нужно объяснить остальныя. Дарвинъ собственно стремится свести сложныя и частныя органическія явленія на болъе простыя и общія, на измънчивость и наслъдственность. Но, такъ какъ онъ не знаетъ, въ чемъ состоить сущность этихъ простейшихъ явленій, и даже не знаеть какихъ-нибудь точныхъ и общихъ законовъ, по которымъ они совершаются, то онъ и не могъ сдёлать этого сведенія надлежащимъ образомъ, а прибъгнулъ къ уловкѣ, состоящей въ отрицаніи того, что требуется для объясненія. Дарвинъ предполагаетъ собственно, что наслъдственность и измънчивость не слъдують никакима законамь, движутся по осевозможнымо направленіямь, и что правильность и цёлесообразность получаются только отъ исчезанія формъ, не могущихъ выдержать борьбы за существованіе. Воть почему, всякій законь, открываемый въ явленіяхъ изм'внчивости и насл'вдственности, ведетъ къ опровержению теоріи Дарвина. Сила этой теоріи, вся ея привлекательность для умовъ заключается именно въ предположеніи *отсутствія законовъ*, въ сведеніи явленій на игру случайностей.

Простодушные читатели часто думають и говорять, что Дарвинь что-то доказаль или открыль или опроверть; между тымь ничего подобнаго объ немъ сказать нельзя; онь только внесъ въ эту область естественныхъ наукъ свой взглядь, идею случайности, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своимъ отрицательнымъ характеромъ, освобожденіемъ отъ другихъ идей. Что же касается до фактовъ, то они остались тыск, какъ и были,—загадочные, безконечно-таинственные и сложные; объяснить ихъ смыслъ еще никому не дано; можно только отрицать его—что и сдылаль Дарвинъ.

#### II.

Бъ маленькой брошюркъ знаменитаго Бэра, отца научной эмбріологіи, приводится отзывъ Агасиза, что дарвинизмъ есть ирелое болото голословных утвержденій. "Конечно, говоритъ Бэръ, это очень жестко; но бъда "въ томъ, что эта жесткость высказана натуралистомъ, "котораго никто не можетъ упрекнуть въ неспособности "къ общимъ идеямъ, и который сверхъ того обладаетъ "основательнъйшими свъдъніями въ палеонтологіи, въ "исторіи развитія и въ сравнительной анатоміи, то есть "именно въ областяхъ науки наиболье нужныхъ при ръ- "шеніи вопроса о филогенетическомъ развитіи животныхъ "формъ" (стр. 5).

Самъ Бэръ очень хорошю видить, въ чемъ заключается узелъ Дарвиновой теоріи, зерно ея силы, и весьма остроумно разсуждаеть объ этомъ.

"Въ чемъ состоятъ", спрашиваетъ онъ, "тъ условія, "которыя, по теоріи Дарвина, должны намъ объяснить "цълесообразность устройства органическихъ тълъ? Ко-"нечно въ томъ, что все менте цълесообразное въ фор-"махъ, происшедшихъ отъ безконечно продолжающейся "измънчивости, уничтожается въборють за существование? "Смутно припоминается мнъ при этомъ, что я уже когда-"то читаль или слышаль о попыткі достигнуть цілесооб-"разнаго, и даже глубокомысленнаго, посредствомъ исклю-"ченія всего негоднаго, производимаго случайною изм'вн-"чивостію. Это смутное воспоминаніе я стараюсь пере-"тянуть за порог сознанія, — и воть оно встаеть передо "мной живо и ясно! Въ Академіи города Лагадо, нѣко-"торый философъ, основываясь на верной мысли, что "всякая достижимая для людей истина можеть быть вы-"ражена только словами, написаль всѣ слова своего языка "во всёхъ ихъ грамматическихъ формахъ на сторонахъ "кубиковъ, и выдумалъ машину, которая не только пе-"реворачивала эти кубики, но и ставила ихъ въ рядъ. "Послъ каждаго поворота машины, слова, показывавшіяся "рядомъ, прочитывались, и если три или четыре слова имъли "вмъстъ какой-нибудь смыслъ, они заносились въ книгу, "чтобы такимъ образомъ достигнуть всевозможной муд-"рости, которая въдь ни въ чемъ иномъ не могла выра-"зиться кром'в словь. Такимъ образомъ, исключение не-"годнаго было тоже механическое и совершалось несрав-"ненно быстрве, чвив въ борьбв за существование. Но "чего же этимъ достигли съ теченіемъ временъ? Къ со-"жальнію извыстій объ этомъ у насъ ныть. Единствен-"ный историкъ Академіи Лагадо есть Гулливеръ въ сво-"ихъ путешествіяхъ къ отдаленнымъ народамъ, именно "въ третьемъ путешествии. Въ то время, какъ онъ былъ "тамъ, уже было наполнено отдѣльными изрѣченіями "нѣсколько фоліантовъ, но предполагалось, въ интересѣ "общества и ради его просвѣщенія, построить и привести "въ дѣйствіе 500 такихъ машинъ на казенный счеть! "Долго принимали этого разсказчика за шутника, такъ "какъ само собою разумѣется, что цѣлесообразное и глу-"бокомысленное никакъ и никогда не можетъ возникнуть "изъ случайныхъ частностей, но уже съ самаго начала "должно быть мыслимо какъ нѣчто цѣлое, хотя и спо-"собное къ усовершенствованію. А вотъ теперь мы должны "признать, что этотъ философъ былъ глубокій мыслитель, "что онъ предвидѣлъ нынѣшніе тріумфы науки"! (стр. 6, 7).

Такъ говоритъ геніальный старецъ, который -- удивительно подумать -- пятьдесять льть тому назадь основаль научную эмбріологію. Не безъ горькаго чувства онъ видить, что то великое движение идей, которое воодушевляло его юность и привело его къ созданію новой науки, - теперь изсякло, что прежде чемъ оно принесло плоды, которыхъ отъ него ждали, произошелъ наплывъ новыхъ идей, въ борьбъ съ которыми широкія и величавыя идеи былаго времени обнаружили странное, поражающее безсиліе. Зрѣлище чрезвычайно поучительное для того, кого интересуеть исторія идей и развитіе наукъ. Изъ брошюрки мы узнаемъ, что Бэръ пишетъ противъ дарвинизма и что всв его статьи относящіяся къ этой полемик'в, и уже явившіяся, и еще приготовляемыя, будуть напечатаны во второмъ томѣ Reden und Aufsätze (рвчи и статьи), — сборника, котораго первый и третій томъ уже вышли.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о русскихъ переводахъ Дарвина. Дарвинъ у насъ переводится и издается съ такою небрежностію, которая странно противорѣчитъ великому уваженію, повидимому питаемому къ нему и переводчиками и публикой. Изъ всѣхъ переводовъ и изданій, мы не знаемъ ни одной книги Дарвина, которую можно бы было удобно читать по русски. Лучшимъ еще можно считать переводъ о происхожденіи видовъ, котя и тутъ читатель на каждой страницѣ спотыкается о такіе обороты:

"Весьма сожалью, что недостатокъ мъста лишаетъ меня "удовлетворенія выразить мою признательность" и пр. (стр. 2).

"Не могу удержаться оть того, итобы привести еще

"примъръ" и пр. (стр. 57).

"Одинъ полновъсный авторитеть, сэръ Чарльсъ Лейелль, "по далинийшему размышленію впаль на этоть счеть въ сильныя сомньнія" (стр. 233).

Это совсёмъ не по русски. Но есть и такія м'єста, гд'є нескладица происходить отъ слишкомъ большаго усердія переводчика къ русскому языку. Наприм'єръ:

"Нътъ непогръшимаго въдала для распознаванія вида

"отъ ръзкой разновидности" (стр. 44).

Имя существительное *выдало* встрѣтилось намъ въ первый разъ въ этой книгѣ; оно, очевидно, должно замѣнять слово *критерій*, которое переводчикъ нашель помѣхою для ясности и красоты русской рѣчи. Точно такъ, изъ новаго третьяго изданія онъ изгналь даже слово *натуралист* и замѣнилъ его будто-бы болѣе благозвучнымъ и понятнымъ словомъ *естествоиспытатель*. Вотъ труды по истинѣ папрасные! Ужь если вы такъ любите русскій языкъ, то прежде всего и больше

всего старайтесь сохранить его строй, русскій синтаксись, позаботьтесь о томь, чтобы согласованіе словь и теченіе річи было точно, живо и ясно; а отдівльныя иностранныя слова есть самое меньшее изь золь, возможныхь въ русской книгів. Притомъ натуралисть, критерій не суть англійскія слова, а слова всемірныя, которыя поэтому должны употребляться въ каждомъ образованномъ языків. Напротивъ, если вы англійское слово satisfaction переведете буквально удовлетвореніе, то вы сділаете англицизмъ, который ни въ русскомъ и ни въ какомъ другомъ языків терпимъ быть не долженъ.

Въ новомъ изданіи, хотя оно именуется *исправлен- нымъ*, кажется не сдѣлапо никакого исправленія, кромѣ
изгнанія слова *натуралисть*: ошибки, которыя мы привели, повторены въ третьемъ изданіи въ томъ самомъ
видѣ, какъ онѣ явились въ первомъ. Опечатками новое
изданіе кишитъ гораздо болѣе перваго.

Мы боимся утомлять читателей указаніемъ заміченныхъ нами сверхъ того неточностей, пропущенныхъ словъ, неправильной передачи терминовъ и т. д. Но упомянуть объ этихъ неисправностяхъ считаемъ своимъ долгомъ. Горькій опытъ убідилъ насъ, что вообще изучать Дарвина по русскимъ переводамъ невозможно, что очень часто встрівчается надобность обращаться къ подлиннику. Мы знаемъ, что хорошіе переводы вообще больщая різдкость и всегда были різдкостію не въ одной нашей, но и во всякой другой литературів; все-таки нельзя не пожаліть, что Дарвину не боліве посчастливилось въ русской литературів.

(1872—73 гг.).

IV.

# ЦЕЛЛЕРЪ \*).

# ГЛАВА ПЕРВАЯ.

# Вопросъ объ исторіи философіи.

Умственное владычество Германів.— Ренанъ объ Маколев. — Вопрось о задачв исторіи философіи.—Льюнсь.— Исторія наукъ въ Германіи.— Какъ Целлеръ излагаеть содержаніе философскихъ книгъ.— Что такое философъ?— Лессингъ.

Нѣмецкія книги — суть лучшія книги на свѣтѣ. Въ сферѣ мысли и науки Германія, какъ извѣстно, имѣетъ авторитетъ, высоко стоящій надъ авторитетомъ другихъ просвѣщенныхъ народовъ. Это умственное владычество тѣмъ поразительнѣе, что Германія пріобрѣла его очень поздно; чтобы завоевать его, она должна была выйти изъ того презрѣнія и умственнаго подчиненія, въ которомъ нѣкогда находилась, и должна была взять верхъ надъ странами, уже давно обладавшими высокою умственною жизнью. "Въ серединѣ XVII столѣтія", разсказываетъ Целлеръ, "другіе народы (Италія, Англія, Франція, "Голландія) высокомѣрно смотрѣли на нѣмцевъ, считая

<sup>\*)</sup> Geschichte der Wissenschatten in Deutschland. Neuere Zeit. Bd. XIII. Geschichte der deutschen Philosophie, von Dr. Eduard Zeller. München, 1873. (Исторія наукъ въ Германіи. Новое Времи. Томъ XIII. Исторія нъмецкой философіи, Эдуарда Целлера. Мюнхенъ, 1873).

"ихъ мало способными къ наукамъ, и всего меньше "готовы были признать способность къ философіи за "тѣмъ самымъ народомъ, который впослѣдствіи былъ "преувеличенно названъ *народомъ мыслителей*" (стр. 1).

Какъ мы знаемъ, это высокомъріе къ нъмдамъ продолжалось и въ XVIII столетіи и уступило только блестящимъ подвигамъ германскаго генія, который къ концу этого стольтія создаль свою литературу и философію. Съ тёхъ поръ, побёда слёдовала за побёдой, и умственное владычество Германіи получило силу, которой никогда не имъли другія страны. Германія стала въ полномъ смыслъ слова учительницею Европы, а слъдовательно и всего міра. Франція и Англія, т'в дв'в страны, которыя повидимому могли бы соперничать съ Германіею, покорно преклонились передъ нею. Послушайте Ренана, когда онъ говорить о німецкой культурів и о своемъ первомъ знакомствъ съ нею; для него этоновый высшій міръ, какой-то храмъ, въ который онъ вошель съ восторгомъ и благоговъніемъ изъ мелкаго міра французской мысли и науки. Точно такъ и у Карлейля, посвященнаго въ тайны нъмецкой философіи, его родная англійская философія и наука вызывають величайшее презрвніе. Блестящій и всесввтно знаменитый писатель Маколей вызваль какъ-то у Ренана отзывъ, который мы приведемъ для приміра, чтобы показать, какъ далеко взглядъ человъка, знакомаго съ германской наукою, отступаеть отъ обыкновенныхъ сужденій. "Разъ "какъ-то я сталъ читать Маколея", разсказываетъ Ре-"нанъ. "Эти ръзкіе приговоры, эта враждебность къ "своимъ противникамъ, эти явно признаваемые пред-"разсудки, это отсутствие безпристрастия и способности "понимать противоположные взгляды, этотъ либерализмъ "безъ всякой широты пониманія, это христіанство вовсе "не христіанское,—все это возмутило меня. Таковъ б'яд-"ный родъ челов'яческій, что для него нужны узкіе "умы".

Но Англія и Франція—страны слишкомъ своеобразныя, имфющія слишкомъ давнюю, уже крфико сложившуюся и сильно разросшуюся культуру; поэтому онъ не могли подпасть слишкомъ глубокому вліянію Германіи; он'в продолжали жить своею умственною жизнью, хотя и чувствовали, что у нихъ отнято первенство, что власть ихъ потеряна. Но мы, русскіе, — другое діло. Не имъя своей науки и философін, неудерживаемые никакими преданіями и обладая хотя безплодною, но на все способною подвижностью, мы постоянно усвоивали себъ направление нъмецкой науки, такъ что все наше просв'ящение главнымъ образомъ есть плодъ германскаго просв'ященія. До посл'яднихъ дней Германія есть наша учительница, и различные фазисы нашей умственной жизни непременно содержать въ себе отражение философскаго и научнаго движенія Германіи.

И такъ, новая нѣмецкая книга, трактующая о важномъ предметѣ и излагающая намъ современное состояніе науки, представляетъ для насъ очень важное и интересное явленіе. Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ объ исторіи философіи. Спрашивается, чему же насъ учатъ нѣмцы относительно этого предмета? Знаменитый ученый написалъ исторію нѣмецкой философіи; мы съ жадностію беремся за книгу; но, разумѣется, не съ тѣмъ чтобы изучать ученія Лейбница, Канта, Гегеля—мы и прежде были съ ними знакомы,—а съ тѣмъ, чтобы найти для себя высшее руководство, получить наставленіе, какъ научнымъ образомъ понимать и обработывать исторію

философіи вообще. Въ чемъ главная задача этой науки и какъ мы можемъ достигать ел?

Къ удивленію и сожальнію, мы не находимъ въ новой книгы никакого отвыта на эти вопросы, на вопросы вполны закопные, которымъ насъ научила сама же Германія. Вотъ фактъ, на который мы желаемъ обратить вниманіе читателей. Наша великая учительница очевидно въ величайшемъ смущеніи; она умалчиваетъ о самыхъ существенныхъ пунктахъ науки, а о другихъ говоритъ съ странной осторожностію, съ безпрерывными и неясными оговорками.

Для того чтобы писать исторію философіи, нужно самому философствовать, непремённо нужно исповёдывать какое-нибудь философское ученіе. Иначе ничего нельзя будеть понять въ исторіи философіи. Для человѣка, который вовсе чуждъ философскаго мышленія, философскихъ убъжденій, вся эта исторія явится какимъ-то неинтереснымъ вздоромъ. И нынъшнее настроеніе умовъ очень близко къ такому взгляду на дёло. Для нынъшняго времени, когда нъкоторую силу имъютъ только эмпиризмъ, матеріализмъ и позитивизмъ, самый логическій взглядъ на исторію философіи будеть такой, что философія есть печальное заблужденіе, отъ котораго по немногу освобождалось и освобождается человичество. Въ такомъ духѣ написалъ свою исторію Льюнсъ, позитивисть. Онъ писаль исторію философіи такъ точно, какъ физикъ можетъ написать исторію магін, химикъисторію алхимін, астрономъ-исторію астрологін. Если занятіе подобными предметами и нельзя считать очень важнымъ деломъ, то все-таки это дело возможное, имеющее опредиленный смыслъ. Но Целлеръ находится въ гораздо болье затруднительномъ положении, чемъ Льюнсъ.

Онъ не держится нинакого взгляда, а между тъмъ долженъ былъ написать исторію философіи.

Дѣло происходило такъ. Отецъ нынѣшняго баварскаго короля, Максимиліанъ II, задумалъ, для славы Германіи и въ поученіе міру, дать намъ исторію того, чѣмъ всего больше можетъ гордиться Германія, исторію наукъ от Германіи. Исполненіе этого плана онъ поручилъ состоящей при мюнхенской академіи наукъ "исторической коммиссіи", которая разослала приглашенія знаменитѣйшимъ изъ современныхъ нѣмецкихъ ученыхъ. Эти знаменитости почти исключительно оказались профессорами; двадцать четыре такихъ знаменитости взялись за дѣло, и оно исполнено уже больше чѣмъ на половину.

Вотъ какъ случилось, что Целлеру, знаменитому своимъ трудомъ: Философія Грековг вт ея историческомт развитии, досталось писать исторію философіи въ Германіи. Между тімь, что такое философія и вь чемь заключается ея исторія, онъ не знаетъ. То есть, онъ знаетъ разные чужіе отвъты на эти вопросы, но ни одинъ отвётъ имъ не усвоенъ, не принимается за неизмънное руководство. Очень странно сказать, а между твиъ весьма похоже по виду, что въ настоящемъ случав онъ даже вовсе забыль объ этихъ вопросахъ. Въ предисловіи онъ объ нихъ не упоминаеть, но настоятельно жалуется на совершенно другія затрудненія, именно на то, что отъ него требовали, чтобы все сочинение было въ одномъ томъ и чтобы оно было написано по возможности популярно. Въ его книгъ почти тысяча страницъ, но и этого ему было мало. "Въ самомъ изложеніи философскихъ взглядовъ", пишетъ онъ, "я принужденъ былъ говорить мимохо-"домъ о многомъ, что заслуживало бы само по себъ бо-"лъе подробнаго изложенія; внутреннюю связь и научное "обоснованіе ихъ я часто могъ указать только немно-"гими чертами и долженъ былъ опустить или бъгло "упомянуть о многихъ цънныхъ частныхъ изслъдова-"ніяхъ и замъчаніяхъ" (Vorrede, S. VII).

Не странный-ли пріемъ-въ исторіи философіи излагать разные философскіе взгляды, но опускать, за недостаткомъ мъста, ихъ внутреннюю связь и научное ихъ обоснованіс? Для Целлера какъ будто самое важное не философія и ея развитіе, а та литература, та масса книгъ, которая написана о философіи и которая въроятно украшаеть ствны его кабинета. Изъ-за изложенія содержанія этихъ книгъ онъ забываеть издагать значение и связь тъхъ идей, которыя ихъ породили. Книга Целлера есть сочинение не философа, а филолога, и даже филолога въ дурномъ смыслѣ-такого, для котораго буква, текстъ — важиве духа, иден. Не знаемъ, какъ бы онъ изложилъ внутреннюю связь и научное обоснование философскихъ учений, если бы вмъсто одного тома въ тысячу страницъ написалъ десять такихъ томовъ; но теперь мы не находимъ въ его книгъ не только внутренней связи явленій философіи, но не находимъ и яснаго пониманія того, что такое философія.

Отъ научныхъ требованій вѣдь невозможно уклониться. Какъ бы мы ни хитрили, уклоняясь отъ прямаго отвѣта на существенные вопросы, а прійдется же гдѣ-нибудь дать косвенное указаніе на то, какъ мы ихъ понимаемъ. Когда, напримѣръ, пишемъ исторію философіи, то хотя бы у насъ эта исторія была похожа на библіографію, и тогда намъ прійдется отвѣчать на такой вопросъ: какого писателя слѣдуетъ занести въ эту исторію и какого нѣтъ? Кого нужно считать философомъ и кого нѣтъ? И слѣдовательно, —ито такое философъ?

Послѣ всего, что было писано и толковано о философіи, Целлеръ конечно не могъ, да и не былъ расположенъ пропустить кого-нибудь изъ замѣтныхъ философовъ; но по своей жадности къ философской литературѣ, къ книгамъ, онъ непремѣнно долженъ былъ впасть въ противоположную ошибку и занести въ свою исторію тѣхъ писателей, которые лишь слабо связаны съ философіею. Такъ, не имѣя мѣста для изложенія внутренней связи и научнаго обоснованія системъ, онъ однако же внесъ въ свою исторію Лессинга и посвятилъ ему 40 страницъ, то-есть вдвое больше, чѣмъ Шопенгауэру и только въ полтора раза меньше, чѣмъ Гегелю.

Философъ ли Лессингъ, или нътъ? Чтобы ръшить этотъ вопросъ, очевидно нужно знать, что такое философія. И вотъ Целлеръ, который какъ будто избъгалъ всякаго изложенія своихъ мнъній о философіи, принужденъ высказаться.

"Когда мы слынимъ имя Лессинга, то прежде всего "конечно вспоминаемъ о заслугахъ, которыя оказалъ "этотъ ръдкій человъкъ всей нашей литературъ и нашей "духовной жизни. Его величіе основывается не на усибиний разработкъ отдъльной спеціальности, а на томъ "дъйствіи, которое онъ производилъ во всъ сторони, на "тъхъ зажигающихъ и озаряющихъ искрахъ, которыя "неустанно разсыпалъ этотъ пламенный духъ, чъмъ бы "онъ ни занимался. Прежде всего, онъ для насъ—неза"висимый, самъ на себя опирающійся характеръ, кото"рый безъ отдыха и страха боролся за дъло умствен"ной свободы; геніальный, никъмъ не превзойденный "критикъ, который безнощадно преслъдовалъ ложный "вкусъ и надувающуюся посредственность, который съ "образцовой ясностію опредълилъ задачу поэзіи и теат-

"ральнаго искусства, который, очистивъ и ограничивъ "каждую область, разъясниль отношение искусства къ "наукъ, различныхъ искусствъ и видовъ искусства другъ "къ другу, философіи къ теологіи и теологіи къ религіи; "классическій писатель, который занимаеть одно изъ пер-"выхъ мъстъ между основателями нъмецкаго театра и нъ-"мецкой прозы. Только одинъ листикъ его вънца, и не "тотъ, который всего больше бросается въ глаза, принад-"лежитъ исторіи философіи. Его натура и ходъ его жизни "одинаково содвиствовали тому, чтобы образовать изъ "него перворазряднаго критика, но никакъ не система-"тика. Какъ мало онъ имълъ расположенія и признанія "стать систематикомъ, видно уже изъ знаменитыхъ словъ. "характеризующихъ всего человъка: "если бы Богъ въ "своей правой руки держаль всю истину, а въ ливой "только ввино-живое стремление къ истинв, хотя бы съ "условіемъ-вічно заблуждаться, и если бы мні дано "было выбирать, я выбраль бы лівую руку; чистая "истина въдь хороша для одного лишь Бога". Лессингъ "былъ слишкомъ критическая натура, чтобы не подвер-"гать сомивнію своихъ собственныхъ выводовъ, слиш-"комъ безустанный изследователь, чтобы успоконться на "какомъ-нибудь положеніи, какъ на незыблемомъ осно-"ванін для дальнівшаго созиданія; онъ быль слишкомъ "низкаго мивнія о человіческой познавательной способ-"ности, чтобы нашимъ представленіямъ, какъ скоро они "выходять за предёлы самыхъ общихъ нравственныхъ "и религіозныхъ убъжденій, приписать большее значеніе, "чёмъ лишь простую въроятность; то, что ему предлага-"лось какъ несомивнное, уже по этому самому было для "него подозрительно; но, какъ этого нельзя не видеть "и какъ это совершенно понятно при такой необыкно-

**ЦЕЛЛЕРЪ** 

"венной умственной возбудительности, у него, при всей "логической остроть, не доставало той степени терпвнія "и привычки къ методическому, идущему шагъ за шагомъ, . не пропускающему ни единаго посредствующаго члена "мышленію, которая необходима для систематическаго "философа. И такъ, если исторія философіи должна бы "была пов'єствовать только о тіххь, которые были осно-"вателями или последователями определенной системы, "то ей слъдовало бы пройти Лессинга молчаніемъ. Но "если она напротивъ должна говорить о всихъ, которые "тьмг или другимг способомг содпйствовали развитію "и прояснению философских понятий, то она не только "приметъ Лессинга во вниманіе, но и должна будетъ на-"звать его (за исключеніемъ Канта) величайшимъ изъ "философовъ просвътительнаго періода" (стр. 349, 350).

Воть и разберите, кто философъ и кто нътъ. Развъ не всякій поэть, разв'в не всякій крупный писатель или ученый способствуеть тими или другими способоми развитію философскихъ понятій? По Целлеру выходить, что всв они должны быть зачислены въ философы, и многіе конечно въ величайшіе философы своего времени. Какъ бы посмёнися Лессингъ, прочитавъ себе такую похвалу, онъ, такъ строго разграничивавшій различныя области умственной и художественной д'вятельности! Если есть научная задача для исторіи философіи, то она, конечно, прежде всего заключается въ томъ, чтобы въ различныхъ видахъ и формахъ, въ которыхъ проявлялось философское мышленіе, найти его всегдашнія отличительныя черты, показать его отношение къ другимъ явлениямъ умственной жизни, найти его спеціальное значеніе въ жизни человічества. Философы, почти такъ же, какъ поэты, суть люди особенные, обладающіе особыми талантами и им'ьющіе особую область творчества. Не только творить поэзію могутъ лишь немногіе, лишь дъйствительные поэты, но и пониманіе поэзіи бываетъ доступно людямъ въ различной степени. Тоже самое нужно сказать о философіи. Лессингъ могъ обладать великими умственными силами, могъ быть даже очень способенъ понимать философскія ученія, и въ тоже время вовсе не имъть настоящаго философскаго таланта.

#### ГЛАВА ВТОРАЯ.

#### Отношение философін къ другимъ наукамъ.

Философія какъ лишняя наука. — Философія какъ наука подчиненная. — Главенство философія. — Естественныя науки, ихъ успѣхи и значеніе для философія. — Гельмгольцъ. — Механическая теорія теплоты. — Полный упадокъ философія. — Радостныя надежды Целлера. — Заключеніе.

Когда потеряна идея философіи, тогда эта наука не выдъляется изъ массы другихъ наукъ, сливается со всякими областями умственной дъятельности. Но тогда она непремённо окажется излишнею наукою. Самое обыкновенное возражение противъ философіи, на которое справедливо ссылаются даже мало способные къ мышленію люди, будеть слёдующее: частныя науки обнимають собою всё предметы познанія; зачёмъ же еще нужна общая наука? Если философія хочеть говорить о душ'в, о познаніи, то на это есть исихологія; если о веществ'є, то на это есть физика и химія; если о развитіи челов'вчества, то на это есть исторія, и т. д. Философія им'веть притязаніе на какое-то главенство надъ науками; по науки повидимому не нуждаются ни въ какомъ руководствъ; онъ работаютъ и развиваются вполнъ самостоятельно, и слъдовательно философія есть вещь излишняя.

Но бываютъ времена, когда идея философіи еще болье страдаетъ, когда она не отрицается, а извращается.

Очень часто на философію смотрять какъ на подчиненную науку, —именно, считають ся принадлежностію самыя общія научныя положенія и думають, что эти положенія могуть быть только выводомь, результатомь частныхь наукь. При такомъ пониманіи, философія не только лишается своего настоящаго мъста, но и прямо становится на другое мъсто, весьма низкое и на которомъ нъть даже возможности для какихъ нибудь притязаній.

Вообще, отношение философіи къ наукамъ есть существенная черта, когда вопросъ идетъ о состояніи философін. Конечно, развитіе наукъ и развитіе философіи им'вють н'вкоторый общій корень во внутренней жизни человвчества; но научный духъ изввстнаго времени ни въ чемъ не выражается такъ ясно и сильно, какъ въ философіи этого времени. Поэтому, если философія сильна, она неотразимо и плодотворно дъйствуетъ на науки. следы ея вліянія часто простираются на огромное протяженіе; такъ, мы до сихъ поръ въ литературномъ и ученомъ языкъ употребляемъ категоріи Декарта и Локка; и эти категоріи составляють едва ли не большую часть понятій, употребляемыхъ образованными людьми, когда они вздумають пофилософствовать. Если же науки не хотять знать философіи, или даже враждують противь нея и сами заявляють право на решение всякихъ вопросовъ, то это върный признакъ упадка не только философіи, но и истинно-паучнаго духа въ наукахъ. Отчего зависять подобныя колебанія? Не имфють ли науки и философія еще болье глубокой основы, движеніе которой составляеть причину ихъ движеній? Что свидътельствуеть объ этомъ исторія? На всѣ эти вопросы мы напрасно стали бы искать хоть намека въ книги Целлера.

По обычаю, однако же, онъ признаеть, что прогрессъ

идетъ впередъ твердо и неуклонно, и потому разсказываетъ всю исторію такимъ тономъ, какъ будто она представляетъ рядъ какихъ-то успѣховъ, хотя и не видно точной связи между ними и того пути, по которому всѣ они движутся. Но въ концѣ книги онъ изображаетъ нынѣшнее положеніе дѣлъ, и тутъ, не смотря на всю уклончивость его отъ прямыхъ сужденій, очень ясно видно, что прогрессъ ни къ чему не пришелъ. Современное положеніе дѣлъ разсказывается такъ:

"Выстрый полеть естествознанія въ посліднія десяти-"льтія, огромная масса добытыхъ имъ свыдыній, блес-"тящія открытія, къ которымъ оно пришло, были таковы, "что вполнъ могли дать ему въ общемъ мнъніи перевъсъ "надъ всеми другими науками, и именно надъфилософіею. "По плодотворности своихъ пріемовъ, по твердости и "пользів своих в результатовь, оно тімь болье отодвигало "философію на задній планъ, чемъ мене большинство "имело ясныхъ понятій объ ихъ взаимномъ отношеніи, "чъмъ исключительнъе подъ философіею, когда ее при-"ходилось сравнивать съ естествознаніемъ, разумълась "обыкновенно шеллинговская или пожалуй гегелевская "натурфилософія, чімь неизвізстніве было большинству, "какъ много само естествознаніе обязано философіи, "сколько разныхъ метафизическихъ предположеній и по-"нятій оно само употребляеть, сколько у него съ другой "стороны результатовъ составляющихъ лишь гипотезы, "неим'вющія полной научной достов'врности; чімъ легче, "наконецъ, былъ упускаемъ изъ виду вопросъ, действи-"тельно ли и въ какой мъръ собственные задачи и пред-"меты философіи допускають естественно-научный пріемъ "обработки. Такимъ образомъ составилось подъ конецъ "предубъждение, что философія въ наше время съиграла "свою роль и ей ничего больше не остается, какъ вполнъ "распуститься въ физику и физіологію. Самое ръшитель-"ное выраженіе этого мнѣнія можетъ быть найдено въ "матеріализмѣ, который былъ провозглашенъ и исповъ-"дуется Молешоттомъ, Бюхнеромъ, К. Фохтомъ и многими "другими, большею частію физіологами и врачами, между "тѣмъ какъ Чолбе все больше и больше колебался въ "этомъ исповѣданіи" (стр. 913).

Попробуемъ отдать себв отчетъ въ томъ, что здвсь разсказывается. Какъ ни объясняетъ Целлеръ перевисъ естественныхъ наукъ надъ философіею, онъ очевидно не даетъ полнаго объясненія. Какимъ образомъ философія могла пострадать отъ того, что одна изъ отраслей знанія сдълала большіе успахи? Какъ случилось, что физіологи и врачи см'ютъ возставать противъ философіи, тогда какъ (по словамъ Целлера) они сами не знаютъ, противъ чего возстаютъ? Целлеръ очень справедливо не приписываеть матеріализму никакого философскаго значенія и видить источникь его философской роли только въ невъжествъ тъхъ, кто его исповъдуетъ. Но какъ же случилось, что нев'вжество взяло верхъ надъ знаніями? На эти вопросы нельзя иначе отв'йчать, какъ признавъ, что причина всего явленія не въ сил'є естественныхъ наукъ, а въ безсиліи философіи, и что естественныя науки въ этомъ случай обнаруживають въ себй самихъ очевидный упадокъ научнаго духа, а не какое-нибудь блестящее его развитіе. Разв'я хорошо состояніе той науки, которая выходить за свои предёлы, не различаеть своихъ основаній, принимаетъ гипотезы за достов'єрные результаты? И д'яйствительно, нып'ятнее движение естественныхъ наукъ по силъ мысли далеко уступаетъ блестящей эпохѣ развитія, которую онѣ пережили отъ конца прошлаго стольтія до сороковыхъ годовъ нынышняго.

Но Целлеръ, незыблемо въруя въ прогрессъ, далекъ отъ этихъ мыслей. Онъ не замъчаетъ жалкаго состоянія философіи, къ которому она пришла въ заключеніе своей исторіи, и думаетъ, что все идетъ прекрасно. Онъ продолжаетъ такъ:

"Этотъ новый матеріализмъ едва ли породилъ какую "нибудь научную мысль, которой бы нельзя было найти "уже у Дидерота и Гольбаха; однако же, онъ не лишенъ "вовсе значенія. Ибо, съ одной стороны въ немъ за-"ключается настоятельное требованіе отъ философіи, "чтобы она согласовала физіологическіе факты со сво-"ими предположеніями; а съ другой стороны, въ немъ, "хотя не прямо, выразилась потребность связать есте-"ствознаніе съ н'якоторымъ болве всеобъемлющимъ міро-"возэрѣніемъ, т. е. съ философіею. Въ самое послъднее "время эта потребность, со стороны естественных наукъ "вообще, чувствуется повидимому въ большей мірь, чімъ "нъсколько лътъ тому назадъ. Именно, тотъ изъ нъмец-"кихъ натуралистовъ, который больше другихъ соеди-"няеть въ себъ стремленіе обозръвать природу въ цъ-"ломъ и въ крупныхъ чертахъ съ многостороннимъ и "основательнымъ изученіемъ частностей, Г. Гельмгольцъ, "обязанъ своимъ выдающимся положеніемъ не въ малой "мъръ философскому духу своихъ изслъдованій; и дъй-"ствительно, исходя отъ физіологіи, онъ пришель къ "изысканіямъ и выводамъ по теоріи познанія, въ силу "которыхъ онъ во многихъ случаяхъ соприкасается съ "Кантомъ, и представилъ весьма цънный вкладъ въ его "теорію познанія. Физіологія нашего времени вообще ока-"зала значительныя услуги философіи, ближайшим вобра-

"зомъ психологіи, и объщаеть оказать еще большія; съ "другой стороны, физика находится въ тосномъ отно-"шеніи съ метафизикою, и такое открытіе, какъ напри-"мъръ механическая теорія теплоты, въ силу которой "только и стало возможно точне формулировать, научно "обосновать и сдёлать приложимымъ законъ сохраненія "силы, установленный уже Лейбницемъ, — такое открытіе "едва-ли не столько же важно для метафизики, сколько "для физики. Это значение естественныхъ наукъ не оста-"лось непризнаннымъ и въ нашей философіи; въ послъд-"нія 25 л'єть едва ли явилось сколько нибудь значи-"тельное сочинение въ области исихологии и метафизики. "которое не старалось бы поставить себя въ правильное "отношеніе къ этимъ наукамъ и употребить ихъ резуль-"таты для поправки и пополненія своихъ положеній. "Эти стремленія однакоже еще не привели ни къ какому "коренному преобразованію философской начки, ни къ "какой новой общепризнанной системь; настоящее время, "напротивъ, представляетъ такое расхождение научныхъ "взглядовъ и столько ощупью дълаемыхъ попытокъ, что "на основании исторического разсмотрпнія невозможно "опредплить, скоро ли и какимъ образомъ мы прійдемъ "снова къ какой нибудь философской системь, которая "бы господствовала некоторый, короткій или долгій пе-"ріодъ времени". (ст. 914).

Вотъ страница, которая останется памятникомъ великаго упадка философскихъ понятій въ нынѣшней Германіи. Целлеръ придаетъ здѣсь естественнымъ наукамъ такой авторитетъ, такую силу, что онъ очевидно находится въ рабскомъ страхѣ передъ ними; иначе невозможно объяснить такого чрезвычайнаго превознесенія ихъ. Гельмгольца онъ записываетъ въ философы; приписываеть естественнымъ наукамъ большія заслуги въ разсужденіи философіи, и даже ожидаеть отъ нихъ новой системы. Все это совершенно невърно, не имъетъ никакого основанія съ настоящей, съ философской точки зрвнія. Гельмгольцъ есть ученый удивительно остроумный и отлично работающій, но, увы! безъ всякой оригинальности, безъ всякой способности къ новому взгляду. Это большой силачь, но ум'йющій идти только по пробитымъ дорогамъ. Естественныя науки именно въ последнія 25 леть и не оказали никакой услуги философіи, не разработали никакой методы, не пояснили ни одной мысли. Целлеръ ссылается на механическую теорію теплоты. В'вроятно онъ видить въ ней какую нибудь ужасную мудрость; но всякій знающій діло не долженъ ли признать за вопіющую несообразность мысль, что эта теорія им'веть какую-нибудь важность для метафизики? Она есть не болье, какъ распространение механическаго взгляда, то есть Декартовыхъ категорій, на предметь, на который ихъ и следовало распространить. Отъ этого ничего не перемънилось не только въ метафизикѣ, а и въ физикѣ; научные пріемы и общія основанія остались ті-же.

Да и вообще, исторія, которую разсказываетъ Целлеръ, невозможна по самой сущности дѣла. Философія
не можетъ подчиняться въ своемъ развитіи какой нибудь частной наукѣ. Ставить философію на одну доску
съ другими науками, воображать, что результаты ея и
другихъ наукъ имѣютъ одинаковую природу и могутъ
замѣнять и пополнять другъ друга, значить утратить
всякую идею философіи, что безъ сомнѣнія и случилось
съ Целлеромъ. Но ему, очевидно, не можетъ прійти и въ
голову, что нынѣшнее время есть періодъ упадка; по-

слѣ недавнихъ побѣдъ, такая мысль по видимому невозможна ни для одного нѣмца. И вотъ онъ, не имѣя возможности отрицать, что теперь состояніе философіи весьма сомнительно, оканчиваетъ однакоже свою книгу радостнымъ пророчествомъ.

"Однако", пишетъ онъ, "изъ того хода, который до "сихъ поръ имъла философія, можно хотя въ общихъ чер-"тахъ заключить о направленіи, которое она приметъ "въ ближайшемъ будущемъ".

"Нѣмецкая философія отъ Лейбница до Гегеля, если "брать ее въ цѣломъ, была идеализмомъ".

"Въ Гегелевскомъ апріорическомъ построеніи міро-"зданія этотъ идеализмъ достигь своего систематическаго "завершенія... Когда же, на ряду съ упадкомъ философ-"ской производительности послъ смерти Гегеля, стала "происходить многостороннъйшая и плодотворнъйшая ра-"бота въ области опытныхъ наукъ и преимущественно "естествознанія, то этимъ ясно указывалось, что новая "философія должна вступить въ более тесную связь съ "этими науками, что она должна употребить въ свою "пользу ихъ результаты и пріемы, и свой прежній слиш-"комъ исключительный идеализмъ пополнить здравымъ "реализмомъ. Да и вся жизнь нашего народа, начиная "съ двухъ третей нынёшняго столетія, вступила въ но-"вый фазись, въ которомъ политическая и хозяйствен-"ная работа получила неожиданный объемъ, нашла себъ "новыя задачи и достигла результатовъ, о которыхъ пре-"жде нельзя было и мечтать. Но, какъ въ этой области "все дёло въ томъ, чтобы Германія изъ-за внёшнихъ "успъховъ не забывала своихъ духовныхъ и нравствен-"ныхъ условій, изъ-за новыхъ задачъ-своихъ преж-"нихъ идеаловъ; такъ точно и будущее нъмецкой фи"пософіи прежде всего будеть зависьть оть того, въ ка-"кой степени ей удастся сохранить одинаковую зоркость "какъ для фактическаго свойства вещей, такъ и для "глубже лежащей ихъ связи, какъ для субъективныхъ, "такъ и для объективныхъ элементовъ представленій, "какъ для естественныхъ причинъ, такъ и для идеаль-"ныхъ основъ явленій" (стр. 915 и 917).

Другими словами-въ настоящее время нъмцы отказались отъ того идеализма, въ которомъ состояла ихъ философія; они нынче увлечены естественными науками и своими неожиданными политическими успъхами. Но Целлеръ не хочетъ видъть здъсь упадка философіи, а признаеть туть новый шагь къ ея дальнъйшему и лучшему развитію. Незаконный авторитеть, который пріобръли естественныя науки, для него есть правильное явленіе, хорошій прогрессь; и политическіе усп'яхи для него, какъ и для всякаго нынёшняго нёмца, составляють предметь восторга. Поэтому, онъ ни мало не жалъеть о погибели той философіи, исторію которой написаль, нимало не зам'вчаеть, что умственная жизнь Германін ослаб'яла; ему кажется даже, что теперь д'яло идеть лучше прежняго. Такія мижнія, какъ и вся его книга, доказывають только, что намь уже нечему учиться у нъмцевъ, когда дъло идетъ о философіи и ея исторіи.

V

# ТРИ ПИСЬМА О СПИРИТИЗМЪ.

#### письмо первое.

## Идолы.

Интересъ спиритизма. — Равнодушіе. — Оживленіе пропов'єди. — Университеть, натуралисты, журналы. — Наука. — Лоторитеть ученых — Прогрессъ. — Эмпирилиг. — Свобода. — Позитивизмъ. — Эти знамена им'єть существенное значеніе для спиритизма.

Позвольте предложить вамъ на этотъ разъ небольшое разсуждение о спиритизм'в. Между предметами, не касающимися прямо "интереса минуты", по моему мнвнію это-одинь изь самыхь занимательныхь и важныхъ. Меня, признаюсь, глубоко удивляеть то равнодушіе къ вопросу о спиритизмъ, которое такъ часто встръчается. И върящіе, и отрицающіе, и совершенно незнающіе, что имъ думать и говорить, - всв относятся къ делу слишкомъ легко, не давая настоящей цины ни своей въръ, ни своему отриданію, или недоумънію. Какъ-то я вошелъ въ полутемную комнату и засталъ нъсколько человъкъ своихъ знакомыхъ вокругъ стола, терпъливо выжидающихъ спиритическихъ явленій. "И вамъ не стыдно!" воскликнуль я. - Неть, отвечали мев, столь уже начиналь двигаться. "И вамъ не страшно?" спросилъ я. - Нътъ, отвъчаютъ, чего же бояться? - "И вамъ не

скучно?" сказаль я наконець.—Нъть, говорять, это любопытно.

Таково вялое, легкое, спокойное отношеніе, которое установилось къ этимъ новъйшимъ чудесамъ и откровеніямъ. Конечно, въ этомъ равнодушіи таится нѣкоторое предчувствіе истины, слышится справедливый приговоръ всему дѣлу. Не стали-бы такъ играть этими явленіями, если-бы чувствовали, что въ нихъ дѣйствительно задѣваются существенныя основы нашей жизни. Люди вообще живутъ легкомысленно, безъ большихъ запросовъ и отчетовъ; но то легкомысліе, съ которымъ относятся къ спиритизму, выходитъ изъ ряда, превышаетъ обыкновенную мѣру, и потому его можно выводить изъ свойствъ самато спиритизма.

Отсюда объясняю я себ'в и то, почему такъ мало интересуются теоретическимъ разсмотръніемъ дъла; если дъло не имъетъ практической важности, если чувствуется, что оно въ сущности какой-то вздоръ, то всякія разсужденія кажутся обыкновенно лишними и скучными Недоумъніе, сомньніе, неясность сами по себъ переносятся легко, если съ ними не связано никакого существеннаго интереса. И тутъ я ръшительно расхожусь съ равнодушными и спокойными. Практически спиритизмъ дъло не важное-съ этимъ я согласенъ; но теоретически онъ имбеть величайшую занимательность. Когда вы не знаете, что думать и говорить, когда не умъете дать себъ никакого отчета въ томъ, что видите собственными глазами, когда всв ваши понятія спутаны и вы вполнъ сбиты съ толку, то конечно вы можете однакоже продолжать ваши дела, службу, удовольствія. Эти духи, какъ вы очень хорошо чувствуете, ничему этому не помѣшають. Но оставаться спокойными вы все-таки не

имъете права. Въ васъ должно быть, если не мученіе отъ неразгаданнаго вопроса, то хотя нъкоторое желаніе прояснить свои мысли, такъ или иначе согласить то, что вы видъли, съ вашими понятіями. Вотъ тотъ интересъ, который для меня главный въ этомъ дълъ и ради которато я пишу.

Съ чего же мы начнемъ? Вопросъ о спиритизмѣ, какъ вы согласитесь, вполнѣ подходитъ подъ то, что я только-что сказалъ; это вопросъ нерѣшенный, темный, трудный; въ немъ никто еще не добрался никакого толку, кромѣ развѣ правовѣрныхъ спиритовъ, которыхъ теоріи однако же не хочетъ признать ни одинъ изслѣдователь. Итакъ, для начала позвольте мнѣ взять дѣло нѣсколько со стороны, сдѣлать нѣсколько соображеній, повидимому побочныхъ, но, какъ я убѣжденъ и постараюсь убѣдить васъ, въ сущности прямо касающихся вопроса. Въ такомъ смутномъ дѣлѣ пріятно и полезно отыскать мѣсто, гдѣ почва не колеблется подъ ногами, гдѣ возможно разсуждать ясно и отчетливо и откуда можно спокойно разсматривать явленія.

Спиритизмъ у насъ давно извъстенъ. Двадцать лътъ тому назадъ я сиживалъ за столиками, шлянами и тому подобными предметами, и ожидалъ вращенія. Съ тъхъ поръ спиритизмъ сдълался обыкновеннымъ явленіемъ петербургской жизни, не возбуждая однако же общаго и серіознаго вниманія. Но въ прошломъ году (1875) проповъдь спиритизма вдругъ получила необыкновенную силу, вдругъ стала вопросомъ литературы, предметомъ общихъ и живыхъ толковъ. Вотъ фактъ, который заслуживаетъ по крайней мъръ столько же вниманія, какъ стукъ стола, происходящій отъ загадочной причины. Отчего произошла такая огромная перемъна въ судьбъ спиритизма? Судьба

каждаго явленія зависить въ изв'єстной м'єр'є оть его сущности, и потому мы можемъ найти зд'єсь какую-нибудь важную черту спиритизма.

Въ прошломъ году проповёдь спиритизма раздалась къ намъ изъ университета; это вопервыхъ. Во вторыхъ, проповёдь исходила отъ двухъ профессоровъ не заурядныхъ или плохихъ, а такихъ, которые имѣютъ извѣстность отличныхъ ученыхъ, не простыхъ преподавателей, а изследователей, двигателей науки. Въ третьихъ, оба профессора, проповедующе спиритизмъ, — натуралисты, то есть принадлежатъ къ разряду ученыхъ, имѣющихъ наибольшій авторитеть, какъ во всей просвещенной Европе, такъ и у насъ.

Воть та сила, которая пришла на помощь спиритизму н вдругъ вызвала его изъ тей полутьмы, въ которой онъ прозябаль (въ Россін по крайней м'врв). Эта сила им'веть для меня совершенно опредёленный характеръ, который потомъ я успено можетъ быть уяснить и вамъ. Для меня очень характерны и всё другія обстоятельства этой исторіи, наприм'връ то, что спиритизмъ явился именно въ петербургскомъ, а не въ другомъ университетъ, что онъ встрътилъ въ самомъ же университеть оппозицію, что подобную же оппозицію онъ встрітиль и въ петербургской печати, что два профессора вследствіе этого не могли даже найти для своихъ статей мъста въ петербургскихъ изданіяхъ, что эти статьи пріютила московская печать, имфющая однако на спиритизмъ совершенно другіе взгляды, чёмъ у авторовъ статей,-и такъ далъе. Друзья и единомышленники раздълились, люди враждебные по принципамъ сошлись-вотъ одно изъ чудесъ, которое призвелъ спиритизмъ, и на которое кажется мало обратили вниманія.

Но подойдемъ ближе, и мы увидимъ еще болъе характеристическія черты. Защитники спиритизма въ своихъ статьяхъ постарались какъ можно яснъе указать знамена, подъ которыми они идутъ, принципы, на которые они опираются. Сила и законность ихъ проповъди зависитъ отъ твердости этихъ опоръ. Постараемся, указать на главнъйшія изъ этихъ началъ, руководящихъ нашими авторами\*).

- 1) Наука. За наукою признается верховный и всеобщій авторитеть, то есть не только всякое рішеніе науки есть высшее, на которое не можеть быть аппелляціи, но и ніть такого вопроса, который не подлежаль бы суду науки.
- 2) Авторитеть ученых. Особенный высь, особенная сила принадлежить сужденіямь людей, дыйствительно посвященныхь вы науку, ея истинныхь жрецовь, истинныхь служителей. Поэтому профессорь Вагнерь ссылается на то, что онь не просто только знакомь съ наукой, но сдылаль вы ней открытіе, именно педогенезись; профессорь Бутлеровь, хотя могы бы сослаться на несравненно большія заслуги, по скромности не говорить о себы, но за то приводить цылый рядь авторитетовь, подобно ему, признающихь спиритизмь, семнадцать имень, за которыя говорить ихь извыстность вы наукы и самое ихь званіе профессоровь, академиковь и членовь ученыхь обществь (стр. 323).
- 3) Прогрессъ человниескаго знанія. Науки д'ялають непрерывные усп'яхи, открывая новыя явленія, новые

міры предметовъ и свойствъ. Области темныя и загадочныя, вопросы, не поддававшіеся не только разрѣшенію, а даже ясной постановкѣ, понемногу завоевываются наукою, проливающею на нихъ свой свѣтъ. Къ числу такихъ повыхъ областей и будущихъ завоеваній науки принадлежитъ и спиритизмъ.

4) Эмпирическій методъ, изученіе фактовъ, какъ единый правильный пріемъ изслѣдованія. Фактъ есть единственно вѣрная точка опоры и стоитъ выше всякихъ разсужденій. Мы имѣемъ право говорить только о томъ, что дано намъ фактами, и должны признавать всякій фактъ, какъ бы онъ ни противорѣчилъ нашимъ понятіямъ и разсужденіямъ.

5) Свобода изслидованія. Приведу прямо воодушевленыя слова профессора Вагнера:

"Свобода изслъдованія, свобода мысли—воть желанный "лозунгь, который съ такимъ усердіемъ, съ такою любовью "вырабатывали послъдніе въка! Неужели же этоть лозунгь "—пустой звукъ, и мы снова подчинены тъмъ же дог-"матическимъ запрещеніямъ, которыя такъ упорно тяго-"тъли надъ невъжественнымъ человъчествомъ въ средніе "въка!

"Позволю себ'в еще разъ указать на т'в слова, которыя "я избралъ эпиграфомъ къ моей стать'в и которыя прошли "незам'вченными моими критиками:

"« Единственная надежда на улучшеніе міра лежить "« свободной мысли и вт безграничном г изсладованіи, " и все, что м'вшаеть или противод'вйствуеть этому вели-"кому возвышенному припципу—несправедливо! " \*).

<sup>\*)</sup> Русскій Впстинь, 1875, № 10, статья Н. Вагнера: "Медіумпзич"; тамь жс, № 11, статья А. Бутверова: "Медіумическія явленія".

<sup>\*)</sup> Davis. "Der Zauberstab", 1867. S. ?60. Такъ подписанъ эпиграфъ въ "Русскомъ Вветникъ".

("Моск. Въд." 1875, № 322, перепечатано изъ "Голоса").

"б) Позитивизмъ. "Для насъ уже кончились", восклицаеть тоть же профессоръ, "времена апріористическихъ "убъжденій; метафизика сивла свою лебединую ивсню, и "принципы Бакона Верудамскаго возродились въ позитивизмъ, который стоить непоколебимо на почвѣ опытиныхъ фактическихъ доказательствъ. Въ настоящее время толковать о религіозномъ изветветь значить толиковать о чисто субъективной потребности, которая не "имѣетъ ничего общаго съ позитивизмомъ, тогда какъ "сила медіумизма заключается именно въ томъ, что онъ "стоить на почвъ положительнаю значія, что къ из"слъдованію его явленій могуть и должны быть приложе"ны научные методы" ("Спб. Вѣдомости, 1875, № 303).

Воть тв лозунги, тв громкіе принципы, тв блестящія знамена, подъ которыми выступаетъ передъ нами спиритизмъ. Если я и пропустилъ какой-нибудь изъ менъе значительныхъ лозунговъ, то я смёло увёряю, что выше тёхъ, которые я перечислиль, нётъ у нашихъ ученыхъ, что у пихъ певозможно найти другихъ руководящихъ началъ. Что же касается до указанныхъ началъ, то опи попались въ ръчь не случайно, а были выставлены нашими учеными по существенной необходимости; вопервыхъ, для того, чтобы дать своей проповъди возможно большую прочность и убъдительность; во вторыхъ, чтобы положить ясную и ръзкую границу между собою и разными другими мыслителями и проповёдниками; въ третьихъ, чтобы оправдать свою пропов'єдь, показать ея совершенную невинность и законность. Наши ученые какъбудто чувствують, что что-то неладно, что они можеть быть и не совсъмъ не виноваты; и вотъ они твердять: "мы эмпирики, мы позитивисты, мы работаемъ во имя науки, ради ея прогресса; за насъ авторитетъ европейскихъ ученыхъ и право на свободное изслъдованіе; возможно ли винить насъ?" Но это чувство нъкоторой робости у нашихъ ученыхъ часто смъняется, какъ и естественно, противоположнымъ чувствомъ отваги, ученой смълости. По временамъ кажется, какъ будто они, поднявши всъ свои знамена, идутъ на своихъ читателей и говорятъ: "Кто противъ насъ? Вы видите эти знамена? Вы ихъ знаете, вы всегда преклонялись передъ ними; такъ преклонитесь же и передъ тъмъ, что мы теперь несемъ вамъ!"

Въ такомъ видѣ иногда представляется мнѣ эта картина, и наводить на меня немалое смущеніе. Идутъ на меня знакомые призраки, которыхъ ничтожество я давно уразумѣлъ и которыхъ обманъ давно считаю великимъ зломъ. Но они укрѣпились въ глазахъ публики, разрослися, и вижу я, какъ, собравнись всею толною, они создали еще новый призракъ, чудовищный, нелѣпый,—какъ они выводятъ своего новаго товарища передъ своими поклонниками и говорятъ имъ: "вы поклоняетесь намъ,—поклонитесь и ему!"

Простите, что я впадаю въ шутку; нато въдь это и письмо, а не диссертація. Возвращаюсь однако же къ серіозному тону.

Знамена или лозунги, выставленные нашими натуралистами, я считаю фантастическими понятіями, не соотвътствующими тъмъ предметамъ, которыхъ имена они носятъ, или даже вовсе ничему не соотвътствующими. Для обозначенія ихъ я принимаю терминологію Бакона Веруламскаго и называю ихъ идолами, то есть ложными образами, кумирами боговъ, не существующихъ въ дъйствительности. Это — предразсудки новаго времени, это — мионческія созданія пашего в'єка, въ которыя онъ в'єрить часто такъ же слівно, какъ візрили другіе візка въ свои мион и свои предразсудки.

Чтобы объяснить, въ какомъ смыслѣ я отрицаю силу и существенность этихъ понятій, я скажу о каждомъ изъ нихъ хоть нѣсколько словъ. О каждомъ такомъ по- нятіи можно бы, и даже нужно бы, написать цѣлую книгу; но можетъ быть и немногими словами мнѣ удастся предотвратить хоти нѣкоторыя возможныя здѣсь недоразумѣнія.

- 1) Наука есть діло великое, хотя и не наилучшее и не наивысшее изъ человіческихъ діль. Но та паука вообще, на которую такъ любять ссылаться, есть истинный идоль, фантастическое понятіе ученыхъ. Каждый спеціалисть, математикъ, физикъ, физіологъ, думаетъ, что имбетъ право говорить во имя науки, тогда какъ наукою вообще могла и можетъ быть, стремилась и стремится стать только философія, о которой такіе спеціалисты обыкновенно и слышать не хотятъ. Философія різнаетъ вопросы о границахъ и свойствахъ познанія, она старается указать точную міру его авторитета, тогда какъ спеціалисть, покланяющійся своему кумиру, обыкновенно приписываетъ ему безпредільное могущество.
- 2) Ученые, такъ называемые жрецы науки, не имъютъ права на какой-нибудь особенный, высокій авторитетъ. Наука не есть еще мудрость, и вообще говоря, ученые нисколько не мудръе, чъмъ остальные смертные. Они суть такіе же люди, какъ и всѣ мы; они точно также подвержены слабостямъ, ошибкамъ, заблужденіямъ и предразсудкамъ. Конечно, занятія науками способствуютъ облагороженію характера и изощренію ума: но съ другой стороны, при этихъ занятіяхъ, какъ при всякой трудной и выходящей изъ ряду дъятельности, люди часто стано-

вятся въ фальшивое положеніе. Притязанія ученыхъ обыкновенно выше ихъ силъ, а предразсудки тѣмъ упорнѣе, чѣмъ выше притязанія. Каждая спеціальность ограничиваетъ кругозоръ человѣка и внушаетъ ему особыя предубѣжденія, такъ что едва ли не легче представить себѣ простаго человѣка безъ предразсудковъ, чѣмъ ученаго.

- 3) Прогрессь есть одинь изъ самыхъ обманчивыхъ и опасныхъ идоловъ. Фантастическое понятіе о прогрессь ведеть къ тому, что люди перестаютъ признавать постоянство и неизмънность чего бы то ни было, и думаютъ, что все можно передълать и усовершить. Безпрестанно являются новаторы, которые пытаются радикально измънить самую природу тъхъ или другихъ вещей; такъ и спириты уже предлагаютъ намъ отказаться отъ нашей физики и механики, и скоро дъло кажется дойдетъ до отрицанія логики и до реформы таблицы умноженія.
- 4) Эмпириямъ—великій и сліной идоль. Намь пропов'ядують силу голыхь фактовь, какь будто голые факты
  возможны. Всякій факть зависить оть нікоторой причины и им'єть нікоторыя посл'ядствія; воть онь уже и
  не голый, уже такь или иначе находится въ связи съ
  другими фактами. Впрочемь, знаете ли вы и знають ли
  наши натуралисты, что посл'ядовательные эмпирики утверждають, что возможны факты безъ всякой причины? Возьмите русскій переводь логики Милля, томь 2-й, и прочитайте тамь страницу 105 и 106. Если же такь, если
  возможны факты безъ причины, то спранивается, почему же гг. Вагнерь и Бутлеровь приходять въ такое
  недоум'єніе оть фактовь спиритизма? Если они посл'єдовательные эмпирики, то не согласятся ли они на
  такое р'єшеніе: это—факты безъ причины?

- 5) Свобода мысли, свобода изслыдованія. Свобода слово неопредёленное, которое само по себё ничего не значить. Всегда нужно спросить: какой вы свободы ищете? то есть: отъ какого стёсненія желаете избавиться? Нашимъ натурилистамъ, повидимому, ничто не препятствуеть ни въ ихъ изысканіяхъ, ни въ выраженіи мыслей. Почему же они такъ громко требують свободы? Если ихъ стёсняють не люди, а какіе-нибудь принципы, если, напримёръ, имъ мёшаеть логика, или математика, или здравый смысль, то ихъ взыванія къ идолу свободы—напрасныя мольбы.
- 6) Позитивизма есть идоль довольно мудреный. Имя его большею частью призывается всуе, безъ яснаго понятія объ истинныхъ его свойствахъ. Ему приписываютъ величайшую силу противъ метафизики, и за эту-то силу, главнымъ образомъ, ему поклоняются. Въ самомъ дѣлѣ, позитивизмъ заключаетъ въ себѣ ту интересную мысль, что науки (то, что у французовъ называется les sciences) не даютъ метафизическаго познанія; мысль эта содержитъ много правды и во всякомъ случаѣ достойна вниманія; но изъ нея еще не слѣдуетъ, что невозможны метафизика, логика, психологія, какъ это заключаетъ позитивизмъ, заключаетъ потому, что отрицаетъ все, кромѣ наукъ въ тѣсномъ смыслѣ (sciences).

Итакъ, по моему мнѣнію, ни одно изъ знаменъ, подъ которыми выводится спиритизмъ, не способно защитить его, не можеть служить за него ручательствомъ. Пусть спиритизмъ будеть что вамъ угодно, пусть онъ есть откровеніе высочайшихъ истинъ и спасеніе рода человѣческаго, но онъ явился къ намъ подъ покровомъ самыхъ характеристическихъ предразсудковъ нашего времени. Это не даромъ, это имѣетъ свои причины. Натуралисты,—

эти пророки нашего времени, стали пророками спиритизма. Это очень важно. Та способы разсужденія, та пріемы мысли, тв руководящіе принципы, которые употребляются защитниками спиритизма, не представляютъ ни одной черты правильнаго метода, а состоять сплошь только изъ заблужденій, свойственныхъ ученымъ натуралистамъ, и именно современнымъ. Это поразительно. Мало того: чтобы спасти спиритизмъ, натуралисты принуждены доводить эти свои заблужденія до посл'ёдней ихъ крайности и изо всей силы держаться за эту крайность. Они хотять опытомъ узнать то, чего опыть дать не можеть; хотять метафизику сділать позитивною; обіщають намь науку, не подчиненную никакому методу, никакимъ законамъ, и прогрессъ, не имфющій ни пути, ни предъловъ. Это, конечно, чудеса, большія чудеса, но скоръе всего-это ошибки, слъдовательно очень простыя, хоть и печальныя явленія!

## письмо второе.

## За непосвященныхъ.

Фанатизмъ нашей литературы.—Предъубъжденія.—В тра на слово.— Требованія отъ пепосвященныхъ.—Чистый эмпиризмъ.—Везвыходное положеніе.—Дилемма.—Все возможно.—Спекулятивная область.

Что наша литература есть литература фанатическая въ этомъ нътъ никакого сомнънія. Разсужденія, правильное развитіе мыслей, логическіе последовательные споры у насъ не существують, почти невозможны по натуръ нашихъ пишущихъ и по натурѣ нашей публики. У насъ возможно и имъють ходь, почти исключительно, только всякія віры и ненависти, всякія идолопоклонства и затаптыванія въ грязь, всякіе свисты и боготворенія. Вашъ покорный слуга тёмъ больше иметъ право это говорить, что самъ принадлежить къчислу затоптанныхъвъгрязь. Вы, пожалуй, не предполагали, что дёло дошло до подобной крайности, и что я нахожусь въ такомъ ужасномъ положеніи; но фактъ уже заявленъ тіми, кого можно считать въ такихъ делахъ вполне сведущими. Въ "Биржевыхъ Въдомостяхъ" 1874 года, отъ 27 ноября, г. Михайловскій, на половину съ торжествомъ, на половину съ сожалвніемъ, говорить: "мы втоптали въ грязь г. Страхова, человъка..." и пр. Пожалуста, не подумайте, что я принимаю все происшествіе въ шутку; старанія этихъ мы не всегда оставались безуспъшными...

Но простите, что я заговориль о себѣ; мнѣ хотѣлось только сказать, что фанатизмъ нашей печати мнѣ очень хорошо знакомъ, и прибавить, что онъ мнѣ и понятенъ; по крайней мѣрѣ я, кажется, всегда зналъ, почему именно и чѣмъ я раздражаю публику; даже при совершенной недобросовѣстности нападокъ, я все-таки видѣлъ, въ чемъ дѣло; меня часто бранили и надо мной глумились не по разногласію мнѣній, а только потому, что съ такими людьми, какъ я, разсуждать было некогда, что нужно было поскорѣе дплать прогрессь, и, слѣдовательно, не давать никому останавливать вниманіе на подобныхъ мнѣ людяхъ и вещахъ. Я хорошо понималъ и эту тонкую политику.

Пропов'вдникамъ спиритизма въ настоящую минуту приходится тоже испытывать фанатизмъ нашей литературной полемики; но странно, что они, кажется, вовсе не понимають своего положенія. Они оба жалуются на непочтительность обращенія, на "комки грязи", полетівшіе въ нихъ со всёхъ сторонъ. Такая жалоба, пожалуй, еще извинительна; она только доказываеть, что наши профессора -- люди непривычные къ литературъ. Но затъмъ они какъ-будто не могутъ, или не хотятъ догадаться, чёмъ же возбуждается этотъ фанатизмъ, въ чемъ существенный смыслъ встръченной ими ярости. Они часто говорять о предубъжденіяхъ, о закоренълыхъ предразсудкахъ, но не удостоиваютъ, а можетъ быть и не ум'єють формулировать эти предразсудки. Между тімь, для людей ученыхъ, для проповъдниковъ новыхъ истинъ, казалось бы, дёло важное и настоятельное—анализировать со всею ясностію уб'єжденія, противуд'єйствующія ихъ пропов'йди. Разложите, опровергните эти уб'йжденія — и мы тотчась примемъ вашъ спиритизмъ. Но наши ученые не д'влають для этого ни единаго шага; они только и твердять: "это факты, факты; какъ же можно не в'врить фактамъ?"

. Пріемъ очень характерный. В'бдь чего они добиваются? Того, чтобы имъ повърили на слово. Вотъ почему они увъряють, что они и ихъ единомышленники люди честные, что они находятся въ здравомъ умѣ и въ полной намяти; вотъ отчего они ссыдаются на профессоровъ, академиковъ, членовъ перламента, судей и т. д., какъ на людей, которые не станутъ мошенничать и не могли бы занимать своихъ мъстъ, если бы были поврежденные. Едва-едва проскальзываеть кое-где замечаніе, что такойто, будучи физикомъ или химикомъ, конечно "умъетъ наблюдать" (хотя, правду сказать, наблюдательность ученыхъ пользуется дурною славою). Словомъ, всё люди но отношению къ спиритизму раздъляются на два разряда, —на посвященныхъ, которые на опытъ убълились въ существововании спиритическихъ явлений, и на непосвященныхъ, которые не имъли этого счастія. Непосвященные, по мивнію защитниковъ спиритизма, должны: 1) върить честному слову, или присягъ посвященныхъ. 2) сами делать опыты, или искать медіумовъ, и такимъ образомъ стараться перейти въ разрядъ посвященныхъ, и 3) до тъхъ поръ не разсуждать и не раздумывать,такъ какъ всякія разсужденія непосвященныхъ будто-бы основаны на однихъ предубъжденіяхъ и искажають діло. или даже доводять до ужасной вещи-до невърія въ факты.

Вотъ паучная постановка вопроса, по истинъ еще небывалая и неслыханная; вотъ эмпириямъ въ его чистъйшемъ видъ. И легко убъдиться, что въ такомъ видъ
эмпириямъ необходимъ для защитниковъ спиритияма.

Въ самомъ дълъ, если бы мы были чистыми эмпириками, еслибы для насъ всъ вопросы, изучене всъхъ явленій—имъли именно такую постановку, какую дали теперь наши ученые спиритизму,—то только тогда спиритизмъ удивлялъ бы насъ столь же мало, какъ и другія явленія, или на обороть—всъ явленія были бы для насъ столько же удивительными какъ спиритизмъ.

Но увы! удастся ли нашимъ ученымъ обратить насъ силошь въ чистыхъ эмпириковъ, и такимъ образомъ уравнять въ нашихъ глазахъ спиритизмъ со всеми другими предметами? Я сильно боюсь, что родъ человъческій пикогда не достигнетъ такого просвъщенія. Природа человъческая такъ груба и упорна, что, сколько ни будь на землъ университетовъ и академій, -- непосвященные никогда не будутъ върить просто на честное слово и никогда не бросять дурной привычки разсуждать о томъ, что имъ разсказываютъ. Вотъ почему Гегель говаривалъ, что чистыми эмпириками могуть быть только животныя, а не люди. Но я полагаю, что великій философъ ошибся: и животныя не могуть вполн'в достигнуть чистаго эмпиризма; эта противуестественная точка эрвнія могла быть придумана только людьми, только учеными, вообразившими, что могутъ передълать умъ человъческій, и усиливающимися удержаться въ положеніи, невозможномъ для равновъсія.

Вы видите, я становлюсь на сторону непосвященныхъ; мнѣ странно, что къ ихъ правамъ и мнѣніямъ наши послѣдователи спиритизма отнеслись съ такимъ презрѣніемъ и невниманіемъ. Намъ говорятъ, чтобы мы не видавши судить не смѣли. Но помилуйте, что же будетъ тогда съ нами? Теперь, пока мы еще не чистые эмпирики, мы вѣдь разсуждаемъ съ утра до вечера. Когда я читаю газету

или книгу, когда разговариваю съ учеными и неучеными людьми, я безпрестанно работаю умомъ; я ничему не върю просто на слово, я объ каждомъ свъдъніи стараюсь самъ разсудить, насколько оно въроятно или невъроятно. Я справляюсь со своею памятью, соображаюсь съ тъми понятіями о людяхъ и вещахъ, которыя нажилъ въ теченіи моей жизни, и ръшаю дъло по крайнему моему разумънію. Что же бы со мною было, еслибы каждую минуту ко мнъ могъ явиться духъ чистый эмпирикъ, въродъ Сократовскаго демона, и вдругъ сказать мнъ: "ты не видълъ, такъ и не суди!" Тогда въдъ просто не было бы житья на свътъ!

Представьте въ самомъ дёлё историка или географа. Онъ сидитъ надъ книгами, соображаетъ всякія извёстія, ръшаетъ, что и какъ должно было быть по законамъ человъческой природы, стремиться подняться до самаго высокаго и правильнаго пониманія событій, которыя грубо, фальшиво, безтолково передаются очевидцами и памятниками, и вдругъ ему говорятъ: "они видъли, а ты не видёлъ; какую же силу могутъ им'еть все твои разсужденія?" Такимъ образомъ пришлось бы молчать, читая самые нев'вроятные разсказы, и невозможно было бы отвергнуть ни одной басни; мало того, въ разсказахъ противоръчащихъ и спутанныхъ нельзя было бы дълать выбора и устранять противорвчия и нелъпости. Ибо вообще мы лишились бы всякаго права отрицать; чистые эмпирики сейчась сказали бы: "можеть быть это и ложь, но можеть быть и факть; тогда передъ фактомъ нечего разсуждать! "

Такого, по истинъ безвыходнаго, положенія признать нельзя. Если каждое движеніе моей мысли будеть остановлено вопросомъ: "а можеть быть это факть? безсмыс-

ленный, нельный, но факть?" — то все вокругь меня прійдеть въ хаось, и я уже не могу ровно ничему повірить и ровно ничего понять.

Нътъ, давайте лучше разсуждать. Прежде чъмъ повърить тому, что намъ разсказывають, и прежде чъмъ приняться за спиритическіе опыты, давайте немножко подумаемъ. По обыкновенному человъческому разуму, не хорошо, когда человъкъ берется за дъло, не разсмотръвши, что это такое, и не разсудивши, нужно ли за него браться и къ чему оно можетъ привести. Такъ и тутъ, если мы не хотимъ только шутить и забавляться, мы должны подумать.

Опытовъ, по моему, сдѣлано достаточно, а книгъ написано, какъ и всегда, больше, чѣмъ нужно. Да и посмотрите, кто опыты дѣлалъ? — Люди ученые, извѣстные; дѣлалъ даже такой геніальный человѣкъ, какъ Фарадей. Почему же я стану предполагать, что увижу лучше и больше, чѣмъ они? Со мною должна повториться одна изъ тѣхъ исторій, которыя случились съ ними; или опыты будутъ неудачны, какъ у Фарадея, Тиндаля, Менделѣева, или я увижу то, что видѣли Уоллесъ, Бутлеровъ, Вагнеръ. Съ какой стати я воображу, что именно мнѣ прійдется все разрѣшить и открыть сущность дѣла?

Итакъ, я не нахожу ни нужды, ни пользы выходить изъ толны непосвященныхъ; я присоединяюсь къ этимъ десяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, которые узнаютъ о спиритизмъ только изъ петербургскихъ и московскихъ журналовъ, и, по праву и закону человъческой природы, принимаются размышлять о немъ. Я всею душою вхожу въ ихъ положеніе и предлагаю имъ: давайте думать вмъстъ.

Прежде всего обратимся къ себъ, а пожалуй и къ нашимъ проповъдникамъ, съ такими вопросами:

Что такое спиритическія явленія? Мы не спрашиваемъ объ нхъ сущности, а только о томъ разрядѣ, куда ихъ слѣдуетъ отнести. Намъ представляется слѣдующая дилемма:

- 1) Или это—естественныя явленія, образующія только новую область, подобно тому, какъ нікогда новою областью были явленія магнетическія, электрическія, волосность, эндосмосъ и т. д.
- 2) Или это явленія сверхъестественныя, чудеса, то есть дъйствія міра сверхчувственнаго, который стоить выше природы и имъетъ силу измънять ея законы.

Воть два разряда, изъ которыхъ одинъ составляетъ отрицаніе другаго, такъ что третьяго разряда и вообразить невозможно. Если мы имѣемъ какія-нибудь понятія о законахъ природы, о свойствахъ и порядкахъ ея явленій, то мы сейчасъ рѣшимъ, принадлежитъ ли данное явленіе (дѣйствительное или воображаемое—все равно),—къ естественнымъ, или нѣтъ. Если въ спиритическихъ явленіяхъ оба разряда явленій смѣшаны, то натуралисты, повидимому, должны бы умѣть отдѣлить естественныя отъ неестественныхъ, и сказать намъ, которыя припадлежатъ къ одному и которыя къ другому разряду.

Но что же оказывается? Натуралисты ведуть себя въ настоящемъ случав чрезвычайно лукаво; они всячески уклоняются, не только отъ решенія, но и отъ постановки вопроса; они усиленно укрываются за чистый эмпиризмъ и твердять: "это факты, новые факты; ихъ нужно изследовать, ничего не предрешая". Они даже прикидываются, что не понимають, чего мы хотимъ, и принимаются жаловаться на наши предразсудки, на наше упорство противъ науки, на деспотизмъ нашихъ мивній.

Между тъмъ, казалось бы легко понять, что дъло

идеть о предметь, имыющемь для нась величайщую важность, и потому хоть немножко потрудиться вникнуть въ наши мысли.

Въ самомъ дѣлѣ, если спиритизмъ состоитъ изъ явленій естественныхъ, но только новыхъ, то намъ странно, изъ-за чего натуралисты такъ волнуются. Мы не имѣемъ причины волноваться. Мало ли новыхъ фактовъ? Пусть натуралисты ихъ изслѣдуютъ съ свойственнымъ имъ мастерствомъ; мы спокойно подождемъ результатовъ.

Но, если спиритизмъ есть чудо, обнаруженіе сверхъестественныхъ явленій,— то діло другое. Мы всі воспитаны въ той мысли, что есть міръ, стоящій выше природы. Мы съ дітства не вірили, и большею частію не
віримъ до сихъ поръ, чтобы земная жизнь содержала
весь смыслъ нашего существованія, и чтобы все бытіе
было такъ скудно и глухо, какъ то, что называется вещественною природою. Итакъ, если спириты могутъ приподнять намъ завісу, закрывающую этотъ высшій міръ,
то они укріпять ті вірованія и подтвердять ті надежды, на которыхъ до сихъ поръ держится жизнь главной
массы человічества. Вотъ та могущественная струна,
которую затрогивають разсказы о спиритическихъ явленіяхъ.

Не странно ли послѣ этого, что натуралисты считаютъ возможнымъ обойти вопросъ такой безмѣрной важности? Они, какъ я сказалъ, не хотятъ даже поставить этого вопроса,—и для этого стараются доказать, будто бы самая наша дилемма неправильна. "Мы, говорятъ они, вовсе не имѣемъ такихъ понятій о законахъ природы, о свойствахъ и порядкахъ ея явленій, чтобы могли рѣшить, принадлежитъ ли данное явленіе

(дъйствительное, или воображаемое) къ естественнымъ, или къ сверхъестественнымъ. Мы не знаемъ, утверждаютъ они, что возможно и что— невозможно, и считаемъ притязаніе на такое знаніе—нельпымъ". Вотъ та величайшая крайность, до которой дошли наши изсльдователи спиритизма, и вы видите, что дойти до нея они были необходимо вынуждены; вотъ геркулесовы столбы эмпиризма. Ибо, если мы не въ состояніи различить, что вещественное и что духовное, что естественно и что чудо, что возможно и что невозможно,—то тогда нечего разсуждать, нечего удивляться, нечего думать о наукъ, а остается только завести тетрадку съ надписью: осе возможно, и записывать въ нее фактъ за фактомъ.

Удивительно приэтомъ однако же то, что для нашихъ ученыхъ какъ-будто неизвъстно и непонятно существование совершенно иного учения о человъческомъ познании, учения очень распространеннаго, имъющаго большую силу и составляющаго неодолимое препятствие къ признанию спиритизма. Удивительно то, что они до того закоснъли въ чистомъ эмпиризмъ, что ничего другаго и не видятъ, не хотятъ и говорить объ иномъ учении, и вмъсто того, чтобы объяснить намъ, непосвященнымъ, его несостоятельность, только бранятъ насъ за упорство. Въ одномъ лишь мъстъ профессоръ Бутлеровъ коснулся этого вопроса, но не сталъ распространяться.

"Я желаль бы только", пишеть онь, "не встрътить пред-"взятыхъ мнѣній и доводовъ въ родѣ того, который гла-"сить, что этого не могго быть, потому что это невоз-"можно, между тѣть какъ, при сколько нибудь серіоз-"ноть мышленіи, ясно, что, внѣ области чисто спекуля-"тивной, вопросъ о невозможности какого-либо явленія "природы—не рѣшается окончательно апріорнымъ пу"темъ" (стр. 308). Это значить, что если только мы не зайдемъ въ область спекуляцій, мы не имѣемъ средствъ рѣшить,—возможно, или невозможно какое-нибудь явленіе.

Но отчего же намъ не зайти къ спекулятивную область? Отчего нашъ ученый думаеть, что стоитъ только назвать эту область, чтобы всё отъ нея отвернулись и побъжали? Отчего онъ не видить, что въ эту область заходять всё, даже самые простые люди, незнающіе даже и слова спекуляція? Отчего онъ не предполагаеть, что именно въ этомъ заключается величайшее препятствіе для въры въ факты, подобные спиритическимъ? И слъдовательно, почему онъ не удостоитъ разоблачить передь нами эту, по его мнёнію, столь вредную доктрину?

Человіческая мысль подвергается въ наши дни великому презрівнію. Съ нею не хотять считаться, объ ней и говорить не хотять. Ее считають предразсудкомъ и видять въ ней поміху, которую надівются побідить фактами.

Однако посмотримъ. Въ слъдующемъ письмъ я прямоприступлю къ дълу.

#### . ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

#### Границы возможнаго.

Чистал математика.—Ивленія не подходящія подъ математику п явленія противорѣчащія математикъ.—Воображаемые опыты.—Причины.—Ваконы.—Переходъ отъ математики къ физикъ.—Платоновская теорія воспоминанія.—Кошка събдающая мышь.—Заключеніе.

Върите ли вы въ непреложность чистой математики? Убъждены ли вы томъ, что дважды два четыре, что эти и подобныя истины справедливы всегда и вездъ, и что самъ Богъ, какъ говорили въ старыя времена, не могъ бы сделать дважды два пять, не могь бы измёнить ни одной изъ такихъ истинъ? Я убъжденъ въ этомъ, и полагаю, что и вы убъждены, такъ что, какъ ни любопытно и важно разъяснение того, на чемъ основано это убъжденіе, можно покам'єсть отложить это разъясненіе. Что касается до нашихъ натуралистовъ, то и они, повидимому, признають непреложность математическихъ истинъ; говорю повидимому, потому что они не сочли за нужное точно сказать, признають ли они что-нибудь, кром'в своихъ любимыхъ фактовъ. По некоторымъ выраженіямъ, можно подумать даже, что они сомніваются въ математикъ, но я предполагаю, что это лишь обмолвки, вырвавшіяся у нихъ по неосмотрительности, и не подлежащія строгому разбору.

Такъ, напримъръ, профессоръ Вагнеръ, который вообще во сто разъ менъе точенъ и остороженъ, чъмъ профес-

соръ Бутлеровъ, въ одномъ мѣстѣ слѣдующимъ образомъ подсмѣивается надъ увѣренностію ученыхъ въ твердости нынѣшнихъ наукъ:

"... вдругъ теперь открывается новый міръ со своими "законами, со своими силами, которыя сильнѣе нашихъ "земныхъ (?) силъ. Какъ же не встрѣтить скептицизмомъ "и глумленіемъ эту новую область намъ, которыхъ глу-"бокая ученость измѣрила глубину небесныхъ океановъ "и свѣсила далекіе міры (и?) солнца? Неужели же наши "вѣсы и математическіе законы ничтожны передъ ка-"кими-то невѣдомыми законами, которые неизвыстно еще, "подчиняться ли непогрышимой математикъ или ньтъ? "Да, это крайне обидно для нашего гордаго, ученаго "ума" ("Русск. Вѣстн." 1875 г. № 10 стр. 948).

Здёсь очевидная насмёшка надъ математическими законами и непогръщимостію математики. Но въ какомъ смысль следуеть понять эту насменику? Въ томъ ли, что есть явленія, которыя противортнать математикі, ниспровергають ен законы, - или только въ томъ, что есть явленія, которыя паходятся вить области математики? Можно принять, что авторъ имблъ въ виду этотъ посявдній смысль, и что онъ въ непреложности математики не сомнъвается; онъ какъ бы хотълъ возразить противъ тъхъ, которые думають, что всъ предметы знанія должны и могуть быть разсматриваемы математически, и потому указываетъ на спиритическія явленія, о которыхъ этого сказать нельзя. Таковъ самый лучній смыслъ его словъ. Но въ дъйствительности они имъютъ другое направленіе; если вспомнить разсказы о спиритическихъ явленіяхъ, то мы увидимъ, что профессору Вагнеру хотълосы двиразить другое; онъ, очевидно, хотыль сказать: "есть вещиресть явленія, которыя должны бы подлежать нашимъ въсамъ и математическимъ законамъ, но на самомъ дълъ не подлежатъ; есть вещи и явленія, которыя должны бы подчиняться непогръшимой математикъ, но не подчиняются; отдаленнъйшія звъзды и всъ небесные океаны подчиняются, а эти вновь открытыя явленія—нътъ; вотъ въ чемъ великая новость".

Если такъ, то позволю себѣ заявить, что я не только признаю непогрѣшимость математики, но и убѣжденъ непоколебимо, что такихъ вещей и явленій, о которыхъ говорить, или хотѣлъ говорить, профессоръ Вагнеръ, нѣтъ, что они—*певозможны*.

Всѣ предметы, о которыхъ говоритъ математика, подчинены ей безусловно, а о предметахъ, которые ей не подчинены, она и не говоритъ, и говоритъ не можетъ.

Въ математикъ, напримъръ, существуютъ положенія: "двъ величини равныя порознь третьей равны между собою"; "двъ стороны треугольника вмъстъ взятыя больше третьей". Если предметы, о которыхъ мы разсуждаемъ или которые разсматриваемъ, не суть величины, не суть треугольники, то указанныя математическія положенія къ нимъ вовсе не относятся; если же дъло идетъ о величинахъ и треугольникахъ, то эти положенія будутъ безусловно върны, и не только спириты, но самъ Богъ не могъ бы создать такихъ величинъ и такихъ треугольниковъ, для которыхъ эти положенія оказались бы ложными.

Итакъ, согласимся признавать математическія истины непреложными, условимся считать ихъ внѣ сомнѣнія, и пойдемъ далѣе. Если намъ удастся сдѣлать отсюда хотя одинъ небольшой шагъ въ область непреложнаго и почувствовать, что у насъ твердая почва подъгногами, то, полагаю, сущность вопроса уже очень выяснится передъ нами.

Для этого я хотъть бы сдълать съ вами опыть, такой простой и ясный опыть, что его можно даже и не дълать, а только вообразить, только предположить. Положимь, что вы кромъ математики ничего непреложнаго не признаете, что за этимъ исключеніемъ вы чистый эмпирикъ и върите только фактамъ. Я приглашаю васъ съ свой кабинетъ и показываю вамъ двъ палочки изъ сургуча, изъ дерева, или, пожалуй, изъ какого-нибудь вамъ неизвъстнаго матеріала. Я объявляю вамъ, что хочу переломить ихъ пополамъ, и спрашиваю васъ, сколько у меня выйдетъ половинокъ? Вы говорите: четыре. Я переламываю передъ вашими глазами свои палочки, раскрываю ладони—оказывается пять!

Что вы скажете на это? Повърите ли собственнымъ глазамъ? Я увъренъ, что нътъ; вы, конечно, подумаете. что я силутоваль и незамётно подсунуль лишнюю половинку. Но тогда я васъ стану укорять въ томъ, что вы измъняете строго эмпирическому методу и заражены страстью къ апріорнымъ выводамъ. Не думайте, скажу я вамъ, что здёсь можно судить по математическому положенію: дважды два четыре. Математика справедлива только въ отвлечении, когда мы мысленно перемножаемъ два на два. Но если оказался фактъ, къ которому математическое правило неприложимо, то фактъ все-таки останется фактомъ. По настоящему, вы даже не имъете права требовать, чтобы я указалъ вамъ причину уклоненія факта отъ правила; но, если угодно, я признаю и непреложность причинной связи явленій, и сейчасъ же вамъ укажу несколько причинъ, отъ которыхъ можетъ зависвть это уклоненіе. Можетъ быть, оно происходитъ:

1) Отъ матеріала палочекъ. Это такой сургучъ, такое

дерево, скажу я, что при переломѣ оказывается лишняя половинка.

- 2) Отъ *способа* переламыванія. Я такъ ум'йю ломать, скажу я, всякія палочки.
- 3) Отъ того стола, на которомъ производился опытъ, или отъ той комнаты, въ которой онъ происходилъ.
- 4) Отъ того, что я особенный человъкъ медіумъ; или еще лучше, я скажу, что туть не я, а вы сами причина, что вы-то и есть медіумъ, только сами того не знаете.

Ну что вы мнё возразите противъ этого? Такъ какъ всякій опыть производится при извёстныхъ частныхъ обстоятельствахъ, то я могу сослаться на любое изъ этихъ обстоятельствъ. И вы не имёете права отвергать ни единаго моего объясненія, такъ какъ судить вообще, выставлять положенія, имёющія мёсто для всюхъ случаевъ, для всюхъ обстоятельствъ, вы не имёете права. Это запрещено строгимъ эмпиризмомъ, это значило бы судить не по опыту, аргіогі.

Итакъ, вы должны молчать, а я стану продолжать свои эксперименты.

Воть у меня двів кучки монеть, положимъ—гривенниковь; въ одной 11, въ другой 19 гривенниковъ. Смотрите, я ихъ смішиваю въ одну кучку, и считаю, сколько вышло. Вы думаете, конечно, тридцать; оказывается 31, т. е. одинъ гривенникъ лишній.

Второй экспериментъ. Беру палочку и разбиваю эту общую кучку гривеннивовъ на двѣ кучки. Считаю, нахожу въ одной 7, въ другой 23; слѣдовательно, одинъ гривенникъ пропалъ.

Третій эксперимент». Эти дв'я новыя кучки соединяю въ одну. Считаю, и нахожу опять 31. И т. д.

Вы изумляетесь, но я торжествую и увъщеваю васъ не колебаться въ эмпиризмъ и твердо върить фактамъ. Посмотрите, прибавляю я, тутъ оказывается даже нъкоторая законность. Очевидно, какая-то сила стремится къ такъ называемымъ первыми числамъ. Первыми числами называются въ математикъ числа, которыя ни на какое другое число не могутъ раздълиться безъ остатка. Таковы 11, 19, 31, 7, 23. Какая-то сила не хочетъ, чтобы получались другія числа, кромъ первыхъ, и вотъ отчего—то гривенникъ прибавится, то исчезнетъ.

Вы спросите, отчего зависить действіе этой силы? Я опять отв'вчу, что или отъ меня, или отъ моей комнаты, или отъ васъ самихъ, или, наконецъ, отъ того, что сегодня четвертый вторникъ одиннадцатаго мъсяца, что луна теперь убываеть и планета Юпитеръ настолько-то подошла къ Сатурну и т. д. Я могу сослаться на множество причинъ, и могу дать моимъ опытамъ большое разнообразіе. Наприм'єрь, я устрою у себя музыку и стану наблюдать, какъ подъ эту музыку будутъ складываться и разд'вляться гривенники. Или я буду, въ моменть складыванія и раздёленія, произносить извёстныя слова, думать объ извёстныхъ предметахъ, и буду замічать, какіе оть этого получатся результаты. Я сділаю такимъ образомъ цёлые ряды опытовъ, пожалуй въ присутствіи многихъ свид'ьтелей, и потомъ напечатаю все это, въ поучение современниковъ и потомства.

Ну что вы скажете? Я серіозно сирашиваю васъ, признаєте ли вы подобныя явленія возможными, или нѣтъ? Подумайте и отвѣчайте. Надѣюсь, что вы скажете: нѣтъ. Безъ всякихъ опытовъ и даже безъ всякой мысли объ опытахъ вы скажете, что такія явленія невозможны. Вы даже откажетесь идти къ тому физику, который

сталь бы вась приглашать наблюдать эти явленія. Ваше невъріе будеть такъ же упорно, какъ невъріе Руссо, который говорить въ одномъ мъстъ: "если бы мнъ скавали, что въ сосъдней комнатъ разсыпался типографскій шрифтъ и что случайно вышель изъ буквъ первый стихъ Энеиды, то я даже не поднялся бы съ мъста, чтобы посмотръть, правду ли мнъ говорятъ".

Но что же значить *невозможно?* Откуда у насъ является такое непобъдимое упорство? Попробуемте сколько-нибудь разъяснить себъ это дъло.

Для этого, очевидно, намъ уже не следуетъ делать опытовъ и наблюденій, а придется анализировать свои мысли; противъ желанія г. Бутлерова мы будемъ вынуждены зайти въ спекулятивную область, въ ту область, которая, по предразсудкамъ нашего времени, считается чёмъ-то темнымъ и дикимъ, но которая, въ сущности, есть всегдашняя и законная область человеческаго ума. Еще Платонъ училъ, что есть познаніе подобное воспоминанію, то есть, не почерпаемое изъ предметовъ, насъ окружающихъ, а существующее въ самой душё и какъбудто усвоенное ею въ какомъ-то прежнемъ существованіи, раньше ея соединенія съ тёломъ. Попробуемъ же и мы вспомнить, какія вещи по сущности своей возможны, и какія невозможны.

Когда я переламываю двѣ палочки пополамъ, или смѣшиваю двѣ кучки гривенниковъ, то я совершаю нѣкоторое дъйствіе: Для меня совершенно ясно, въ чемъ состоитъ это дѣйствіе; оно состоитъ въ нѣкоторомъ опредѣленномъ измѣненіи пространственныхъ отношеній, при чемъ всѣ другія свойства и отношенія вещей остаются безъ перемѣны. Каждая вещь можетъ находиться въ разное время въ разныхъ мѣстахъ и при этомъ остается

тою же вещью. Такъ что, измёняя мёсто вещей, измёняя порядокъ, въ которомъ я ихъ считаю, я не измёняю самихъ вещей. Я знаю, что дёлаю, и потому знаю, что изъ этого выйдетъ. Я не могу тутъ получить того, чего самъ не произвелъ, не могу вынуть ничего, кромё того, что самъ же положилъ. Всякій опытъ можетъ дать только то, что заключается въ его условіяхъ, а такъ какъ здёсь условія полагаются мною самимъ, то и результатъ мнё извёстенъ прежде всякаго опыта. Если я вообще могу сосчитать гривенники, лежащіе въ одной кучкі, то я долженъ получить тотъ же результатъ, то же число, на какія бы кучки я ихъ ни разбиваль, и въ какія бы ни соединялъ. Если же у меня получаются разные результаты, то значитъ, я не могу сосчитать и вообще ни одной кучки.

Не знаю, достаточно ли это ясно и убълительно, но я принужденъ на этомъ остановиться. Тутъ возникаютъ важные и обширные вопросы о числъ, пространствъ, времени и т. д., въ которые вдаваться здёсь, конечно, невозможно. Но мив хотвлось только нагляднымъ примъромъ вызвать въ васъ мысль, что могутъ быть физическія истины столь же непреложныя, какъ математическія, что, по природ'в своей, по очевидному апріорному характеру, тв и другія истины не различаются. что въ томъ случав, когда дело идетъ о вещественныхъ явленіяхъ, нужно только хорошенько вспомнить, какъ выражается Платонъ, основанія, хранящіяся въ нашей душъ, и мы безъ наблюденій заранье найдемъ, какихъ результатовъ следуеть ожидать. Въ математике это всего легче; вещественная же природа, очевидно, постоянно насъ чемъ-то развлекаетъ, чемъ-то мешаетъ намъ вспоминать ясно и отчетливо. Мало по малу дело однако же подвигается впередъ, и истинный успѣхъ физическихъ наукъ заключается именно въ томъ, что истины физическія получаютъ характеръ математической непреложности.

Но сдѣлаемте, для ясности, еще шагъ. Вѣроятно, многимъ читателямъ статья моя покажется сухою, скучною и неудобопонятною; но я попробую высказаться до конца. И такъ, сдѣлаемъ еще нъсколько экспериментовъ.

Если у меня два стакана и въ каждомъ нъкоторое количество воды, и если я вылью воду изъ одного стакана въ другой, то въ какомъ отношении количество соединенной воды будеть къ количествамъ, бывшимъ отдёльно въ стаканахъ? Конечно, соединенное количество будеть сумма прежнихъ отдёльныхъ количествъ. Это вы скажете безъ всякаго опыта, и на томъ самомъ основаніи, на которомъ число гривенниковъ въ соединенной кучкъ равняется суммъ чиселъ въ отдъльныхъ кучкахъ. Но какъ убъдиться въ этомъ прямымъ измъреніемъ? Воду считать нельзя, и, если стаканы не им вють особенной правильной формы, то и объемъ жидкостей очень трудно опредёлить. Самый легкій способъ, какъ вы конечно знаете, - взепсить тъ количества жидкостей, которыя желаемъ опредблить. Тогда окажется, что въсъ соединенной воды равенъ суммъ въса воды одного стакана и въса воды другаго. Этотъ способъ измфренія вещества оказался самымъ удобнымъ и самымъ надежнымъ, и потому имъетъ наибольшее употребленіе въ физическихъ наукахъ. Вы видите однако же, что этотъ пріемъ есть лишь точное повтореніе того, что мы дёлали, считая гривенники; онъ вполнъ соотвътствуеть этому счету и замъняеть его. Старинные физики наивно выражали эту мысль, когда давали такія опредъленія: "количество вещества въ какомъ нибудь тълъ есть *число* атомовъ, въ этомъ тълъ заключающихся". Откуда слъдовало, что два количества въ соединеніи заключаютъ соединенное число атомовъ, т. е. сумму двухъ чиселъ.

Мы сливали воду съ водою. Но что будеть, если мы сольемъ различныя жидкости, или соединимъ различныя жидкости съ различными твердыми тѣлами? Тутъ происходятъ разнообразнѣйшія явленія, часто блестящія и поразительныя, такія любопытныя, что химики, заглядѣвшись на нихъ, забывали измѣрять, и даже не задавали себѣ того вопроса о количествѣ, на который мы желаемъ отвѣта. Когда же задали, когда стали измѣрять, оказалось, что происходитъ тоже самое, что съ водою, то естъ вѣсъ соединеннаго вещества всегда равняется суммѣ вѣса составныхъ.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что передъ нами безъ конца повторяется нівкоторое простівниее правило, которому слъдуютъ вещественныя явленія. Правило это такъ просто, что первые химики признавали его за нъчто само собою разум'вющееся и употребляли только для повърки производимыхъ опытовъ. Но нынче это правило провозглашено великимъ открытіемъ и украшено очень пышными названіями. Оно именуется закономъ сохраненія вещества, или также вычностію матеріи, даже безсмертісмі матеріи, какъ выражается высокопарный Молешоттъ. Между тъмъ, въ сущности это правило гласить только, что въ веществъ мы можемъ дълать измъренія, опредълять комичества и что находимыя въ немъ количества, какъ всякія количества, полчиняются законамъ сложенія и вычитанія чисель. Въ сущности, уже изъ того, что высъ воды, заключающейся въ



стаканъ, есть опредъленное количество, я долженъ заключить, что, приливши новое количество воды, получу сумму двухъ количествъ. Если бы законъ сложенія не соблюдался, то невозможно было бы и вообще взвъсить воду: ея въсъ не быль бы опредъленнымъ количествомъ.

Таковъ смыслъ такъ называемаго сохраненія вещества, и этотъ смыслъ всего лучше показываетъ, отъ чего зависить непреложность этого закона. Она зависить не отъ того, что мы проникли въ сущность вещества, а только отъ того, что беремъ въ немъ лишь одну сторону, одну черту, беремъ лишь то, что подлежитъ измеренію, а следовательно и всёмъ законамъ числа. Прибавляю это замѣчаніе потому, что натуралистовъ часто упрекаютъ въ чрезмърныхъ притязаніяхъ, въ гордой мысли, будто имъ доступна сущность явленій. Такъ и г. Вагнеръ жалуется на ученую гордость, будто бы составляющую главное препятствіе къ принятію спиритизма. Жалоба эта въ извъстномъ смыслъ справедлива; нътъ нынче на свёть людей болье самодовольныхъ, болье уверенныхъ, что они ходять вы свыть, чёмы натуралисты. И воты почему я прошу васъ замътить, что законъ въчности вещества, по моему мненію, составляеть столь скудную истину, что она не должна ни мало льстить человъческой гордости и ни мало не удовлетворяетъ нашего истиннаго, глубокаго любопытства. Увы! то, что мы знаемъ такъ несомненно, - почти ничего въ себе не содержить! Наши истины тогда, и потому только, ясны и непреложны, когда изъ нихъ выключается сердцевина дъла, когда въ нихъ обходится сущность вещей.

Представьте себѣ, напримѣръ, что какой-нибудь человѣкъ, положимъ Сократъ, выпилъ ядъ и умеръ. Какое событіе! Смерть вообще, не только человѣка, а всякаго

животнаго, всякаго организма, есть очень загадочное дёло, въ той же степени загадочное, какъ жизнь. А тутъ! Мы до сихъ поръ размышляемъ надъ смертью Сократа—такъ этотъ фактъ полонъ для насъ важности и смысла. Въ минуту же событія, каждый конечно сказалъ бы: "Его не стало! Погасъ великій умъ, прекратились глубокія рѣчи, исчезла та жизнь, которая живила и всёхъ насъ, его окружавшихъ. Эта дѣйствительность навсегда прошла, и осталась одна память".

Посмотрите же, какой странный получится контрасть если мы подведемъ это событіе подъ физическій законъ сохраненія вещества. Этотъ законъ туть вполнъ примъняется; онъ гласитъ, что въсъ мертваго тъла Сократа быль въ точности равенъ: въсу тъла Сократа до принятія яда, сложенному съ въсомъ выпитой имъ цикуты. Это свъдъніе, совершенно несомнънное, очевидно, не уловляетъ ни единой существенной черты факта. Есть однако натуралисты, которые съ какимъ-то наивнымъ торжествомъ говорять о томъ, что въ подобныхъ случаяхъ ни одина атома вещества не теряется, что люди умирають, но вещество безсмертно. Увы! Это значить только, что мы ничего не понимаемъ въ тайнахъ жизни и смерти, что мы ум'вемъ твердо стоять лишь на такой точкъ зрънія, съ которой между человъкомъ и камнемъ нъть различія, и смерть Сократа не представляеть ни малъйшаго измъненія въ міръ.

Возьмемъ еще примъръ; возьмемъ простое явленіе, на значительность котораго, обыкновенно упускаемую изъ виду, съ особенною ръзкостію указаль какъ-то Гегель.

Положимъ, у насъ живая кошка и живая мышь, и мы тщательно взвъсили то и другое животное. Пред-

ставимъ, что кошка събдаетъ мышь. Что случилось? Случилось собственно дёло удивительное. Одно изъ двухъ существъ уничтожило другое, то есть, не только соединилось съ нимъ, сблизилось съ нимъ въ пространствъ, а обратило его въ свою плоть и кровь, претворило его въ самого себя; изъ двухъ самостоятельныхъ существъ, такихъ, что существа самостоятельные ихъ намъ неизвъстны, и что лишь подобныя существа мы можемъ называть действительно отдёльными существами, - изъдвухъ такихъ существъ вышло одно. Въ извъстномъ отношеніи ариометика нарушена самымъ ръзкимъ образомъ; но за то въ другомъ отношении, какъ оказывается, законъ сложенія соблюденъ строжайшимъ образомъ. Если взв'всить потомъ кошку, окажется, что в'всъ ен будеть въ точности равень: ея прежнему въсу, сложенному съ въсомъ мыши.

Многое можно было бы еще сказать на эту тему, на ту тему, что есть изв'ястный смыслъ въ учении Пивагора, принимавшаго числа за сущность вещей, что дъйствительно regunt numeri mundum (числа управляють міромъ). А съ этою темою соприкасаются другіе предметы; она связана съ самыми коренными вопросами о нащемъ познаніи вообще и о томъ, что следуеть называть сущностью вещей. Но я ограничусь сказаннымъ: я хотель дать почувствовать, что есть и могуть быть физическія истины несомнънныя, какъ аксіомы математики, и что, следовательно, говоря о вещественныхъ явленіяхъ, мы въ изв'єстныхъ случаяхъ можемъ совершенно точно различать возможное от невозможнаго. Воть та точка зрвнія, на которую я желаль бы поставить вопросъ о спиритизмъ, которая, по моему, одна тверда, ясна и плодотворна. По всей в роятности, слова мои останутся гласом вопіющаго вт пустыню; предубъжденные натуралисты, съ такою увъренностью воображающіе, что у нихъ подъ руками не числа, не суммы и разности, а чистые факты, а сама сущность дъла, ни за что не откажутся отъ своего эмпиризма. Да, скучна, очень скучна физика, химія, еще скучнье математика и гносеологія; чистый эмпиризмъ гораздо занимательнее. Для меня вполне понятна та жадность, съ которою натуралисты, десятки лътъ работавшіе надъ своею наукою, бросились на факты безсмысленные, неподходящіе ни подъ какую науку, ни подъ какія начала, нелъпые, безобразные, безтолковые. Эти факты лучше утоляютъ какую-то внутреннюю незаглушимую жажду, чёмъ самыя точныя и ясныя научныя изследованія. Туть и причина, почему натуралисты, изм'ёняя истинному духу своей науки, забывая ея великія преданія, такъ усердно принялись превозносить эмпиризмъ, стали провозглашать его лучшимъ достояніемъ въка и человъчества.

Увы, господа! Ваша скука законна, и законна ваша жажда; но тоть выходь изъ вашего положенія, на который вы рішились, никуда не годится. Случай этоть составляеть поучительный примірь, показывающій, что тьма, въ которой бродить человічество, не разсівается світомь вашего естествознанія, а напротивь почему-то сгустилась нынче надъ вами больше, чімь надъ другими людьми; вамъ нужно искать другаго, боліве правильнаго выхода, слідовательно—другаго, боліве надежнаго світа.

1876.

V.

# письма о нигилизмъ.

#### письмо первое.

Помутилось сердце человъческое. Достоевский \*).

Наша слвиота.—Трудность исцъленія.—Исторія.—Простой народъ.— Гдв источникъ зла?—Личныя побужденія.—Племенная ненависть.— Нигилизмъ.—Порохъ въ домъ.—Реальная злоба.—Трансцендентальный гръхъ,

Опомнимся ли мы? Боже мой! Собираюсь писать, и чувствую всю безполезность своего труда, такъ ясно чувствую, такъ опредъленно вижу, что едва могу преодольть желаніе оставить перо. Нть, мы не опомнимся! Какъ мы можемъ опомниться, когда и вся жизнь человъка, вся его дъятельность держится на какихъ-то самообманахъ, обманахъ явныхъ, ежеминутно разоблачающихся передъ нами съ страшною очевидностію, и всетаки продолжающихъ насъ обманывать? Тотъ древній мудрецъ, который узнавъ о смерти сына, остался совершенно спокоенъ, и когда удивлялись этому равнодушію, отвъчалъ: "я зналъ, что онъ былъ смертенъ", — этотъ мудрецъ сказалъ повидимому непростительную наивность;

но въ сущности онъ былъ правъ. Въ сущности мы дъйствительно не знаемъ, что мы смертны. Когда умираетъ человъкъ, котораго мы давно знали, мы всегда бываемъ такъ поражены, такъ застигнуты врасплохъ, что всего точнъе мы выразили бы наши чувства, если бы сказали: "ахъ, а мы думали, что онъ никогда не умретъ!" И когда смерть приходитъ за нами самими, мы встръчаемъ ее какъ что-то совершенно необыкновенное и незаконное, мы съ изумленіемъ говоримъ: "неужели я долженъ умереть? Я не хочу!"

Бѣдныя созданія! Мы окружены гробами, мы ходимъ по гробамъ, мы каждый день носимъ на себѣ гробы, и все-таки имъ не вѣримъ!

И та же слепота во всемъ. Теперь, въ настоящую минуту, мы потрясены ужасомъ, скорбію, стыдомъ отъ совершившагося цареубійства; мы напрягаемъ всю нашу душу, всв силы ума, чтобы понять это дёло, уразумёть, откуда эло и, главное, какъ намъ быть, что намъ дълать. Самые равнодушные, самые закоренёлые поражены, возмущены. Спросите же себя: почему же ранъе, почему давно мы не испытывали такого же потрясенія и напряженія? Разв'я въ первый разъ покушаются на Царя? Если ужь нужны покушенія, чтобы разбудить насъ, то эти покушенія совершались пятнадцать льтг сряду. Пятнадцать лътъ! Почему же мы не думали объ этомъ такъ, какъ теперь думаемъ? Источникъ этихъ злодействъ быль тоть же, какъ и теперь, тъ же пріемы пускались въ дёло, та же злая мысль ими руководила. Почему же мы не такъ же потрясались и изумлялись? Что же новое могло насъ потрясти и изумить теперь? Не то ли, что нашъ Царь убить наконець? Въ самомъ деле, это удивительно и неожиданно. Мы пятнадцать леть не

<sup>\*) «</sup>Преступленіе и Наказаніе.» II. 209.

могли повърить, что его можно убить; мы въ эти пятнадцать лъть даже совершенно привыкли не върить этому. Да, мы, должно быть, ръшительно считали его неуязвимымъ, безсмертнымъ, и только теперь, когда мы его хоронимъ, мы поняли наконецъ съ совершенною ясностію, что онъ могъ быть убитъ даже тъмъ первымъ выстръломъ, съ котораго начались эти пятнадцать лътъ покушеній, что уже тогда были всъ причины для того ужаса, скорби и стыда, которыя мы испытываемъ теперь, всъ причины напрягать всъ силы нашего ума, всю нашу душу къ пониманію и устраненію зла.

И то же, конечно, будеть и впередь. Мы, очевидно, поражены какимъ то страннымъ ослъпленіемъ. Теперь, въ настоящую минуту ужаса и стыда, мы смутно чувствуемъ, что мы слъцы, что намъ слъдуетъ прозръть, и мы мечемся душою, мы готовы съ сокрушеніемъ восклицать: мы вст виноваты, вст виноваты! Но такъ же, какъ мы обыкновенно не помнимъ, что мы смертны и что кто-нибудъ смертенъ, такъ мы скоро забудемъ нашъ ужасъ и стыдъ, и будемъ житъ, не слыша подъ собою колебанія земли и внутри себя колебанія своей совъсти. Мы такъ привыкли къ спокойной жизни, мы такъ увтрены въ возможности благополучія, что мы будемъ плыть все въ ту же сторону и будемъ безсмысленно работать можетъ быть въ пользу того самаго зла, которое насъ испугало на минуту.

Мы не можемъ прозръть. Ложь и зло до такой степени проникли во всю нашу жизнь, такъ слились даже съ лучшими нашими инстинктами, что мы не можемъ отъ нихъ освободиться. Дъло зашло слишкомъ далеко. Насъ ожидаютъ страшныя, чудовищныя бъдствія, но что всего ужаснъе, — нельзя надъяться, чтобы эти бъдствія образумили насъ. Эти безпощадные уроки насъ ничему не научать, потому что мы потеряли способность понимать ихъ смыслъ. И если найдутся отдёльные люди, которые прозрять и уразумёють эти уроки, то что же они саблають, что они могуть саблать противъ общаго потока, среди этого гама изступленныхъ и подобострастныхъ голосовъ? Развѣ можно измѣнить исторію? Развѣ можно повернуть то русло, по которому течеть вся европейская жизнь, а за нею и наша? Эта исторія совершить свое дёло. Мы вёдь съ непростительною наивностію, съ д'ятскимъ неразуміемъ, все думаемъ, что исторія ведеть къ какому-то благу, что впереди насъ ожидаеть какое-то счастіе, а воть она приведеть нась къ крови и огню, къ такой крови и такому огню, какихъ мы еще не видали. Исторія насъ никогда не обманывала; ея уроки ясны и непрерывны; она отъ начала до конца показывала намъ рядъ преступленій и б'ядствій, рядъ проявленій челов'вческаго бездушія и зв'врства; но мы всегда такъ умъли сочинять и преподавать исторію, что нимало не пугались, а напротивъ, даже утверждались въ нашемъ спокойствіи и нашей безпечности. Такъ и наличныя б'ёдствія не заставять нась одуматься, такъ мы не будемъ понимать и той исторіи, которая совершается передъ нашими глазами.

Въ одно я върю всъмъ сердцемъ и одна твердая надежда меня утъщаетъ—та, что, какой бы позоръ и какая бы гибель намъ ни грозили, черезъ нихъ пройдетъ невредимо нашъ Русскій народъ, т. е. простой народъ. Онъ чуждъ нашихъ понятій, того разврата мысли, который разъъдаетъ насъ, и онъ смотритъ на жизнъ совершенно иначе: онъ всегда, всякую минуту готовъ къ горю и бъдъ, онъ не забываетъ своего смертнаго часа, для него жить—значить исполнять некоторый долгь, нести возложенное бремя. Онъ спасется, какъ и прежде спасался, своимъ безграничнымъ терпеніемъ, своимъ безграничнымъ самопожертвованіемъ. Онъ будетъ расти и множиться и шириться, какъ и до сихъ поръ,—и для насъ (если мы уразумемъ, что намъ грозитъ позоръ и гибель) остается одно средство спасенія—примкнуть къ народу, т. е. прилениться душою къ его образу чувствъ и мыслей, и отказаться отъ безумія, среди котораго мы живемъ.

А развъ это возможно? Для отдъльныхъ лицъ конечно возможно; но для большинства такъ же невозможно не впитывать въ себя ежедневно заразу безумныхъ и вредныхъ понятій, проникающую всю нашу умственную и нравственную атмосферу, какъ нельзя перестать дышать воздухомъ. Тутъ нельзи ждать поворота, туть безсильна всякая мысль, всякое слово. И потому, если вы допустите на страницы "Руси" мои странныя мысли, —прошу простить мив слабость выраженія и мое волненіе и уныніе: читатель же пусть заранье знаеть, что мнь чуждо всякое желаніе умничать, поучать, агитировать. Одного хотвлось бы: исполнить должное по крайней своей силв и по крайнему разумѣнію, сказать свою мысль, какъ бы рѣзко она ни противоръчила общепринятымъ мнъніямъ. Все-таки это будеть заявленный протесть противь ходячихъ заблужденій, и можетъ быть онъ въ комъ-нибудь найдеть себъ отзывь; можеть быть мы дождемся когданибудь и громкаго голоса, зовущаго насъ на истинный путь, дождемся, что Небо пошлеть намъ

> пророка Съ горячей и смѣлой душой, Чтобъ міръ оглашаль онъ далеко Глаголами правды святой.

Но если кто содрогнулся отъ страшныхъ событій, пусть

же теперь работаеть умомъ и сердцемъ; пусть никто не засыпаеть, въ комъ пробудилась душа.

Причины зла, источникъ его — вотъ самый важный вопросъ въ настоящее время. Кто не думаетъ объ этомъ, не стремится всёми силами уяснить себѣ дёло, тотъ не заслуживаетъ названія серьезнаго человёка. А тотъ, кто думаетъ при этомъ не объ общей бёдё, а только о томъ, какъ бы воспользоваться этою бёдою, какъ бы при этомъ случаё обдёлать свои дёла, тотъ не стоитъ имени честнаго человёка.

Между тъмъ, мнъ все кажется, что серіозно размышляющихъ о вопросъ, вникающихъ въ него съ искреннимъ усиліемъ, между нами очень мало, почти нътъ.
Мало того, почти нътъ и такихъ, которые сознавали
бы надобность подумать. Зачъмъ думать? Да у каждаго
сейчасъ же, черезъ двъ минуты послъ событія, готовъ
отвътъ, каждый все ръшилъ какъ по пальцамъ, и потому принимается усердно выкрикивать свое мнъніе и
думаетъ только объ одномъ: какъ бы половчъе защищать его. И часто, поспъшнымъ и легкомысленнымъ является тотъ, кто горячъе другихъ принялъ дъло къ
сердцу.

Что же это за рѣшенія? Горе въ томъ, что при этомъ каждый не видить нужды выходить изъ сферы своихъ привычныхъ понятій и каждый ищетъ источника злодъйства въ томъ, въ чемъ привыкъ полагать наибольшее зло, на чемъ привыкъ сосредоточивать свою вражду. Злодъи должны были руководиться злобою; убійцы Русскаго царя должны были питать ненависть къ Русскому царству—вотъ общій смыслъ разнообразныхъ предположеній, вотъ выводъ по видимому такой простой и естественный, что ему невозможно противоръчить. Корень

дъла—или озлобленіе противъ царя, или ненависть къ Русской землѣ; изъ этой дилеммы повидимому нѣтъ выхода. Можно даже вознегодовать на того, кто рѣшился бы отвергать такую ясную мысль. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, можно полагать, что не злоба была главнымъ двигателемъ безчеловѣчнаго преступленія, что не ненависть къ Россін руководила ударомъ, отъ котораго застонала Россія?

И воть, мы готовы безъ конца перебирать причины, которыя соотвътствують такимъ предположеніямъ. Мы спрашиваемъ, не было ли у Государя личныхъ враговъ, людей раздраженныхъ и озлобленныхъ чемъ-нибудь прямо противъ его лица? Потомъ, не было ли такихъ, которые злобились не на него лично, а на его управленіе, на тоть строй, во глав'в котораго онъ стояль? Мы перебираемъ всѣхъ, кто могъ понести несправедливости и притъсненія, мы мысленно соединяемъ въ одну картину вев тягости, вев неправды, всякое правительственное зло, какое у насъ было или могло быть, и спрашиваемъ: не отсюда ли явились злодъи? Это страшное злодъйство не составляеть ли отголоска озлобленія, зародившагося въ какомъ-нибудь углу Россіи, не вызвано ли оно неправильнымъ распоряжениемъ, чрезмърною строгостию къ какимъ-нибудь лицамъ или деламъ? Тутъ намъ открывается обширное поприще соображеній. Мы допытываемся, какого званія и происхожденія преступники, чёмъ они занимались, съ кемъ водились, отъ кого и отъ чего могли пострадать и вознегодовать; и когда найдемъ причины раздраженія, мы удовлетворяемся и даже, пожалуй, сами начинаемъ пропов'ядывать противъ порядковъ и случаевъ, вызвавшихъ это раздражение.

Однимъ словомъ, мы тутъ приписываемъ преступленіе

мичными побужденіями преступника. Вступиться за свою обиду или за другихъ обиженныхъ—вотъ самое простое и естественное возмущеніе человѣка, и потому многіе ищуть здѣсь разрѣшенія вопроса, охотно пускаются во всякія варіаціи на эту тему. Не забудемъ притомъ, что, въ силу простоты и естественности, дѣло получаетъ въ то же время наиболѣе невинный видъ, а въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, возвышается и до героизма, такъ что добрыя и невинныя души особенно расположены къ такому идиллическому взгляду.

Увы! доброта и невинность не помогуть намъ въ распутываніи этого узла. Мы должны вспомнить, что въ человінь, живущемь въ государстві, личныя побужденія неспособны им'єть такую силу. Всякій съ д'єтства привыкаетъ къ мысли, что тяжелая и сложная машина государства можетъ наносить ущербъ его интересамъ; всв мы каждый день чувствуемъ хоть малую долю тягости, происходящей отъ того, что мы такъ или иначе держимъ на себъ государство. Бунтъ, самоуправство, хотя суть вещи очень обыкновенныя, но вызываются всегда только очень опредъленными, совершенно мъстными и частными явленіями, такъ что виноватые всегда отчетливо обнаруживають во всёхъ своихъ дёйствіяхъ, что они идутъ противъ извъстнаго лица, извъстнаго порядка, а не противъ государства вообще, не противъ правительства и законовъ вообще.

Нѣтъ, злодѣйства, потрясающія наше царство, могутъ происходить не отъ людей, озлобленныхъ противъ извѣстныхъ лицъ или порядковъ, а развѣ отъ враговъ Рус ской земли, отъ ненавистниковъ ея могущества. Племенная ненависть тысячекратно сильнѣе личной, и вотъ, повидимому, гдѣ можно найти источникъ этой дерзости и

силы. Наши политики и историки очень естественно останавливаются на этихъ соображеніяхъ. Польскій фанатизмъ, или можетъ быть прость обезумѣвшихъ хохломановъ,—вотъ гдѣ злоба дѣйствительно можетъ дорости до тѣхъ размѣровъ, въ какихъ мы видимъ ее передъ собою.

Такое разрѣшеніе вопроса, конечно, несравненно выше, чѣмъ выводъ всего дѣла изъ личныхъ побужденій. Наши преступники, очевидно, посягаютъ на политическое существованіе Россіи; слѣдовательно, они дѣйствуютъ за одно съ ея политическими врагами. Эти враги должны радоваться ихъ дѣйствіямъ; всякій, кто ненавидитъ русскую силу въ Европѣ, долженъ чувствовать желаніе помочь нашимъ анархистамъ, можетъ бытъ и дѣйствительно помогаетъ, можетъ быть даже самъ становится въ ихъ ряды. У тѣхъ и другихъ одна цѣль, одно желаніе, такъ что ни по результатамъ, ни по способу дѣйствій невозможно отличить однихъ отъ другихъ.

Между тімь различить необходимо. Если есть различіе, то мы должны его отыскать и опреділить; иначе мы відь не узпаемь настоящаго корня зла, иначе страшные уроки исторіи пропадуть даромь, и мы будемь слівно двигаться къ пропасти, и мы не будемь знать, что намь дівлать, если только мы способны что-нибудь дівлать противь этой опасности. Кажется, есть надь чімь подумать, кажется, пора попробовать собрать свои мысли, а не твердить одно и то же, не двигаться все по однимь и тімь же колеямь.

Корень зла—нигилизмъ, а не политическая или національная вражда. Эта вражда, какъ и всякое недовольство, всякая ненависть, составляетъ только пищу нигилизма, поддерживаетъ его, но не она его создала, не

она имъ управляетъ. Если какой-нибудь ненавистникъ Россіи даль денегь или прислаль бомбы для нашихъ анархистовъ, то это значитъ только, что онъ сталъ слугою нигилизма, работаетъ въ его пользу, а не наобороть, не нигилизмъ ему служитъ. Разнида огромная и существенная, которую мы никакъ не должны упускать изъ виду, если желаемъ правильнаго смысла въ нашихъ мысляхъ и действіяхъ. Вообразимъ, что въ какомъ-нибудь обширномъ дом' вдругъ оказалось, что въ разныхъ темныхъ и незаметныхъ углахъ насыпанъ порохъ. Отъ времени до времени происходять взрывы этого пороха, производять разрушение и ужасъ, и, пожалуй, скоро обратять весь домъ въ развалины. Что бы мы сказали, если бы хозяинъ этого дома вовсе не безпокоился о разложенномъ у него порохъ, а только сердился бы на тъхъ, кто его поджигаетъ? Порохъ, это-нашъ нигилизмъ; вмѣсто того, чтобы думать только объ его поджигателяхъ, не разумнъе ли позаботиться объ уничтожении пороха? Притомъ, какая наивность, какой верхъ наивности-думать, что порохъ самъ по себъ пичего, что тотъ, кто только кладеть порохъ, еще не дълаеть ничего дурнаго, что можеть быть онъ вовсе не имфеть въ виду произвести взрывъ, а что истинные злодъи, настоящій источникъ зла-это люди, поджигающие порохъ! Вотъ въ какую жестокую ошибку мы можемъ попасть. При всёхъ своихъ усиліяхъ противъ поджигателей, если даже они и найдутся, мы можемъ довести дъло до того, что во всъхъ углахъ у насъ будеть порохъ, и тогда одной искры будеть довольно, чтобы все поднять на воздухъ. Не лучше же ли подумать, какъ бы очищать отъ пороха наши углы? Не въ этомъ ли должна состоять наша главная забота? Когда бы домъ нашъ былъ чистъ 14\*

отъ пороха, то мы могли бы не бояться взрывовъ, и поджигатели были бы намъ уже не такъ стращны.

Вотъ правильная постановка дѣла, вотъ прямое рѣшеніе вопроса. Но боюсь и предчувствую, что эта постановка не будетъ принята, и это рѣшеніе будетъ отвергнуто. Съ одной стороны, дѣло въ такомъ видѣ является слишкомъ сложнымъ и труднымъ; съ другой стороны, оно для большинства кажется непонятнымъ, невѣроятнымъ.

Нигилизмъ! Да возможно ли мечтать объ его уничтоженіи? Если бы діло шло только объ истребленіи наличных в нигилистовъ, то можетъ быть нашлись бы еще люди, которые сочли бы эту міру достойною вниманія и разсмотрінія. Но діло вовсе не въ нигилистахъ, а въ нигилизмъ. Какъ сдълать, чтобы ослабъло и умалилось это направленіе? Какъ обратить на истинный путь тіхъ, кто стоить теперь на этомъ ложномъ? Какъ предупредить по крайней мфрф, чтобы ежегодно и ежедневно тысячи и тысячи молодыхъ людей не сбивались съ пути, не вербовались въ эту незримую армію? Истреблять зараженныхъ дёло не хитрое; но какъ пстребить заразу? Туть невозможность такъ ясна для всёхъ, такъ уже признана всвми, что объ ней обыкновенно и не разсуждають. Признано, что нигилизмъ составляеть какъ бы естественное зло нашей земли, болёзнь, имінощую свои давніе и постолиные источники и неизбіжно поражающую изв'ястность часть молодаго поколенія. Самые смізлые замыслы и попытки измёнить наше образование и дать умамъ другое направление останавливаются только на мысли-воспитать часть молодых влюдей въ другихъ началахъ, а никакъ не смѣютъ простираться до мечтаній о полномъ ослабленіи нигилизма,

Если же такъ, то большинство темъ охотне начинаетъ невърить въ самую силу нигилизма. "Нътъ", говорять, "эти недоучившіеся мальчишки не могуть им'ьть никакого серьезнаго значенія; у нихъ ніть ни средствъ. ни определеннаго плана, ни такой пели, которая внушала бы эту дьявольскую энергію. Если вы утверждаете, что нигилисты произвели этоть рядь покушеній, то скажите намъ, какую цель они могли иметь въ виду? Какую разумную цёль можно придумать для этихъ дёйствій? Только для враговъ Россіи могуть быть выгодны эти потрясенія; а кто не врагь Россіи, тоть можеть ихъ дёлать только изъ чистаго желанія зла, изъ жажды разрушенія для разрушенія. Ужели же это возможно? Ужели такая дикая мысль можеть кого-нибудь воодушевлять и доводить до отчаянных усилій, до пожертвованія собою?"

Да, это дъйствительно трудно понять; между тъмъ, кто не пойметь этого, тоть не пойметь и существа дъла. Трудно, очень трудно понять, что вовсе не какіе-нибудь реальные интересы, не опредъленныя личныя, временныя, мъстныя побужденія порождають эти ужасы, а порождають ихъ отвлеченныя мысли, призрачныя желанія, фантастическія ціли. Если же кто поняль это, тоть, мнъ думается, долженъ невыразимо содрогнуться передъ этимъ безуміемъ, содрогнуться съ несравненно большимъ страхомъ, чёмъ передъ всякою реальною злобою, чёмъ передъ самой чудовищной, но реальной ненавистью. Ибо, реальныя желанія можно удовлетворить, реальную ненависть можно отразить и обезоружить; но что сдёлать съ фантастическою ненавистью, которая питается сама собою, надъ которою ничто реальное не имъетъ силы? Да, наша бъда истинно ужасна, наша опасность безмърна; напрасно мы стали бы уменьшать ея размъры, — это ничему не поможеть.

Посмотрите, какъ просто было бы дѣло, если бы Государя убилъ кто-нибудь, питавшій лично къ нему безумную ненависть. Тогда это была бы случайность, которой никогда невозможно избѣжать и надъ которою нечего было бы думать. Точно такъ, если бы убійцы были люди, обиженные властями, пострадавшіе отъ суда или администраціи, то самое большее, что отсюда можно было бы вывести, состояло бы въ томъ, что открылся бы нѣкоторый совершенно опредѣленный порокъ въ государственной машинѣ, порокъ, доводящій людей до отчалнія. Говоримъ, совершенно опредъленный, ибо дойти до посягательства на жизнь Государя вслѣдствіе вообще какой-нибудь понесенной несправедливости— есть безуміе, къ которому неспособны вполнѣ неповрежденные люди.

Въ этомъ отношении чрезвычайно ясный смыслъ им веть предубъждение, встрвчавшееся у простаго народа, будто бы виновники покушеній принадлежать къ числу лицъ, потерпъвшихъ убытки вслъдствіе крестьянской реформы. Воть въ самомъ дѣлѣ мѣра, которая отразилась на жизни множества людей и, по грубому понятію, должна была озлобить кого-нибудь изъ нихъ. Это совершенно невърно, но, по крайней мъръ похоже на объясненіе, не говоря даже о высшемъ его смыслъ. Люди, охладівающіе къ родному языку, вірів и обычаю, становятся чуждыми народу, и онъ, въ своей темнотъ, можеть причислить къ нимъ злодбевь, въ которыхъ находить полное отречение отъ своего духа и отъ глубочайшихъ своихъ интересовъ. Другаго подобнаго, хотя бы и ложнаго, объясненія выставить невозможно. Въ одномъ изъ недавнихъ политическихъ процессовъ,

совершившій покушеніе подсудимый говориль о свобод'в печати, и судившіе снисходительно его выслушали. Ну разв'в не было бы верхомъ нел'впости, если бы мы вообразили, что этотъ преступникъ принадлежить къ большой масс'в людей, пламенно желающихъ печатно высказывать свои нецензурныя мысли, и что онъ, когда другіе только терп'вли и негодовали, дошелъ до ярой ненависти, с'влъ на лошадь и выстр'влиль въ про'взжавшаго начальника 3-го Отд'влепія? Совершенно ясно, что свобода печати была для него не д'в'йствительная, личная потребность, а отвлеченная мысль. Н'втъ, эти покушенія не протестъ, не мщеніе, не требованіе; иначе опи им'вли бы не общій, а частный смыслъ, им'вли бы ясно-опред'вленное значеніе.

Національная и политическая ненависть, воть это—
нѣчто совершенно опредѣленное. И опять скажемъ, что
если бы дѣло сводилось къ этой ненависти, то сравнительно это была бы меньшая бѣда и меньшій ужась,
Между Поляками и хохломанами есть заклятые враги
Россіи; но что бы они значили безъ союза съ нашимъ
чисто-внутреннимъ врагомъ? И во всякомъ случаѣ, если
бы это были чистые націоналы, они могли бы постепенно образумиться вмѣстѣ съ успокоеніемъ своего народа. Рано или поздно можно было бы предвидѣть ихъ
ослабленіе, если только позволительно предвидѣть въ человѣчествѣ ослабленіе коварства и злобы, если только
можно думать, что ненависть не всегда же ищетъ себѣ
поводовъ, когда не имѣетъ для себя причинъ.

Но той бѣды, которая пришла на насъ, мы не избудемъ ни реформами, ни умиротвореніемъ народностей. Нигилизмъ есть движеніе, которое въ сущности ничѣмъ не удовлетворяется, кромѣ полнаго разрушенія. О, понятно, почему есть столько людей, которые не въ силахъ этому повёрить, не могутъ вмёстить этого въ своихъ понятіяхъ. Нигилизмъ это не простой грѣхъ, не простое злодвиство; это и не политическое преступленіе, не такъ называемое революціонное пламя. Поднимитесь, если можете, еще на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противленій законамъ души и сов'єсти; нигилизмъ, это - гръхъ трансцендентальный, это - гръхъ нечеловъческой гордости, обуявшей въ наши дни умы людей, эточудовищное извращение души, при которомъ злодъяние является добродътелью, вровопролитіе—благодъяніемъ, разрушеніе - лучнимъ залогомъ жизни. Человікъ вообравиль, что онь полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить всемірную исторію, что слідуеть преобразовать душу человъческую. Онъ, по гордости, пренебрегаеть и отвергаеть всякія другія цізли, кромів этой высшей и самой существенной, и потому дошель до неслыханнаго цинизма въ своихъ действіяхъ, до кощунственнаго посягательства на все, передъ чемъ благогов'йоть люди. Это безуміе соблазнительное и глубокое, потому что подъ видомъ доблести даетъ просторъ всёмъ страстямъ человёка, позволяетъ ему-быть звёремъ и считать себя святымъ.

И это направленіе—не случайность, не пом'вшательство; ність, въ немъ, какъ въ фокуст, отразились вст нынісшнія господствующія стремленія, весь духъ нашего времени; воть что хотісль бы я объяснить въ этихъ письмахъ, насколько смогу и съумісю.

Если мы не отыщемъ другихъ началъ, если не прилъпимся къ нимъ всею душою, мы погибнемъ.

19 марта 1881.

### письмо второе.

Сей возрасть жалости не знаеть. Крыл.

Гордость.—Преврѣніе.—Ненависть.—Самодовольство. — Долгъ и самопожертвованіе.—Проповѣдь и ен фіаско.—Бездарность и ложь.—Злодѣйство.—Везсердечіе.—Молодость. — Распространеніе заразы. — Непослѣдовательность. — Гордость просвѣщеніемъ. — Самостоятельное мышленіе.—Политическое честолюбіс.—Политическія преступленія.— Бѣдствія впереди.

Программа нигилистовъ извъстна. Но мнъ хотълось бы сдълать общій ел очеркъ, взявъ дѣло съ той стороны, на которую часто не обращаютъ вниманія. Нигилизмъ весь основывается на дурныхъ свойствахъ человъческой души, но на такихъ, въ которыхъ возможно самообольщеніе, то есть можно принимать свой недостатокъ за достоинство. Эти жалкіе и страшные безумцы, такъ много толкующіе о матеріальныхъ интересахъ, видящіе въ нихъ главный стержень жизни и исторіи, сами увлекаются на свой путь не матеріальными, а духовными соблазнами; эти извращенные люди доказывають самымъ своимъ извращеніемъ, что не плоть, а духъ главное начало въ человъкъ.

Коренная черта нигилизма есть *гордость* своимъ умомъ и просвъщеніемъ, какими-то правильными понятіями и разумными взглядами, до которыхъ наконецъ достигло будто бы наше время. Никакъ нельзя сказать однакоже,

чтобы мудрость, исповъдуемая этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большею частію это грубівшій и безтолковівшій матеріализмъ, ученіе столь простое, такъ мало требующее ума и дающее пищи уму, что оно доступно самымъ неразвитымъ и несвъдущимъ людямъ. Нигилисты сами невольно чувствують эту скудость своего умственнаго достоянія, сознають, что такою мудростію трудно гордиться. Поэтому, ихъ самолюбіе прибъгаетъ къ извороту, и они начинають тщеславиться не тімь, что они сами знають, а отрицаніемъ того, что признають и во что върять другіе люди. Здісь-безконечное поприще для самодовольства, ежеминутно питающагося презръниемъ ко всему остальному человъчеству. Считая всъхъ другихъ живущими въ темнотъ невъжества и предразсудковъ, нигилисты получаютъ возможность ставить себя выше толпы, принимать себя за избранныхъ, передовыхъ, за соль земли. Вмъсто того, чтобы, чувствуя скудость своихъ понятій, приходить въ недоумівніе и отчаяніе, они, напротивъ, постоянно потішаются созерцаніемъ чужаго невъжества, постоянно упражняются въ отрицаніи чужихъ понятій и темъ поддерживають свою гордость.

Въ отношеній къ нравственности у нихъ тоже выходить нѣчто подобное. Ихъ требованія отъ себя и отъ жизни очень смутны и скудны. Они почти не заботятся о собственномъ усовершенствованіи, какъ будто считая себя отъ природы совершенными; прямыя цѣли, кокорыя долженъ ставить себѣ человѣкъ въ жизни, у нихъ выходять невысокія и неясныя: больше всего они толкують о матеріальномъ благосостояніи, о равенствѣ и свободѣ, но толкують на разные лады и даже не осо-

бенно ищуть отчетливаго определения этихъ своихъ высшихъ благъ и взаимнаго соглашенія въ ихъ пониманіи. И вотъ, чувствуя скудость своихъ идеаловъ, виия, что недьзя питать душу этимъ плоскимъ взглядомъ на жизнь, они невольно прибъгають къ хитрости, дълють душевный извороть и возбуждають свое нравственное чувство не къ положительнымъ стремленіямъ, а къ ненасисти. Не тъмъ доволенъ нигилистъ, что онъ нашелъ истинное благо и что пламенветь къ нему любовью, а тёмъ, что онъ исполненъ такъ-называемаго благороднаго негодованія къ господствующему злу. Злоесть необходимая пища для его души, и онъ отыскиваеть зло всюду, даже тамъ, гдв и самая мысль о злв не можеть прійти въ голову непросв'ященнымъ людямъ. Всякое установленіе, всякая связь между людьми, даже связь между мужемъ и женою, между отцемъ и сыномъ, оказываются нарушеніемъ свободы; всякая собственность, всякое различіе, естественное или пріобр'єтенное, выходить нарушениемь равенства; всякія требованія, ставимыя природою или обществомъ, не могутъ быть выполнены безъ извъстнаго ограничения и равенства, и свободы, и матеріальнаго благосостоянія. Эта критика существующаго порядка такъ радикальна, идетъ такъ далеко. что совершенно ясно и последовательно приходить къ отрицанию не только всякаго порядка, но почти и всего существующаго. Можно было бы дивиться безумію этихъ людей, не видящихъ, въ какую ловушку они зашли, не понимающихъ, что возможность зла возникаеть изъ самаго существованія опредёленнаго, им вющаго свои условія добра, еслибы эти люди не находили въ своихъ нелъпостяхъ пищи для своей души. Эта пища, которою они живуть, есть раздраженіе, гибвъ, ненависть; не самое благо имъ нужно; вмѣсто того, чтобы унывать и скорбѣть о пустотѣ того идеала, въ который у нихъ разрѣшается цонятіе о жизни, они, напротивъ, полны восторга, что чужды какого-то зла и что ненавидятъ это зло.

Таковы нигилисты; нътъ людей болъе самодовольныхъ, болъе удовлетворенныхъ умственно и нравственно; а посмотрите, какими простыми средствами это достигается! Они считають себя умными только потому, что ни во что не върять, и добрыми только потому, что не участвують въ жизни другихъ людей и смотрять на нее съ негодованіемъ. И, такъ какъ для этого вовсе не нужно ни большаго ума, ни большой душевной доблести, то оказывается, что даже жалчайшія и презрівнивишія существа, неспособныя ни къ какому делу и достоинству, а только чувствующія въ себ'є нікоторый позывъ къ гордости и ненависти, обращаются въ нигилистовъ и могуть не уступать въ своемъ нигилизмъ самымъ способнымъ и благороднымъ сотоварищамъ. Самолюбіе, зависть, бездарность, дурное сердце-вотъ часто дорога къ нигилизму, и нигилизмъ не имъетъ въ себъ ничего противъ этихъ недостатковъ, напротивъ даетъ имъ пищу и пріютъ.

Такое положеніе діла не можеть не чувствоваться и самимъ нигилизмомъ; душа человівческая не можеть успо-коиться на такомъ явномъ пониженіи, на такомъ пошломъ и глупомъ выходів. И воть, вступають въ силу старыя забытыя слова: долгь, служеніе, самопожертвованіе, и чімъ отчаянніве была пустота въ ихъ душів, чімъ гнусніве были позывы гордости и ненависти, тімъ съ большею силою душа выходить на этоть путь, тімъ съ большею ревностію она предается этому посліднему соблазну, дальше котораго уже некуда идти и нечімъ

соблазняться. Ихъ гонить сюда внутреннее отчаяніе. Нигилисть, рѣшающійся дѣйствовать и для этого рискующій своею жизнью, конечно можеть воображать, что онь дошель до конца и жертвуеть самымы дорогимы, что у него есть; но въ сущности это дорогое можеть быть и не очень-то для него дорого.

Въ чемъ же этотъ долгъ и это служение? Такъ какъ нигилисты считають лишнимъ заботиться о своемъ собственномъ ум'й и сердц'й, такъ какъ они не видятъ въ жизни людей никакого добра, никакого хорошаго діла, которому можно бы служить, то они придумали себъ другія обязанности, бол'ве высокаго разбора. Будучи вполнъ довольны своимъ просвъщеніемъ и поведеніемъ и вполн' недовольны существующимъ порядкомъ, они должны были признать своимъ главнымъ долгомъ просв'вщать другихъ и содъйствовать ихъ прогрессу. Вс'в нигилисты непременно политики, страдають гражданскою скорбью и заботятся объ общемъ благъ. Первое и прямое поприще для этихъ заботъ конечно-проповъдь, литература, прокламація. И вотъ они пробують на всевозможные лады вести пропаганду своихъ идей, разрушать предразсудки, раскрывать господствующе зло, обличать, возбуждать то негодованіе, которымъ сами переполнены. Они самоувъренно выходять на тоть путь, на которомъ такъ прославились Прудоны, Герцены, Лассали, и даже думають, что сейчась же превзойдуть своихъ учителей.

Никто и никого не им'ветъ права порицать за пропов'єдываніе своихъ уб'єжденій. Въ нашемъ мір'є, воспитанномъ на христіанств'є, мы должны признавать за каждымъ право ставить свою сов'єсть выше всего; какъ бы ни была извращена эта сов'єсть, для нея еще есть залогъ спасенія, если она не отравлена ложью, если не отрекается отъ самой себя. Поэтому меньше всего можно винить нигилистовъ за самое ихъ желаніе пропов'ядывать; мы не будемъ называть ихъ непризоанными учителями, не будемъ упрекать, что они взялись не за свое дпло. Если бы они действительно вели борьбу только духовнымъ оружіемъ мысли и слова и были бы искренни. то ихъ следовало бы признать терпимыми, какія бы безумія они ни пропов'єдывали. Но полная искренность, но борьба чисто духовнымъ оружіемъ суть дёла столь высокія и трудныя, какъ того и не подозр'вваеть большинство пропов'вдниковъ. Не мудрено, что нигилисты не выдержали своихъ притязаній; они потерп'ёли двойную неудачу: во первыхъ, они не имъли литературнаго успъха, во вторыхъ, они очень скоро потеряли главную пружину всякой пропов'яди, сов'єсть, и впали въ ложь.

Подъ литературнымъ фіаско нигилистовъ я разумівю то ръшительное пренебрежение къ ихъ заграничнымъ писаніямъ и къ ихъ подпольнымъ изданіямъ внутри Россін, которое началось у насъ съ 1863 года и доросло въ последніе годы до какого-то подавляющаго презренія и равнодушія. Эта непрерывная неудача тімъ поразительне, что ей предшествоваль блестящій усивхь. Герценъ, увхавши за границу, ръшился остаться тамъ навсегда именно для того, чтобы свободно высказывать свои вольнодумныя мысли, и на первыхъ порахъ казалось, что слово, сдёлавшееся свободнымъ, получило певообразимую, волшебную силу действія на умы. Точно также первыя подпольныя прокламаціи появлявніяся въ Петербургъ, не смотря на дикость своего содержанія, передавались изъ рукъ въ руки и читались съ величайшимъ любонытствомъ. Казалось такимъ образомъ, что найленъ прямой путь д'ыствія, что нужно только постараться, и Россія быстро изм'єнить свой умственный и правственный образъ и начнетъ новую жизнь. Увы, обольщение быстро разсвялось. Оказалось, что вся сила была не въ свободномъ словъ, а въ талантъ и остроуміи Герцена, и что, когда прошло любопытство новизны, никто не сталъ читать плохихъ и безтолковыхъ писаній, Но, разумбется, нигилисты продолжали упорствовать въ своихъ надеждахъ и не догадывались, въ чемъ дело. Цізлыя толпы уходили за границу, чтобы обречь себя на писательское поприще, и плодили изданія, которыми подъ конецъ интересовался развъ ихъ собственный кружокъ. Кром'в бездарности, эту неудачу довершила та страшная ложь, которая развилась въ этихъ писаніяхъ. Принципъ этой лжи тотъ же, который заражаетъ боле или менфе всякую политическую литературу. Когда писаніе совершается не для того, чтобы выразить душу пишущаго, а имбеть цёль внё себя, хочеть служить постороннему ділу, оно легко впадаеть въ адвокатскіе пріемы; люди начинають обманывать себя и другихъ, и сами губять себя ложью. Въ последней прокламаціи, какъ было приведено въ "Московскихъ Въдомостяхъ", нашъ благодушнъйшій покойный Государь названъ тираномг. Съ великими опасностями и трудами нигилисты напечатали это заявленіе; по спрашивается, какой же человъческій смысль оно можеть имъть и на кого можеть подъйствовать, кром'в такихъ же бъсноватыхъ?

Несчастный Герценъ, завлекшись въ агитацію и запутавшись въ ней, наконецъ бросилъ всю эту ложь и глупость, и тоскливо прожилъ въ бездъйствіи свои послъдніе годы, каясь въ своихъ ошибкахъ. Другіе проповъдники терпъли постоянную неудачу. Оказывалось, что самое удобное мѣсто для нигилистической литературы не на свободѣ, а внутри Россіи. Тутъ, являясь въ печати, нигилизмъ сдерживался и невольно принималъ болѣе умный и благородный видъ. Цензура не давала говорить слишкомъ явныхъ глупостей и лжей, а между тѣмъ писатель могъ намеками внушать читателямъ очень высокое понятіе о тѣхъ сокровищахъ просвѣщенія и гуманности, которыя онъ вынужденъ хранить про себя; да кромѣ того считалъ себя вообще уже въ полномъ правѣ на всякое лукавство и всякую неправду.

Такимъ образомъ, дитературная діятельность, то есть единственная діятельность нигилизма, могущая быть законною, была слишкомъ медленна и неудачна, и не могла удовлетворить нигилистовъ, даже если бы они были расположены одною ею ограничиваться. Они стали искать другаго поприща, чтобы дъйствовать, и многіе пошли ет народь, чтобы распространять свои мысли и разжигать недовольство въ простыхъ людяхъ. И туть удача была начтожная въ сравнении съ ожиданиями; мужики. которымъ (какъ было напечатано летъ двадцать назадъ въ одномъ журналъ) от десять минутъ разговора умный человъкъ могъ надъяться вполнъ раскрыть ихъ истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми и упорными. Съмена революціи не принимались на руской почвъ, и старый порядокъ стоялъ кръпко. Понятно, что самые смѣлые и ожесточенные нигилисты давно стали выходить на другой путь, на единственный путь, об'вщавшій върные успъхи, на путь злодъйствъ. Вы видите, какая логика сюда ихъ привела; они разрѣшили себѣ всякое зло, какое физически можетъ причинять человъкъ другимъ людямъ, и они вдругъ изъ безсильныхъ и пренебрегаемыхъ сдълались могучими и страшными. Прежде

они готовы были разрёшить себё, и даже разрёшали. всякій нравственный ядь и нравственный динамить; но эти средства въ ихъ рукахъ почему-то очень слабо дъйствовали. Тогда они прибъгли къ физикъ и химіи, которыя действують неотразимо, и дело пошло гораздо успъшнъе. Они не могли убить враждебные имъ принпины: тогда они стали убивать людей, представлявшихъ собою эти принципы. Какая радость для злодвя сознавать, что онъ можетъ поколебать цёлое государство, навести ужасъ на милліоны людей, и что всякая власть и сила, всякая любовь и преданность безсильны противъ его покушеній! Чтобы достигнуть такого адскаго могущества, ему приходится рисковать собою; но цёль очевидно слишкомъ высока и соблазнительна въ сравнении съ той цъною, которою она покупается. Въ дурной нашъ въкъ жизнь, какъ изв'єстно, очень понизилась въ ц'єн'є; да и никогда человъкъ не дорожилъ ею такъ, чтобы не рисковать ею на разные лады, чтобы не жертвовать собою въ какой-нибудь игръ, несравненно менъе завлекательной, чёмъ эта нынёшняя игра.

Всв люди имбють стремленіе жить умомъ и сердцемъ; всв стремятся и къ нвкоторой двятельности; если эти стремленія представляють большую энергію, мы всегда склонны видвть въ ней что-то хорошее, объщающее. Но посмотрите, какъ жестоко извращены эти силы у нигилистовъ; умъ ихъ направленъ къ отрицанію, сердце къ ненависти, двятельность къ разрушенію. Притомъ сами они ставятъ все это себв въ величайшее достоинство, безъ чего конечно и невозможна была бы ихъ душевная чудовищность. Никто сознательно не хочетъ быть дурнымъ; такъ и нигилисты, чтобы коснъть въ своемъ злъ, должны постоянно обманывать самихъ себя. Они

считають себя умными, но оказывается, что они умны только чужой глупостью: они считають себя чистыми и съ презрѣніемъ смотрять на другихъ, но на самомъ дълъ они святы только чужими гръхами. Они видять въ себъ благодътелей рода человъческаго, а въ дъйствительности они потому сдёлали своимъ орудіемъ зло. что неспособны произвести ничего добраго. Они выбрали тотъ путь, который съ наименьшими требованіями и съ наибольшею легкостью можеть удовлетворять ихъ самолюбію, ихъ жаждъ проявлять себя. Поэтому величайшія душевныя гадости могуть уживаться съ нигилизмомъ; для совершенія того, что они считають своими геройскими подвигами, часто достаточно одной тупости, и во всякомъ случай требуется только звириная хитрость и ненасытное злорадство. Истинно-благородная душа должна чувствовать къ деламъ этого рода глубокое отвращение.

Нѣтъ, это безуміе имѣетъ своимъ источникомъ не любовь къ людямъ, которую оно осмѣливается писать на своемъ знамени, а именно безсердечіе, отсутствіе истиннаго чувства добра, нравственную слѣпоту. Это не живое, теплое стремленіе сердца, а напротивъ, отвлеченная ожесточенность, холодный, головной порывъ. Вотъ почему это безуміе встрѣчается въ крайней степени только у молодыхъ людей, когда сердце еще не выросло, а голова и самолюбіе уже распалены, когда настоящая жизнь и настоящія человѣческія отношенія еще певѣдомы, когда человѣкъ еще эгоистиченъ и безжалостенъ, какъ малый ребенокъ, а между тѣмъ несетъ себя высоко и воображаеть себя призваннымъ для распоряженія судьбою другихъ людей.

Острыя формы этой бользни поражають, какъ извъстно, только людей недозрълыхъ; но согласитесь, что въ общихъ своихъ чертахъ и въ болве мягкихъ формахъ эта самая зараза у насъ распространена во всёхъ слояхъ общества, кром' иростаго народа. И въ этомъ-то наша главная бъда и опасность. Бользнь постоянно поддерживается тыми самыми людьми, которые приходять въ непритворный ужасъ отъ злокачественныхъ ея проявленій. Весь умственный складъ нашей интеллигенціи, даже той, которая далека отъ прямаго нигилизма, направленъ однако въ его сторону; нигилисты часто имъють полное право говорить, что они только последовательное другихъ, только доходять до крайнихъ выводовъ изъ тъхъ началъ, какія ежедневно проповъдуются съ каеедръ и проводятся въ печати. Жизнь, конечно, ръдко посл'вдовательна; люди съ самыми дурными началами часто не видять законныхъ следствій этихъ началь, и сами ведуть себя совершенно по другимъ началамъ, о которыхъ не догадываются. Но, если дурныя начала существують, то они наконецъ должны обнаруживать и свое дурное дъйствіе. Мы совершенно въ правъ осуждать сердце и душу людей, поддавшихся этому действію, но не имемъ права не видёть ихъ последовательности; напротивъ, намъ следуетъ изучать эту логику, чтобы добраться и до тъхъ первыхъ посылокъ, которыя она принимаеть за исходныя точки.

Гордость просвищениемъ есть безъ сомнина общая черта нашего времени, а не свойство однихъ нигилистовъ. Конечно, очень дикое явление представляетъ недошедший до конца курса гимназистъ, уже съ презринемъ смотрящий на все окружающее и видящий во всей истории, и даже въ томъ, что было десять лить назадъ, уже темную, невижественную старину. Но разви онъ самъ додумался до этой гордости? Онъ ее всосаль изъ разгово-

ровъ своихъ наставниковъ; онъ ее заимствовалъ изъ какихъ-нибудь книгъ, имѣющихъ притязаніе на свѣжую современность, изъ Бокля, изъ Голоса, изъ первой попавшейся популярной брошюры. Ученая и литературная гордость разрослась въ наше время до чрезвычайности и проникла всюду.

Самоувъренный молодой человъкъ начинаетъ тъшить свой умъ упражненіями въ отрицаніи; онъ отрицаетъ тъмъ легче и смълье, чъмъ меньше понимаетъ; онъ, какъ болтливый ребенокъ, безпрерывно задаетъ вопросы, которыхъ правильная постановка и настоящій смыслъ ему не по силамъ, и очень доволенъ нельпостію, которая изъ этого выходитъ. Но развъ онъ виновать? Его, можетъ быть, съ пяти лътъ кто-нибудъ старался обучить самостоятельному мышленію и увърялъ, что до всего слъдуетъ доходить своимъ умомъ; если же этого не было, то и въ школъ, и въ университетъ онъ непремънно услышитъ, что отрицаніе есть великая сила, заправляющая прогрессомъ цивилизаціи, и тому подобное.

Точно такъ, политическое честолюбіе, непремѣнное желаніе быть дѣятелемъ на поприщѣ общаго блага, есть одна изъ самыхъ распространенныхъ чертъ нашего времени. На человѣка, удаляющагося отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ, смотрятъ почти съ презрѣніемъ; свой умъ и свое благородство мы больше всего стремимся показать горячимъ вмѣшательствомъ въ государственные и соціальные вопросы.

Говорить ли, къ чему сводится это вмѣшательство? Нескончаемое злорѣчіе, повальное злорадное охужденіе вотъ занятіе просвѣщенныхъ людей. Люди умные и опытные конечно ведутъ себя при этомъ прекрасно: они тѣшатся злорѣчивыми бесѣдами, но на практикѣ очень смирны и уживчивы. Но наивный юноша легко можетъ принять дъло серьезно, огорчиться и озлобиться на самомъ дълъ.

Не подумайте, что я здёсь говорю только объ Россіи; то же самое делается во всей Европе. Вся Европа жаждеть прогресса и увърена въ скоромъ наступлени лучшихъ временъ. Наше время считается переходнымъ и твердо признается, что мы живемъ не въ нормальномъ положеніи. А что прогрессъ совершается революціями, это доказывается всемірною исторією. Поэтому политическія преступленія собственно не считаются преступленіями и караются какъ бы только изъ приличія. Общество невольно чувствуеть, что эти преступники составляють его собственное порождение и что часто они только выполняють на дёлё уб'ёжденія, съ которыми многіе другіе носятся всю жизнь, не приводя ихъ въ исполненіе, - причемъ свое бездійствіе эти несчастные не умъють ничьмъ и объяснить себъ, кромъ собственной подлости.

При такомъ общемъ направленіи мивній и чувствъ, понятно происхожденіе нигилистовъ, понятно, что они должны постоянно вновь нараждаться и илодиться, и что, подвергаясь преслъдованію правительствъ и карѣ законовъ, они не могутъ не встрѣчать въ интеллигенціи нѣкотораго сочувствія и оправданія. И этотъ ходъ дѣлъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не вступять въ силу другія начала, могущія измѣнить настроеніе умовъ и дать всей нравственной жизни иное направленіе. Эти начала конечно существують; но они заглохли или затерялись среди общаго могущественнаго потока европейскаго просвѣщенія. И люди не образумятся и не отрезвятся до тѣхъ поръ, пока не изживумъ своихъ нынѣш-

нихъ понятій, пока на дѣдѣ, на жизни не испытаютъ того, къ чему ведутъ ихъ теперешнія желанія. Поэтому можно предвидѣть впереди великія бѣдствія, страшныя потрясенія; люди долго будутъ слѣцы и не будутъ внимать самымъ яснымъ урокамъ, самымъ горькимъ опытамъ.

#### письмо третье.

Шаткость всёхъ понятій.—Вёковёчныя начала.—Счастливое время.— Мечтательность и дёйствительность.—Новое божество — прогрессъ.— Внутреннее противорёчіе.—Жажда страдальчества.—Замёна религіи.— Идеальная потребность. — Цёль освящаеть средства. — Неизбёжныя бёдствія.

Кажется, всего поразительные въ наше время—*шат-*кость всыхъ понятій, странное (и въ сущности страшное) отсутствіе полной, твердой увыренности въ какихъ
бы то ни было началахъ, научныхъ, нравственныхъ,
политическихъ, экономическихъ.

Наше время, считающее себя просвищенний шимъ изъ всихъ временъ, кажется, ничего не признаетъ за незыбдемую, виковичную истину. Такой скептицизмъ даже прямо возводится въ принципъ: "да", говорятъ, "мы сегодня думаемъ такъ и такъ, но прогрессъ идетъ, человичество движется впередъ, и какъ знать? Что сегодня мы считаемъ истиною, завтра окажется ложью, что признаемъ за добро, то можетъ быть завтра признаемъ за зло".

Это колебаніе, это отверженіе твердых точек опоры простирается рѣшительно на все, не только на философію, исторію, науку права, политическую экономію, но и на то, что называется точными науками, на тѣ естественныя науки, которыми всего больше гордится

наше время, въ которыхъ оно нашло, повидимому, наилучшее, самое блистательное поприще для человъческаго
ума. Не могу забыть, какъ, разсуждая съ однимъ знаменитымъ химикомъ, я услышалъ отъ него, что онъ
ожидаетъ нахожденія фактовъ, которые могутъ опровергнуть и законъ сохраненія вещества и законъ сохраненія силы. Мое изумленіе было безмърно: что же
есть твердаго во всъхъ наукахъ о природъ, если даже
эти истины не окончательно тверды? И гдѣ же искать
незыблемыхъ познаній, если и здъсь нътъ ничего незыблемаго?

Сказать ли прямо мое уб'вжденіе? Мн'в кажется, нашъ въкъ глубоко ошибается, исповъдуя такой скептицизмъ, такое отсутствіе в'яков'ячных началь и въ жизни природы и въ жизни человъческой. Они есть, эти начала, они дъйствуютъ и дъйствовали искони, и непреклонное ихъ могущество не можеть быть сломлено никакою силою, никакимъ прогрессомъ. Нашъ въкъ впалъ въ большое легкомысліе, не признавая основъ мірозданія, вообразивъ, что можно ихъ замвнить чвмъ-то другимъ, или передвлать, усовершенствовать. И онъ несомнино будеть наказанъ за свое легкомысліе. Люди віка теперь образують два отдёла: одни смутно тоскують, чувствуя, что чего-то не достаетъ въ жизни, нътъ ни единой твердой точки подъ ногами; другіе, наиболе бодрые, играютъ, какъ бы радуясь, что не на что опереться, и строять разные воздушные замки прогресса, смотря по своимъ вкусамъ и желаніямъ. Нашъ въкъ безъ сомньнія нужно считать сравентельно спокойнымъ и счастливымъ временемъ, въ которомъ надъ множествомъ людей дъйствительность тяготъеть очень слабо. Пользуясь существующимъ порядкомъ, можетъ быть очень несовершеннымъ и дурнымъ, но имъющимъ то достоинство, что это не мнимый, а реальный порядокъ, - пользуясь имъ, мы можемъ свободно предаваться мечтамъ, воображать себя очень умными и доблестными, достойными величайшихъ благъ, критиковать этотъ самый порядокъ, относиться къ нему съ строжайшею требовательностію и даже отвращеніемъ, и строить въ своей фантазіи новыя человъческія отношенія, въ которыхъ не будеть золъ, насъ огорчающихъ. Такія занятія очень пріятны и завлекательны: но они не могутъ продолжаться безъ конца. По всегдашнему требованію души челов'вческой, люди будуть искать деятельности, будуть такъ или иначе пытаться воплощать свои понятія. И какъ только они выступять въ жизнь, такъ и начнутся разочарованія, тъмъ болъе горькія, чъмъ слаще были мечтанія. Все то, что отрицалось и подвергалось сомнънію, всь дъйствительныя силы и свойства міра человіческаго, заявять свою непобъдимую реальность. Вдругъ обнаружатся истинныя душевныя качества людей, признававшихъ за собою Богъ знаетъ какія высокія достоинства. Пропов'єдники терпимости и гуманности вдругъ окажутся нетерпимъйшими фанатиками, отрицатели авторитетовъ — рабол впными поклонниками какихъ нибудь новыхъ идоловъ, противники войны и казни-жестокими и кровожадными преследователями, либералы-властолюбцами и притеснителями, словомъ-души явятся въ ихъ настоящемъ, давно извъстномъ видъ. Для разрушенія у людей хватитъ силъ; найдется до вольно ненависти и дурныхъ инстинктовъ, чтобы до конца расшатать созданія многихъ в'вковъ. Но когда придется созидать новое, окажется, что это вовсе не такъ легко, какъ представлялось мечтателямъ, что все ихъ остроуміе - пустая игра фантазіи, и они, измученные и отрезвѣвшіе, прибѣгнутъ наконецъ къ какой нибудь изъ давнишнихъ формъ общежитія, которую нѣкогда гордо отвергли, и которую будутъ всѣми силами возобновлять для своего спасенія.

Вотъ какой прогрессъ можно предвидътъ; если мы идемъ въ лучшему, то это лучшее состоитъ только въ нашемъ излъчени отъ скептицизма и мечтательности; но мы дорого заплатимъ за это излъчение.

Было бы великимъ дёломъ, если бы кто нибудь научиль нась не ждать другаго прогресса, если бы мы могли, такъ сказать, теоретически уразумъть то, что заставить насъ признать горькій опыть. Но это невозможно; еще ни въ какое мечтательное время въра въ прогрессъ не была такъ сильна, какъ въ наше; это новый богь, которому приносятся кровавыя жертвы и и подъ торжественную колесницу котораго бросаются люди, когда думають, что по ихъ раздавленнымъ теламъ легче и скоръе пойдетъ движение колесъ. Потому что въдь таковъ настоящій смыслъ производимаго ими террора, убійствъ, пожаровъ, взрывовъ и всякаго тайнаго зла, какое только можно придумать. Они, анархисты, думають, что чёмъ хуже, тёмъ лучше, что нужно способствовать прогрессу всёми силами и всёми средствами, что это есть лучшій подвигь и высшее назначеніе человъка, что за разрушениемъ должно послъдовать обновленіе, новая лучшая жизнь, новый періодъ человічества.

Просвъщенные люди часто любять вспоминать инквизицію, какъ ужасный примъръ того, до чего можеть довести фанатическое суевъріе; но теперь оказывается, что противники всякаго фанатизма и суевърія сами способны доходить до ужасовъ, равняющихся ужасамъ инквизиціи, и доходять до нихъ, загораясь новымъ, такъ сказать обратнымъ фанатизмомъ, обратнымъ суевъріемъ. Природа беретъ свое, и того, что легко отрицать на словахъ, невозможно избъжать на дълъ.

Трудно высказать всю мѣру того внутренняго противорѣчія, той вопіющей душевной путаницы, въ которой живеть современный человѣкъ, и которая могла бы его замучить, еслибы она только сознавалась, если бы эти поклонники разума и критики не были въ сущности легкомысленны и слѣпы, какъ малыя дѣти.

Вотъ мы отвергли религію, мы съ торжествомъ и гнъвомъ преслъдуемъ каждое ея обнаружение. Но въдь душу, разъ пріобщившуюся этому началу, уже поворотить назадъ нельзя; мы откинули религію, но религіозности мы откинуть не могли. И вотъ, люди, видящіе всъ идеалы въ земныхъ благахъ, стремятся къ отреченію отъ этихъ благъ, къ самоотверженію, къ подвижничеству, къ самопожертвованію. Разумные люди, реалисты, отвергнувшіе всякіе мнимые страхи и узы, умінощіе повидимому разр'вшить очень просто всякій житейскій узель, вдругь начинають чувствовать потребность на что-то жаловаться, отъ чего-то сокрушаться и находить себя несчастными. Достакта, безопасности, спокойной работы, этихъ по ихъ собственному мивнію лучшихъ цілей жизни, никто не хочеть; напротивь, безпрестанно являются люди, которые хотять быть страдальцами, мучениками, и, за неимъніемъ дъйствительныхъ страданій, придумывають себъ мнимыя, за неимъніемъ наличныхъ бъдъ, нарочно лъзутъ въ бъду, въ которую ихъ никто не тянулъ.

Отчего же это? Да очевидно отъ того, что здоровье, свобода, матеріальное обезпеченіе, работа—все это вздоръ передъ тайными требованіями ихъ души; душъ человъ-

ческой нужна иная пища, нуженъ идеалъ, которому можно было бы жертвовать всёмь, за которой бы можно было умереть. Если нътъ у насъ такой высшей цъли. которой бы можно служить беззав'ятно, передъ которою ничтожна земная жизнь, то намъ, христіанамъ по воспитанію, против'ють заботы о личных благахь и удобствахъ, намъ становится стыдно нашего благополучія и намъ легче чувствуется, когда мы терпимъ бѣду и обиду, чемъ когда насъ ничто не тревожитъ. Поэтому революціонеръ напрасно думаетъ, что его мучить земля мужиковъ, или ихъ тяжкія подати; все это и подобное-не столько настоящая причина, сколько предлогь для мученія, для того душевнаго изворота, которымъ заглушается пустота души. Роль страдальца очень соблазнительна для нашей гордости; поэтому, за неимѣніемъ своихъ печалей достойныхъ этой роли, мы беремъ на себя (разумвется мысленно) чужія страданія, и этимъ удовлетворяемся. Высокоумный революціонеръ не зам'ячаеть. какъ онъ въ сущности обижаетъ бъдныхъ мужиковъ: имъ въдь онъ даеть въ удъль только матеріальныя нужды и страданія, онъ только въ этомъ отношеніи плачеть объ нихъ; себъ же выбираетъ долю возвышеннаго страдальца, трагически волнующагося объобщемъ благъ. Онъ не знаеть, несчастный, что эта мудрость самоотверженія, до которой онъ додумался и которую извратиль, знакома этимъ мужикамъ отъ колыбели, что они ее сознательно исполняютъ на дълъ всю свою жизнь, что они твердо и ясно знають то высшее благо, безъ котораго никакая жизнь не имфеть цены и о которомъ безсознательно тоскують просвъщенные люди. Вокругъ насъ безконечное море этихъ мужиковъ, твердыхъ, спокойныхъ, ясныхъ, знающихъ, какъ имъ жить и какъ умирать. Не мы, а они

счастливы, хотя бы они ходили въ лохмотьяхъ и нуждались въ хлѣбѣ; не мы, а они истинно-мудры, и мы только по крайней своей глупости вообразили, что на насъ лежитъ долгъ и внушить имъ правильныя понятія о жизни, и обратить эту жизнь изъ несчастной въ счастливую.

Нельзя вообще не видъть, что политическое честолюлюбіе, служеніе общему благу, заняло въ наше время то мъсто, которое осталось пустымъ въ человъческихъ душахъ, когда изъ нихъ исчезли религіозныя стремленія. Нашъ въкъ есть по преимуществу въкъ политическій; политика, какъ верховное начало, подчиняетъ себъ нынъ все: литературу, науку, искусство, и даже самую религію, насколько ея осталось. Какъ прежде для челов'вка считалось высшею задачей-спасеніе его души, такъ теперь считается — обязанность чёмъ-нибудь содействовать общему благу. Быть общественнымъ делтелемъ-вотъ одна цёль, достижение которой можеть сколько-нибудь удовлетворить современнаго человъка. Иначе онъ будетъ считать себя ничтожнымъ членомъ безсмысленно и безполезно живущей толцы, и не будеть ему никакого утътенія въ его ничтожествъ. Очевидно, тутъ нами движетъ не дъйствительный интересъ, т. е. мы не потому добиваемся общаго блага, что желаемъ имъ пользоваться, что съ его развитіемъ связано и наше частное благо, а д'ыйствуеть въ насъ интересъ идеальный, т. е. мы желаемъ служить чему-нибудь, чтобы не служить одному лишь себъ, чтобы имъть гордое утъшение, что наше собственное благо не составляетъ нашего высшаго интереса. Быть частными человикоми вы полноми смысли этого слованикто не хочеть, хотя всё хлопочуть о благе именно частныхъ людей.

Понятно, какое противорвчие, какое жестокое безпокойство вносится въ жизнь такими стремленіями; политическое волненіе, постепенно охватывающее Европу, вносится въ нее главнымъ образомъ высшими классами, людьми не страдающими, а наиболе пользующимися общими благами нынъшняго могущественнаго государственнаго устройства, но ищущими какого-нибудь исхода для пустоты своей сов'єсти, чувствующими, что нельзя жить, не имъя служенія, не подчиняясь какимъ-нибудь совершенно безкорыстнымъ требованіямъ. Существуеть въ настоящее время огромное, никогда не бывалое на земномъ шаръ множество достаточныхъ, или даже богатыхъ, частныхъ людей, которые не несутъ на себъ почти никакого долга, а живуть лишь для себя, пользуясь твердостію всячески ограждающаго ихъ государственнаго порядка. Такое положение не даетъ никакой пищи для совъсти, и потому многіе изъ нихъ стараются создать себ' долгь и обращають свою душу къ общественнымъ вопросамъ. Самые крайніе и требовательные приходять наконець къ отречению отъ своего класса, отъ выгодъ своего положенія, -и вотъ самый чистый изъ источниковъ соціализма. Соціалистическія ученія и порождены и поддерживаюся не столько твми классами, интересъ которыхъ составляеть ихъ цъль, сколько людьми, для которыхъ этотъ интересъ сталъ идеальною потребностью. Сенъ-Симонъ былъ графъ, Оуэнъ-фабрикантъ, а Фурье-купецъ.

Что же касается до прямыхъ революціонеровъ и анархистовъ, то весь складъ ихъ жизни ясно указываетъ, чёмъ питаютъ они свою совъсть. Ихъ правственный разрывъ съ обществомъ, съ гръховнымъ міромъ, жизнь отщепенцевъ, тайныя сходки, связи, основанныя на отвлеченныхъ чувствахъ и началахъ, опасность и перспектива самопожертвованія,—все это черты, въ которыхъ можетъ искать себ'в удовлетворенія извращенное религіозное чувство. Какъ видно, легче челов'вку поклониться злу, чемъ остаться вовсе безъ предмета поклоненія.

Но какая глубокая разница между настоящею религією и тімь суррогатомь религіи, который въ различныхъ формахъ все больше и больше овладиваетъ теперь европейскими людьми! Челов'якъ, ищущій спасенія души, выше всего ставить чистоту души и потому избъгаеть всего дурнаго. Человікъ же, поставившій себ'я ціль вні себя. желающій достигнуть опредёленнаго внёшняго, объективнаго результата, долженъ рано или поздно прійти къ мысли, что цъль освящаетъ средства, что нужно жертвовать даже совъстію, если того непремънно требуеть явло. Политическая двятельность, если мы возьмемъ всъ ея виды, даеть и вообще большой просторъ страстямъ человъка; тутъ есть мъсто и для вражды, и для честолюбія и для гордости. Но кром'в того, въ этой дъятельности есть, очевидно, неудержимый наклонъ ко яжи и къ преступленію. Это поприще такъ скользко въ этомъ отношении, что люди осторожные боятся выходить на него, и что на немъ охотнъе подвизаются ть, кто болье развязень. Журналисть и политик сдъдались почти синонимами обманщика, и ни за какого революціонера нельзя ручаться, что изъ него не выйдеть преступникъ.

Туть есть своя последовательность, своя логика. Если даже въ религіозной сфере могло возникнуть ученіе, что грёхи нужны, чтобы возможно было покаяніе, то въ политической сфере, какъ скоро она поставила себя выше всёхъ другихъ сферъ человеческой жизни, ничто не мог-

ло препятствовать выводу, что успѣхъ все оправдываетъ, что для него, какъ для высшаго блага, всѣ средства позволительны. Поэтому совѣсть Европы не находитъ въ себѣ основъ для причисленія политическихъ преступленій къ настоящимъ преступленіямъ, и злодѣевъ этого рода не умѣетъ отличить отъ героевъ.

Таковы ніжоторыя черты нравственнаго состоянія нашего въка. Онъ представляетъ чрезвычайно странное явленіе душевнаго разлада; жизненныхъ силъ въ немъ больше чёмъ когда-нибудь, но онъ потерялъ реальное поприще для ихъ удовлетворенія и бросается на фальшь, на призраки. Потребность действовать и жертвовать въ немъ иногда даже сильнее, чемъ потребность верить, и потому онъ жертвуеть даже тому, во что почти не върить. Деятельность кипить, безъ ясныхъ целей, безъ опредъленныхъ идеаловъ; онъ обманываетъ самъ себя, чтобы только дать просторъ своимъ страстямъ, но изъ мнимо-добрыхъ стремленій выходить зло, и будеть выходить все больше и больше, пока цёлый рядъ бъдствій не заставить людей опомниться и прекратить наконецъ эту недостойную игру. Рано или поздно люди принуждены будуть вернуться къ реальнымъ началамъ человъческой жизни, забытымъ и глохнущимъ среди нашего прогресса и просвъщенія.

18-го апр.

### письмо четвертое.

Истинное просвъщеніе.— Прогрессь. — Современная нравственность. —Добродътели временъ упадка. — Растравленіе эгоизма. — *Влаженны иншіе*. — Ненависть. — Проповъдь борьбы. — Слова В. Гюго.

Конечно, мы достигли бы наилучшаго успъха въ нашемъ просвъщеніи, если бы у насъ изъ всъхъ учебныхъ заведеній юноши выходили съ твердымъ сознаніемъ, что они еще большіе невъжды, что имъ нужно еще много и долго трудиться, чтобы достигнуть степени истиннопросвъщеннаго человъка, и что большинству изъ нихъ вовсе не суждено достигнуть этой степени. Тогда можно было бы сказать, что этихъ юношей основательно учили, и что они правильно понимають, что они такое въ дъйствительности.

Точно также, было бы благотворнъйшею перемъною въ умахъ, если бы наши молодые и зрълые люди стали питать убъжденіе, что прогрессъ есть большею частію предразсудокъ, что если въ человъчествъ и совершается нъкоторый существенный прогрессъ, то по своей медленности онъ не можетъ быть ясно опредъленъ, и иногда даже не можетъ быть замъченъ, что всяческое зло, физическое, правственное, историческое, принимаетъ только различныя формы, но свиръпствуетъ въ насъ и всюду вокругъ насъ такъ же, какъ и прежде, что мы не можемъ даже ръшить, идемъ ли мы къ лучшему впереди,

или насъ ожидаетъ въ будущемъ эпоха паденія, бользни, разложенія.

При такихъ мысляхъ, люди не питали бы высокаго мнѣнія о себѣ и о своемъ вѣкѣ, перестали бы смотрѣть сомнительно и надменно на наслѣдіе, завѣщанное намъ прошедшимъ, не стали бы ждать какихъ-то новыхъ чудесъ отъ будущаго, и слѣдовательно чувствовали бы только одинъ долгъ — всѣми силами держаться давнишняго пути добра и истины, не принимая нисколько въразсчетъ прогресса и зная, что безчисленныя усилія безчисленныхъ поколѣній будутъ истощаться въ той же борьбѣ добра и зла, свѣта и тьмы, среди который живемъ и мы.

Das Rechte, das Gute führt ewig Streit, Nie wird ihm der Feind erliegen, \*)

какъ говорить Шиллеръ. Душевная работа должна быть сосредоточена на настоящемъ; тутъ ея главная награда и ея главное достоинство; изъ-за мечтаній о будущемъ, изъ-за стремленія работать для новой эпохи человічества, мы не должны ни на минуту забывать свой долгъ, а еще меньше измінять ему сознательно.

Какъ всёмъ извёстно, обыкновенныя наши настроенія им'єють совершенно обратное паправленіе. Молодые люди у насъ заражаются большимъ высоком'єріємъ, считають себя обладателями какихъ-то удивительно св'єтлыхъ понятій и смотрятъ презрительно на нев'єжественную массу. И не они въ этомъ виноваты; таковъ складъ просв'єщенія нашего времени. Нашъ в'єкъ очень гордится своими познаніями, готовъ вид'єть въ нихъ новую, еще небывалую мудрость и распространяеть ее всёми способами. Онь помёшань на популяризаціи знаній, на сообщеніи готовыхь результатовь, послёднихь словь науки; онь придумываеть всякіе облегченные и упрощенные способы обученія, какь будто трудь мысли, серіозная работа ума есть зловреднёйшая вещь вь мірів, какь будто вся задача образованія—приготовить какь можно больше легкомысленныхь болтуновь, твердящихь самыя модныя научныя слова, но совершенно чуждыхь настоящаго научнаго духа. Вь своей гордости и жаждів поучать нашъ візкь не замівчаеть, что у него все больше и больше исчезаеть идея истиннаго просвіщенія, котораго требованія гораздо серьезніве и глубже, чёмь нынішняя популярная мудрость.

Что касается прогресса, то дело стоить еще несравненно р'интельн'ве. Современный челов'якъ полагаетъ, что живеть какъ-будто на какомъ-то рубежъ, на точкъ поворота. Онъ видитъ во всемірной исторіи собственно только два періода: до настоящей минуты идеть сплошной періодь мрака и зла, а съ нашего времени, или вскор'в посл'в него, долженъ наступить сплошной періодъ свъта и добра. Такой чудесной перемъны современные люди ждутъ не даромъ: они, видите-ли, убъждены не только въ своемъ неслыханномъ просвъщении, но и въ томъ, что они необычайно высоко поднялись въ своихъ нравственныхъ понятіяхъ, что они нашли наконецъ точное разграничение справедливаго и несправедливаго, добра и зла. Нравственные мотивы, какъ всегда, важн'ее всехъ другихъ въ жизни людей; поэтому, именно гордость своими нравственными понятіями побуждаеть современных людей твердо върить, что въ настоящее время, какъ миф случилось прочесть въ одномъ журналъ, совершается

<sup>\*)</sup> Правда и добро ведугъ вычную борьбу; никогда враждебное имъ не оскудетъ.

"побъдоносное шествіе всего человьчества по пути добра, правды и свободы".

Счастливые люди! Представьте только, въ какомъ пышномъ видѣ должна имъ воображаться эта процессія! И какъ легко жить на свѣтѣ, когда человѣкъ знаетъ, что въ сущности дѣло идетъ прекрасно, что этому дѣлу нужно только помогать, а можно вѣдь обойтись и безъ помоганья!

Эти гордыя притязанія, это наивное самодовольство составляють однако же жестокую ошибку, жестокій предразсудовъ, тімь боліве странный и даже возмутительный, что каждый изъ насъ, уже въ силу своего христіанскаго воспитанія, должень бы быль глубоко чувствовать свое нравственное несовершенство. Современное нравственное состояніе людей должно бы намъ являться темнымъ и низменнымъ въ сравненіи съ тімь высокимъ идеаломъ добра, чистаго подвига, сілющей душевной красоты, который внушается намъ повидимому съ дітства. Віроятно человічество глубоко извратилось, если оно уже не видить этого идеала, уже смотрить на его проповідь какъ на пустыя слова и фразы; только потому оно и можеть иміть дерзость гордиться какимъ-то новымъ пониманіемъ человіческихъ обязанностей.

Въ чемъ состоятъ пресловутыя современныя добродѣтели? Гуманность, состраданіе, снисходительность, вѣжливость, терпимость,—всѣ добродѣтели временъ упадка и эпохъ разложенія составляютъ главвую принадлежность современнаго душевнаго благородства. При этомъ вовсе забывается, что эти качества, безъ сомнѣнія очень хорошія, никакъ не имѣютъ абсолютной цѣны, и что ихъ необходимо дополнять другими качествами, несравненно высшаго достоинства. Что значитъ, напримъръ, религі-

озная терпимость? Одинъ терпимъ потому, что пламенно въритъ въ свою религію, что надъется на всепобъдную силу этой своей истины и не можеть видъть въ насиліи средства для духовнаго дъла. А другой терпимъ потому, что для него всѣ религіи вздоръ, и онъ готовъ предоставить каждому заниматься какимъ ему угодно изъ этихъ вздоровъ. Только первый есть настоящій сторонникъ терпимости; у него есть для нея основаніе; у втораго же терпимость фальшивая и сейчасъ же исчезнеть, какъ скоро дъло дойдеть до серьезнаго, до того, чего онъ не считаетъ вздоромъ.

Точно такъ, снисхождение и прощение чужихъ слабостей вовсе не должны быть основаны на признании порока за пустяки, а напротивъ должны сопровождаться отвращениемъ къ пороку и движениемъ любви къ несчастному ближнему. Иначе мы будемъ походить на воровъ и распутниковъ, которые вёдь всегда снисходительны къ другимъ ворамъ и распутникамъ.

Вообще, требуется усердное служеніе нікоторымъ попожительнымъ идеаламъ, ясныя требованія опреділеннаго строенія человіческой жизни, и затімъ уже мы
можемъ свободно сострадать людямъ, сносить ихъ недостатки, потому что знаемъ, во имя чего это ділаемъ, и,
мирясь съ людьми, никогда не помиримся съ пороками.
Въ настоящее же время, мы сильны только въ отрицательныхъ добродітеляхъ; всякіе правы, которые очень
дороги даже когда очень несовершенны, между нами
разрушаются; мы направляемъ всі усилія только къ
тому, чтобы какъ можно меньше мізшать другь другу;
идеалъ общества какъ будто состоитъ въ томъ, чтобы
страстямъ каждаго дать возможно-большій просторъ,
чтобы величайшій негодяй, не знающій ни стыда ни со-

въсти, но не нарушающій юридическаго закона, могъ бы считать себя вполнъ правымъ членомъ общества.

Интерест каждаго частнаго лица, независимость его дъйствій — вотъ главныя темы нашей проповъди; мы всъми способами растравляемъ эгоизмъ въ сердцахъ людей, какъ будто онъ недостаточно сильно заложенъ въ нихъ природою. Мы не видимъ, какое отсюда должно произойти последствіе. Эти люди будуть прекрасно практиковать всв наши любимыя добродетели, взаимную гуманность, состраданіе, снисходительность, в'яжливость, терпимость, но будуть ихъ практиковать только до тъхъ поръ, пока все спокойно, пока не затронуты ихъ интересы, пока ихъ страсти не разгорълись дальше извъстной границы. Когда же это случится, то они, не имбя въ душт никакого положительнаго балласта, тотчасъ потеряють равновъсіе, обратятся къ свъту другою стороною и явятся такими нетерпимыми, жестокими, кровожадными, неумолимыми, какъ никогда еще и не бывали люди. Такъ ихъ воспитываетъ нашъ въкъ, и онъ рано или поздно пожнетъ плоды этого воспитанія.

Странно видёть, напримёръ, что проповёдуется всякая терпимость и безобидность, но что никто не проповёдуеть безкорыстія. Напротивь, нашъ вёкъ готовъ возвести въ принципъ, что благополучіе человёка опредёляется его имуществомъ, числомъ рублей въ его карманѣ, что равноправность въ сущности должна совпадать съ равенствомъ имуществъ, или, по крайней мёрѣ, что высшая справедливость состояла бы въ надёленіи каждаго числомъ рублей, пропорціональнымъ его достоинствамъ и заслугамъ. Блаженны нищіс, сказано въ одной книгѣ; эти слова стали въ настоящее время совершенно непонятными, а многимъ покажутся чуть ли не безправ-

ственными. Однако же несомивнно, что нельзя быть спокойнымь и довольнымь тому, кто непременно требоваль бы себе имущества, соответственнаго своимь заслугамь и достоинствамь, или не могь бы вынести зредища чужаго случайнаго богатства. Но мы, проповедуя нашу гуманность, преспокойно разрешаемь людямь своекорыстіе и зависть, и не замечаемь, что наша односторонняя проповедь не устраняеть дурныхь настроеній, и потому не содержить никакихь задатковь спокойствія и благополучія.

Такъ и во вебхъ ходячихъ правилахъ нравственности есть подобный же пропускъ, есть тайно подразумъваемое разрѣшеніе на чувства и стремленія вполнѣ безиравственные. Современная нравственность представляеть сплошь нівкоторую сділку съ человіческими страстями; она всемъ имъ даетъ выходы и поприще, только обставляя ихъ различными условіями, и наивно воображая, что страсти, развивающіяся и созрѣвающія при этомъ покровительствъ, не сбросятъ когда-нибудь этихъ условій и не пойдуть по своимъ собственнымъ законамъ. Въ сущности, наша жизнь держится пока старою нравственностію, безсознательно живущею въ душахъ; поэтому, въ жизни частныхъ людей еще много хорошаго, много добрыхъ нравовъ; но тамъ, гдф дъло становится сознательнымъ, въ публичной жизни, въ литературъ, отражающей въ себъ сознательный смысль понятій общества, наша нравственность обнаруживается въ такихъ чертахъ, которыя, съ совершенно строгой точки зрёнія, нужно признать отвратительными.

Мы не говоримъ о безпрерывной клеветъ, лжи, тщеславіи и т. п. Эти явленія даже и нынъ все еще не прощаются, по крайней мъръ не проходять вовсе незамфченными. Но есть другія, которыя обыкновенно не замѣчаются. Въ любомъ ежедневномъ листкъ вы встрътите, подъ всегдащнимъ предлогомъ радънія объ общемъ благъ, всъ черты не только совершенной холодности и бездунгія, но и прямаго недоброжелательства, злорадства, ядовитой ненависти. Въ такомъ неприличномъ видъ казалось бы совъстно людямъ и являться въ публику; но писатели знаютъ своихъ читателей, знають что этимъ именно они заслужать общее одобреніе, что читатели будуть въ восхищенін, вычитавъ въ газетъ такое отчетливое и яркое выражение своихъ собственныхъ чувствъ. Въ этой презринной игри особенно выступаеть на видъ та игра въ ненависть, которая составляеть едва ли не самый серіозный элементь періодической литературы. Нашъ в'якъ, кажется, такъ богать ненавистью, какъ никакой другой. Всякій общественный интересъ, вслкій предметъ публичныхъ обсужденій обращень въ наши дни въ поводъ къ ненависти. Напримъръ, чувство національности, это высокое и сладкое чувство, не имбетъ характера любви, составляющаго его сущность, а обращено почти исключительно въ поводъ раздора и злобы. Въ прошломъ въкъ, и еще въ началъ нынъшияго, пнородецъ могъ безъ всякаго неудобства жить въ чужомъ по племени государствъ, зная, что надъ различіемъ по національности стоятъ другіе высніе принципы, заправляющіе сожительствомъ людей. А нын'в скоро діло дойдеть до того, что человікь одного племени будетъ считать своими прирожденными врагами всёхъ людей другихъ племенъ. Мы, Русскіе, кажется еще не утратили нашей известной терпимости къ инородцамъ, но мы невольно заражаемся твмъ нарушеніемъ спокойнаго настроенія, признаки котораго появляются у нашихъ инородцевъ. И тутъ, какъ и во всёхъ другихъ областяхъ, нашъ вёкъ проповёдуетъ не гармоническое воздёйствіе, не мирное соревнованіе, а прямо борьбу, и лучшею, плодотворнёйшею считается борьба кровавая, битва на смерть. Тысячи газетъ десятки л'єтъ ежедневно подстрекаютъ ненависть своихъ читателей по тому или другому вопросу, и нужно признать въ людяхъ большой запасъ доброты, видя, что эти подстрекательства такъ долго не приводятъ ихъ къ кровавой раздёлкъ между собою. Впрочемъ, можетъ быть не долго ждать, когда, напримёръ Франція и Германія вооружатъ, по нынёшней системѣ военной службы, всёхъ, кто способенъ носить оружіе, и пойдутъ не войною, а пашествіемъ другъ на друга. Можно указать и на другія, очень вёроятныя нашествія.

Таковъ нашъ въкъ. Викторъ Гюго сказалъ по этому поводу одно изъ своихъ блистательныхъ словъ, которое кстати здъсь привести. Въ 1878 году онъ открывалъ своею ръчью Международный литературный конгрессъ и въ концъ ръчи выразился такъ:

"Господа, мы здёсь среди философовъ, воспользуемся "случаемъ, не будемъ стёсняться, станемъ говорить исти"ны. Вотъ вамъ одна истина, странная истина. У чело"въчества есть болёзнь, ненависть. Ненависть — мать
"войны: мать гнусна, дочь ужасна".

"Воздадимъ же имъ ударъ за ударъ. Ненависть къ не-"нависти! Война противъ войны!"

"Знаете ли вы, что такое это слово Христа: любите "друга друга? Это—всеобщее разоруженіе. Это—исціленіе "рода человіческаго. Истинное искупленіе—есть именно "это. Любите. Легче обезоружить своего врага, протянувъ "ему руку, чімъ показавъ кулакъ. Этотъ совіть Іисуса

"есть пов'вленіе Бога. Онъ хорошъ. Мы его принимаемъ. "Что касается до насъ, мы—на сторонъ Христа. Писа-"тель на сторонъ апостола; тотъ, кто мыслитъ, на сто-"ронъ того, кто любитъ".

Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ соображеній и восклицаній (мы не станемъ дѣлать замѣчаній, на которыя они напрашиваются), Гюго въ заключеніе сказалъ:

"Господа, одинъ Римлянинъ прославился неподвижною "идеею; онъ говорилъ: разрушимъ Кареагенъ. У меня "тоже есть мысль, которою я одержимъ, именно вотъ "какая: разрушимъ ненависть! Если человъческія писанія "имъютъ какую-нибудь цъль, то именно эту \*)".

Такъ провозглащалъ Гюго во всеуслышание свъта, передъ собраниемъ писателей, съъхавшихся со всъхъ концовъ земли. Слова его замъчательны потому, что онъ человъкъ въ высшей степени передовой и прогрессивный; онъ могъ бы остановиться на многихъ предметахъ достойныхъ обличения; но онъ, очевидно, нашелъ, что ненависть составляетъ самое явное и жестокое зло во всемірной литературъ, а слъдовательно и въ нравственномъ настроени образованнаго міра.

Само собою разум'вется, что мысль его, какъ слишкомъ далекая отъ господствующихъ понятій, не могла найти и не нашла никакого отзыва. \*\*\*)

30 Апр. 1881.

## приложеніе.

# ГЕРЦЕНЪ О ПАРИЖЪ.

По случаю всемірной выставки (1867 г.) французы составили препухлую и пребезобразную книгу, подъ названіемъ "Paris Guide". Два тома, тысячи по двъ страницъ. Тутъ много диковинокъ, въ родъ того, что французские крестьяне отнесены въ отдълъ иностранцевъ, или того, что психологія есть кокстство души, разсматривающей самос себя. Но всего интересиве для насъ статья Герцена подъ названіемъ: Русская колонія. Читатели, в'вроятно, знають объ этой стать в изъ некоторыхъ отзывовъ; но эти отзывы, внушенные чувствомъ щекотливости, весьма понятнымъ и весьма законнымъ въ своемъ источникъ, намъ показались невполн' справедливыми. Намъ показалосьне любопытное ли дъло? — что статья Герцена внушена на сей разъ весьма хорошими сердечными движеніями, что въ ней слышна, наприм'єръ, злость на приглашение писать о русскихъ, сдёланное въ явномъ расчеть на его враждебность къ Россіи, что въ силу этой злости, онъ, въ остроумнъйшей замаскировкъ, вставилъ въ свою статью нъсколько самыхъ жестокихъ шпилекъ и Франціи, и Парижу, и даже полякамъ. Кром'в того,

<sup>\*)</sup> Victor Hugo. Discours d'ouverture du congrès littéraire international. Paris, 1878, p. 13, 15.

<sup>\*\*)</sup> Въ концъ книги есть добавление къ этой страницъ.

статья такъ интересна по своему содержанію, именно такъ хорошо характеризуеть разные фазисы нашего умственнаго отношенія къ Европ'в, что достойна нетолько чтенія, но и запоминанія. Мы переведемъ ее вполн'в.

Предметь, или лучше сказать, предлогь статьи такой: Герценъ отказывается писать; но посмотрите, какъ много сказано подъ этой фигурой умомианія:

"Любезный другь, вы меня берете за вороть очень "безцеремонно, какъ жандармъ... Я—нагорно прозябаю въ "Швейцаріи, ничего дурнаго у меня нѣть на умѣ, и вдругъ "вы меня останавливаете: ваши бумаги, милостивый го-"сударь?—Какія бумаги?—Эскизы, очерки карандашомъ, "углемъ, перомъ. — Очерки чего?—Да русскихъ въ Па-"рижъъ...

"Но, любезный другь, вы все забыли, за исключеніемъ "меня самого. О чемъ же это вы думаете? Я не знаю "ни современныхъ русскихъ, ни перестроеннаго Парижа. "У меня есть только воспоминанія, засохшіе цвёты, ри"сунки, на половину стершіеся, на половину лишенные "интереса.

"Знаете ли вы, что воть уже двадцать льть, какъ "я, благочестивый пилигримь Сѣвера, въ первый разъ "входилъ въ Парижъ, и что воть уже пятнадцать льть, "какъ его климать сталъ для меня вреденъ?

"Да, это было въ мартъ 1847 года; я открылъ старое "и тяжелое окно отеля du Rhin и вздрогнулъ: передо "мною на колоннъ былъ бронзовый человъкъ

> Подъ шляной съ насмурнымъ челомъ, Съ руками сжатыми крестомъ.

"Такъ это правда, это дъйствительность — я въ Па-"рижъ — въ Парижъ! И вся кровь бросилась миъ въ "голову. "Существуетъ чувство, которое незнакомо парижскимъ "аборигенамъ, имъ, испытавшимъ все до утомленія, то "чувство, которое мы испытывали, вступая въ первый "разъ въ Парижъ. Съ самаго дътства, Парижъ былъ для "насъ нашимъ Іерусалимомъ, великимъ городомъ рево-"люціи, Парижемъ же-де-пома, 89 года, 93 года.

"Берлинъ, Кельнъ, Брюссель—недурно ихъ посмотрѣть, "но можно обойтись и безъ этого. Но какъ только мы "были въ Парижѣ, мы чувствовали, что прівхали, и спо-"койно принимались развязывать чемоданы. Дальше уже "ничего не было. Даже Лондона не знали въ эти бла-"женныя времена. Лондонъ былъ открытъ только со вре-"мени выставки 1852 года".

Таково было наше отношеніе къ Парижу и Франціи въ сороковыхъ годахъ, во время наибольшей силы западничества; это было поклоненіе, доходившее до благоговънія и до полнаго уничиженія самихъ себя. Авторъ нарочно выставляетъ дѣло со всею рѣзкостію, для того, чтобы показать, что нынѣ Парижъ уже утратилъ свое обаяніе и, конечно, утратилъ по собственной винѣ. Разумъется только, что въ книгѣ, назначенной для прославленія Парижа, подобную мысль нужно было выразить осторожно.

"Съ тѣхъ поръ" — продолжаетъ онъ — "какъ Парижъ "сталъ всемірнымъ городомъ, въ немъ меньше Франціи, "меньше Парижа. Отношенія измѣнились. Онъ сталъ ве-"ликимъ вселенскимъ трактиромъ, караван-сараемъ всей "Европы и двухъ-трехъ Америкъ, и его собственная ин-"дивидуальность распустилась, потерялась въ этой ино-"земной толиъ, которой онъ изъ въжливости даетъ дорогу; "а та беретъ ее.

"Союзники, расположась въ 1814 году биваками на

"Площади Революціи, очень хороно знали, что они были "въ чужомъ городъ. Напротивъ, великая армія туристовъ, "завоеватели желѣзныхъ дорогъ убѣждены, что Парижъ "имъ принадлежитъ, какъ вагонъ, какъ каюта; они ду-"маютъ, что они ему необходимы, что именно для нихъ "онъ наряжается въ новые кирпичи, разрушаетъ свои "историческія стѣны и изглаживаетъ свою исторію.

То есть, прибавимъ, ту самую исторію, передъ которою мы такъ благоговѣли. Затѣмъ авторъ переходить въ частности къ русскимъ:

"Теперь, проходя по Парижу, я не узнаю своихъ "русскихъ; они гуляють съ надмѣнной рѣчью на губахъ, "съ поднятой головою, какъ будто они гдѣ-нибудь въ Ка-"зани или Рязани; они распространяють атмосферу рус-"ской кожи и турецкаго табака, запахъ Сибири и Татаріи, "едва-едва заглушаемый тяжелымъ и наркотическимъ ту-"маномъ Германіи, который, въ свою очередь, наполнилъ "Парижъ. И въ концѣ концовъ, ихъ нельзя не извинить. "этихъ бравыхъ туранщест; все имъ напоминаетъ ихъ лю-"безное отечество: самовары, икра, вывѣски кирилловскими "буквами, возвѣщающія французамъ достоинство китай-"скаго чая".

Ясно, что Герценъ имъетъ въ виду что-то другое, не одну пкру да чай. Въ чемъ тутъ дъло, почему русскіе чувствуютъ себя такъ самоувъренно и спокойно, песмотря на то, что французы считаютъ ихъ нынче туранцами—это сейчасъ будетъ видно изъ противоположности съ прежнимъ временемъ.

"Ничего подобнаго" — говорить авторъ — "въ мое время, "въ 1847 году, не было. Парижъ былъ исключителенъ, "одноязыченъ, нъсколько гордъ, тъмъ болъе, что къ концу "года у него начиналась лихорадка. За то нужно было "видъть почтеніе, благоговъніе, низкопоклонство, удив-"леніе молодыхъ русскихъ, пріъзжавшихъ въ Парижъ. "Вельможи, которые нисколько не стъснялись въ Германіи, "этой передней Парижа, какъ только переступали за черту "города, начинали говорить вы своимъ лакеямъ, которыхъ "колотили въ Москвъ. На другой день, неприступные бо-"яре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе вол-"хвовъ, ухаживали за всъми знаменитостями, все-равно "какого рода и какого пола, начиная отъ Дезирабода, "зубного врача, до Ма-па, пророка".

За темъ, Герценъ переходить къ боле общей характеристике тогдашнихъ отношеній, и язвительно смется надъ тогдашнимъ идолопоклонствомъ русскихъ.

"Самые ничтожные лацпарони литературной Кьяйа, вся-"кій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный кропа-"тель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили предло-"жить ему даже въ десять часовъ утра — редерера или "вдовы Клико, и были счастливы, если онъ принималъ при-"глашеніе.

"Въдняги, они были жалки въ своей маніи удивле"нія. Дома имъ нечего было уважать, кромъ грубой силы
"и ея внъшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому
"молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ
"поражаемъ острымъ идолопоклонствомъ. Онъ впадаль въ
"экстазъ передъ всъми людьми и всъми вещами, передъ
"швейцарами и философіею Гегеля, передъ картинами
"берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и
"Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все
"больше и больше до самаго Парижа. Поиски за зна"менитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ;
"человъкъ, говорившій съ Пьеромъ Леру или съ Бальзакомъ,
"съ Викторомъ Гюго или съ Евгеніемъ Сю, чувствоваль

"что онъ уже не равенъ себъ равнымъ. Я зналъ одного "достойнаго профессора, который провелъ разъ вечеръ у "Жоржа-Занда; этотъ вечеръ, подобно какому-то геоло-"гическому перевороту, раздълилъ его существованіе на "двъ части; это была кульминаціонная точка его жизни, "неприкосновенный капиталъ его воспоминаній, которымъ "завершалась вся его прошлая жизнь, и отъ котораго "брала источникъ настоящая.

"Счастливыя времена этой наивной религіи, этого Не-"roworship (поклоненія героямъ) и великаго города!

"Русскій въ эти времена не просто жилъ въ Парижѣ: "на ряду съ положительнымъ удовольствіемъ, онъ имѣлъ "отчетливое чувство, глубокое сознаніе того, что онъ въ "Парижѣ, чувство нравственнаго благосостоянія, застав-"лявшее его каждое утро благодарить всеблагаго Бога и "добрыхъ крестьянъ, исправно платившихъ свои оброки".

И такъ, эта наивная религія миновала; мы уже не страдаемъ лишнимъ развитіемъ шишки почтенія и припадками остраго пдолопоклонства. Какъ это утѣшительно! Мы уже замѣтили, что эту перемѣну авторъ, очевидно, ставить въ укоръ Парижу, въ укоръ самимъ французамъ. Изъ послѣднихъ, приведенныхъ нами словъ, прямо слѣдуетъ, что теперь въ Парижѣ русскій вовсе не чувствуетъ того нравственнаго благосостоянія, которое чувствовалъ когда-то. Но есть и другая причина: сами русскіе перемѣнились; у нихъ, напримѣръ, совершилось освобожденіе крестьянъ; поэтому Герценъ иронически грустнымъ тономъ продолжаетъ:

"Все перемѣнилось съ тѣхъ поръ... даже расходы: "русскій сталъ скупцомъ, скрягою; послѣ эманципаціи "явилась ариеметика".

Освобождение крестьянъ въ Россіи наводить автора

на мысль объ освобожденіи крестьянь въ Польш'в и о томъ страшномъ угнетеніи, въ которомъ они н'вкогда находились, и онъ удвоиваеть свою иронію.

"И во тъ мнѣ приходить на умъ, что было время еще "болѣе отдаленное и еще болѣе прекрасное, чѣмъ наше "время 1847 года. Я съ горестію вижу, что славянскій "міръ вырождается, мельчаеть и становится, по выраже-"нію мадамъ Фигаро, такимъ, какъ цѣлый свѣтъ.

"Вотъ доказательство. Я беру свой примъръ у Польши. "(Ахъ, еслибы русскіе вообще брали у Польши одни ляшь "примъры!)

"Знаете ли вы исторію прівзда Радзивила? В вроятно, "нътъ. Ну такъ вотъ что случилось во времена регент-"ства. Князь Радзивиль, самый колоссальный, самый ди-"кій, самый грандіозный и великолепный типъ польскихъ "магнатовъ, поссорившись съ польскимъ королемъ, кото-, рый быль вдвое его б'ёдн'е, р'ёшился на н'ёсколько л'ётъ "удалиться изъ Польши. Онъ выбралъ, само собою разу-"мвется, Парижъ мвстомъ своего изгнанія и, чтобы ско-"ръе добхать въ него, употребилъ довольно странный "способъ: онъ приказалъ купить столько домовъ, сколько "было станцій (князь тедиль на собственныхъ лошадяхъ, "на сотнъ, можетъ быть на двухъ). Онъ ръшился при-"нять такую экономическую мёру потому, что онъ не "привыкъ спать подъ чужою кровлею. Какъ бы то ни "было, дома были куплены, подставы приготовлены, Рад-"зивилъ прівзжаеть въ Нарижъ. Туть—большая дружба "съ регентомъ. Герцогъ Орлеанскій не могъ до сыта на-"смотръться, какъ Радзивилъ поглощалъ непомърныя ко-"личества венгерскаго, а на см'вну, ради отдыха и успо-"коенія, водку стаканами. Регентъ страстно любилъ смо-"тръть, какъ онъ играеть въ карты; Радзивилъ проигры"валъ огромныя суммы, нимало не задумываясь, и съ пол-"нымъ хладнокровіемъ приказывалъ двумъ гигантамъ "гайдукамъ принести мъпки съ золотомъ.

"Словомъ, изношенный регентъ и непочатой князь не "могли обойтись одинъ безъ другаго. Когда Радзивилъ не "являлся, регентъ посылалъ къ нему гонца за гонцомъ. "Но однажды случилось, что не регенту, а князю Радзи-"вилу нужно было написать къ своему другу. Онъ на-"писалъ, сложилъ письмо, и позвалъ одного изъ каза-"ковъ своей свиты.

- "— Знаешь ты, спрашиваетъ онъ, гдѣ живетъ ре-"гентъ?
  - "— Нѣтъ, князь.
  - "- Ты знаешь Пале-Рояль?
  - "— Нътъ, князь.
- "— Ну, все равно, ты спросишь, каждый тебъ по-"кажеть; да притомъ это въ двухъ шагахъ.

"Казакъ воротился печальный: онъ не могъ найти "Пале-Рояля.

"Князь велить его позвать:

- "— Смотри, бестія, въ это окно: видишь этотъ боль-"шой домъ?
  - "— Вижу, князь.
- "— Въ немъ и живеть регенть; онъ тутъ какъ у "насъ король, понимаешь, и это его дворецъ. Ну, скоръй!

"Казакъ, какъ только выходилъ изъ дому, терялъ Пале-"Рояль. Онъ вернулся, не нашедши регента, въ такомъ "отчаяніи, что сдълалъ нъкоторыя приготовленія повъ-"ситься. Князь былъ въ хорошемъ расположеніи духа. "Онъ велълъ позвать своего управителя и приказалъ ему "купить нъсколько домовъ и устронть проходъ между сво-"имъ домомъ и Пале-Роялемъ. Когда проходъ былъ го"товъ, князь въ большомъ удовольствіи воскликнулъ: "теперь эта бестія казакъ съум'ветъ найти дорогу къ "Пале-Роялю!

"Tempi passati!—И, что чреземчайно странно, кресть-"яне ни мало объ нихъ не сожальють. О! эти славян-"скіе крестьяне—такіе матеріалисты!"

Таковы восноминанія о Польш'є и объ ея дружественных отношеніяхъ съ Францією. Непоздоровится отъ этакихъ похваль прекрасным временамъ! Тѣнь Польши прошлаго столѣтія вызвана, очевидно, только затѣмъ, чтобы высказать въ глаза французамъ и полякамъ нравоученіе, что крестьяне не жалѣютъ объ этой пресловутой республикъ, что они теперь довольнъе, чъмъ когда-либо. Да, все перемѣнилось; авторитетъ Франціи, авторитетъ Польши — потеряли всякую силу для русскихъ; вотъ смыслъ статьи Герцена.

Мы не опустили изъ нея ни единаго слова.

1867.

# МИЛЛЬ ВЪ СВОЕЙ АВТОБІОГРАФІИ \*).

Эта книга составляеть не столько автобіографію, сколько пространное предисловіе ко всёмъ сочиненіямъ Милля, взятымъ въ совокупности. Тутъ разсказана исторія убъжденій автора, обстоятельствъ и вліяній, при которыхъ написана каждая его книга. Но все это разсказано отвлеченно, такъ, какъ обыкновенно делается въ ученыхъ предисловіяхъ, гді авторъ не высказываетъ своихъ настоящихъ, живыхъ чувствъ и побужденій, а является чисто въ видъ мыслящаго существа, руководимаго одного научного любознательностью, однимъ теоретическимъ интересомъ. Есть однакоже въ автобіографіи Милля некоторыя мёста вполнё живыя, и мы укажемъ на нихъ читателямъ, какъ на то, что намъ показалось всего любопытиве. Англичане не всв такіе патріоты, какъ мы привыкли думать; и между ними есть вольнодумцы, прогрессивные люди, которые, подобно нашимъ образованнымъ людямъ, смотрять на свое отечество съ нівкоторымъ презрівніемъ и сожалівніемъ, завидують другимъ народамъ и берутъ себъ въ примъръ другія страны.

Настроеніе этого рода зам'єтно у Диккенса; Карлейль восхищался Германією, ся королями, философами и поэтами; Милль же во многомъ предпочиталъ своему отечеству Францію.

Въ 1820 году, слѣдовательно вогда ему было 14 лѣтъ, онъ цѣлый годъ гостилъ во Франціи, и вотъ что онъ потомъ занесъ въ свою автобіографію:

"Величайшую пользу Въ этого пребыванія во Франціи "я пріобръль оттого, что впродолженіе цълаго года ды-"шаль свободной, искренней атмосферой континенталь-"ной жизни. Хотя я въ то время не сознавалъ и не "вполнъ оцънивалъ эту пользу, но тъмъ не менъе она "была очень значительна. Зная такъ мало англійскую "жизнь и приходя въ столкновение до сихъ поръ лишь "съ немногими людьми, которые большею частію стреми-"лись не къличнымъ, а къ великимъ общественнымъ цѣ-"лямъ (здъсь Милль разумъетъ своего отца, Рикардо, "Бентама и подобныхъ людей, среди которыхъ выросъ), "я не вращался на низком правственном уровню того, "что называется въ Англіи обществому, не въдаль при-"вычки англичанъ подразумъвать въ дийствіях каждаго "лица непремънно межія, низкія побужденія, и отсут-"ствія въ этомъ обществъ возвышенныхъ чувствъ, что "обнаруживается презрительными осуждениеми проявления "подобных чувстви и общей сдержанностію (за исклю-"ченіемъ нікоторыхъ религіозныхъ секть) оть заявленія "какихъ бы то ни было высокихъ правилъ въ жизни, "кромъ тъхъ торжественныхъ случаевъ, когда подобное "заявленіе составляеть необходимую принадлежность тре-"буемыхъ этикетомъ формальностей и мундира. Я не зналъ "тогда и не могъ оцвнить различія между подобнаго рода "существованіемъ и жизнью такого народа, какъ фран-

<sup>\*)</sup> Автобіографія Джона Стюарта Милля. Переводъ съ англійскаго подъ редакцієй  $\Gamma$ . E. Благосептлова. Спб. 1874.

"цузскій, недостатки котораго, при всей ихъ очевидности, "совершенно иного характера. Во Франціи чувства, кото-"рыя можно назвать, по крайней мъръ по сравнению, "возвышенными, составляють мемую ходячую монету, "какъ въ книжкахъ, такъ и въ частной жизни. Если "иногда эти чувства улетучиваются въ громкихъ фразахъ, "все же они живуть въ масси нации, благодаря посто-"янному употреблению и питаемому къ нимъ уважению, "такъ что они составляють живой, діятельный элементь "существованія громадной массы людей и понятны всёмъ "и признаны всеми. Точно также, я не могъ тогда оце-"нить общаго развитія ума, происходящаго отъ постоян-"наго вліянія возвышенныхъ чувствъ и зам'вчаемаго въ "самыхъ необразованныхъ классахъ некоторыхъ конти-"нентальныхъ странъ, тогда какъ подобнаю умственнаю "развитія нельзя встрытить вз Англіи даже въ такъ "называемомъ образованномъ обществъ, за исключениемъ "ръдкихъ людей, которые, благодаря очень чувствитель-"ной совъсти, постоянно напрягають свой умъ къ раз-"рѣшенію вопросовъ о добрѣ и злѣ, справедливомъ и не-"справедливомъ. Я не зналъ, что у большинства англи-"чанъ чувства и умственныя способности потому именно "остаются неразвитыми, или развиваются односторонне и "ограниченно, что они не интересуются всымь, не каса-"ющимся ихъ личнаго интереса, за исключениемъ очень "рѣдкихъ спеціальныхъ случаевъ, и не только не гово-"рять другимъ, но и не размышляють много сами о томъ, "что дъйствительно ихъ интересуеть; вследствіе этого они, "какъ умственныя существа, ведутъ какую-то отрицатель-"ную жизнь. Все это я поняль гораздо позже, но и тогда "чувствовалъ, хотя и смутно, разительный контрастъ "между откровенной общительностью и добродушной лю"безностью французской частной жизни и порядками, "существующими въ англійскомъ обществѣ, гдѣ каждый "дѣйствуетъ такъ, какъ будто всѣ остальные (за очень "рѣдкими исключеніями, если такія исключенія бываютъ) — "враги или навѣвающіе скуку болваны. Правда, во Фран-"ціи дурныя и хорошія черты отдѣльныхъ личностей и "національнаго характера скорте обнаруживаются въ "ежедневныхъ столкновеніяхъ, чѣмъ въ Англіи, но, по "общему обычаю, французы выказываютъ дружеское чув-"ство ко всякому и ожидаютъ того же отъ всякаго, за "исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда существують поло-"жительныя причины для непріязни. Въ Англіи можно "сказать тоже лишь въ отношеніи самыхъ образованныхъ "людей въ высшихъ классахъ или въ высшемъ слоѣ сред-"нихъ классовъ (стр. 57—60)."

Вотъ характеристика, если и не полная, то все-таки очень върная. Въ отношении къ англичанамъ она содержить черты, которыя носколько напоминають намъ нашъ собственный народный характеръ; у насъ такая же сдержанность, подозрительность, грубость развитія; а вмѣсто презрительнаго осужденія чувствъ насмѣшлиливость, равилющаяся этому осужденію. Но можеть быть Милль не совсвить правъ, не видя за этими дурными чертами какихъ нибудь положительныхъ чертъ своего народа; можно предполагать, что, по закону полярности или контраста, въ душъ англичанъ таятся свойства глубокой чувствительности, сильнаго энтузіазма, тѣ свойства, съ которыми мы знакомы по Шекспиру, Диккенсу и пр. Не даромъ же англійскій народъ обнаруживаетъ такое могущество; оно должно имъть нравственное основаніе.

Изъ приведенныхъ словъ Милля видно вообще, какъ

сильны были его симпатіи къ Франціи. Онъ отразились и въ его образъ мыслей; французскіе политическіе дъятели и мыслители, соціализмъ, позитивная философія—имъли на него вліяніе. По складу своего ума онъ не увлекся ничъмъ до конца, но вошелъ,такъ сказать, въ искусные компиромиссы со всъми этими вліяніями.

Выпишемъ еще одинъ интересный отзывъ Милля объ англійской жизни:

"Светская жизнь въ современной Англіи", говорить онъ, "до того безцвътна и приторна даже для тъхъ, "которые придають ей торжественный характерь, что ее "поддерживають по какой угодно причинь, но только не "изъ удовольствія. Всякое серіозное обсужденіе вопро-"совъ, по которымъ существуютъ различныя мижнія, счи-"тается неприличнымъ, а національный недостатокъ живо-"сти и общительности мъщаетъ развитію искусства пріят-"но болтать о пустякахъ, въ чемъ достигли такого со-"вершенства французы прошлаго столетія; поэтому един-"ственная прелесть того, что называется обществомъ, за-"ключается для людей, еще не достигшихъ верхней сту-"пени общественной лестницы, въ надежде найти сред-"ство подняться на эту ступеньку; тогда какъ для стоя-"щихъ на верху свътская жизнь только привычка и пред-"полагаемое необходимое условіе ихъ положенія. Для "всякаго человъка, одареннаго способностями умствен-"ными и нравственными хоть не много превосходящими "очень низкій современный уровень, подобное общество "должно быть чрезвычайно непривлекательно (стр. 240)".

Такъ обличаетъ Милль свою родину. Въ немъ очевидно сказывалось довольно сильно то чувство недовольства своимъ, которое намъ такъ хорошо знакомо.

Самая живая страница въ автобіографіи Милля конеч-

но, та, гдё онъ разсказываеть, какъ онъ мучился непонятною тоскою и какъ наконецъ открыль тайну истиннаго счастія.

"Начиная съ зимы 1821 года", говорить онъ, "когда "я впервые прочелъ Бентама, и особенно съ начала изданія "Вестминстерскаго Обозрънія, я им'яль ціль въ жизни-"быть реформаторомъ всего міра. Мое понятіе о личномъ "счасть в сливалось совершенно съ этой целью. Я не жа-"ждаль другаго сочувствія, какъ сочувствія моихъ сотруд-"никовъ въ великомъ дёлё преобразованія человёчества. "По дорогъ я не отказывался отъ нъкоторыхъ удовольствій, "но полнымъ, совершеннымъ удовлетвореніемъ моихъ же-"ланій могло быть только стремленіе къ этой цёли, и я "поздравляль себя сь прочнымь счастіемь вы экизни, такы "какт мой идеал счастья быль такт далект, что постоян-"но можно было подвигаться къ нему, но никогда его не "достичь. Подобнымъ образомъ я существоваль нъсколько "лътъ, и моя жизнь повидимому достаточно была одушев-"лена сознаніемъ, что на свътъ происходять постоянныя "улучшенія и я участвую въ борьб' для достиженія этихъ "улучшеній. Но пришло время, когда я какь бы очнул-"ся отъ сна. Это было осенью 1826 года. Я находился "въ мрачномъ настроеніи духа, какъ случается со вся-"кимъ; нервы мои были разстроены и неспособны ощущать "никакого удовольствія, — однимъ словомъ, я находился "въ такомъ настроеніи, когда все кажется пошлымъ, не-"пріятнымъ и на все смотрится равнодушно; въ такомъ "положеніи, я полагаю, находятся методисты, когда "ихъ впервые посъщаетъ внутреннее сознание гръха. "Въ это время мий пришла въ голову мысль предложить "себъ слъдующій вопросъ: "если всъ твои цъли въ жизни "осуществятся, еслибъ въ настоящую минуту могли про"изойти вст перемины вт человических учрежденіяхт и "мниніяхт, которыхт ты добиваешься, то составило ли "бы это для тебя величайшую радость и полное счастье?" "Непреодолимый голось сов'єсти прямо отв'єчаль: "н'єть!" "Сердце мое дрогнуло. Я ставиль все свое счастье вь "постоянномъ стремленіи къ одной ц'єли; эта ц'єль по-"теряла для меня свою обаятельную силу; кт чему эксе "было болье кт ней стремиться? Къ чему же было дол'єе "жить?" (стр. 137—9).

Такое состояніе продолжалось полгода. Наконець оно стало проходить, и Милль вспоминаеть, что при излеченіи отъ отчаннія ему помогали и сильно на него дъйствовали нъкоторыя художественныя впечатлънія, именно одна трогательная сцена въ мемуарахъ Мармонтеля, музыка Веберовской оперы "Оберонъ", и стихи Вордсворта. Вслъдствіе этого онъ въ первый разъ поняль, какое важное значеніе вообще имъть искусство; но вмъсть онъ ръшиль для себя и вопросъ, въ чемъ состоитъ и какъ достигается истинное счастіе человъческой жизни.

"Я нисколько не сомнѣвался", пишеть онъ, "въ пра"вильности своего прежняго убѣжденія, что счастье—
"мприло встат экизненных правилт и италь существова"ніп; но я теперь полагаль, что этой цѣли можно было
"достигнуть только тогда, когда она будет поставлена
"на второй плант. Тѣ люди только счастливы, думаль я,
"которые ставять себѣ цѣлью вт жизни какой либо другой
"предметт, а не свое собственное счастье, напримѣръ
"счастье другихъ, усовершенствованіе человѣчества, какое
"нибудь искусство или предпріятіе. Такимъ образомъ,
"стремясь къ чему либо иному, они находили свое счастіе,
"такъ сказать, на пути. По моей новой теоріи, въ жизни

"было достаточно наслажденій для приданія ей обаятельной "силы, если мы беремъ ихъ en passant, не придавая имъ "значенія главной цъли нашего существованія. Придайте "имъ такое значение-и они тотчасъ окажутся недоста-"точными и не выдержать строгаю анализа. Спросите "себя, счастливы ливы, — и вы перестаете быть счастли-"выми. Единственная возможность достинуть счастья "заключается въ томъ, чтобы считать не счастье, а что-"либо другое цъльто въ экизни. На служеніе этой цѣли "употребите все свое самосознаніе, всю свою способность "къ анализу, и, если другія обстоятельства вашей жизни "удачно сложатся, то вы будете счастливы, вдыхая въ "себя счастье вмёстё съ воздухомъ, а не думая о немъ, "не анализируя его. Эта теорія стала теперь основой "моей философіи жизни, и я до сихъ поръ считаю ее "лучшей теоріей для всёхъ, которые обладають умфрен-"ной впечатлительностію и такой же ум'вренной способ-"ностію къ наслажденію, то-есть для большинства чело-"въчества (стр. 148-9)".

И такъ передъ нами луимая теорія сиастья,—плодъ не однихъ размышленій, но и жизненнаго опыта. Но странно,—эта теорія похожа скорѣе на какую-то загадку; она вся состоить изъ противорѣчія, ничѣмъ необъясненнаго. Уже и въ прежнемъ отрывкѣ не могутъ не поразить слова: "я поздравлялъ себя съ прочнымъ счастіемъ въ жизни, такъ какъ никогда не могу достигнуть своего идеала". Милль радовался, что идеалъ его очень далекъ! Теперь же онъ признаетъ теорію еще болѣе поразительную. Счастье, говорить опъ, есть "мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и пѣль существованія". Но чтобы достичь его, не нужно къ нему стремиться, нужно стремиться къ чему-нибудь другому, а о счастіи не ду-

мать. Какъ же это сделать? Ведь мы знаемъ, что стремленіе къ счастію есть самое сильное и общее стремленіе всіхъ существъ, и конечно на этомъ основаніи Милль призналь счастіе за м'врило и цівль жизни. И такъ, мы должны отказаться отъ самаго сильнаго и общаго своего стремленія, то есть мы должны отречься от жизни, не думать о ея радостяхъ, достичь въ этомъ отношеніи равнодушія и спокойствія. И тогда, какъ объщаеть намъ Милль, мы по пути, незамътно, не думая, вм'вст'в съ воздухомъ-вдохнемъ въ себя и счастье. Очевидно условіе отреченія отъ жизни есть условіе невыполнимое для большинства. Оно можеть быть следствіемъ только такого полнаго отчаннія, какое пережиль Милль въ теченіе полугода; и такъ, кто хочеть счастья, тотъ долженъ сперва впасть въ совершенную безнадежность и тоску, потомъ получить равнодушіе, и наконецъ, уже не думая о счастьи, чёмъ нибудь заняться, - все равно чьмъ, "усовершенствованіемъ человьчества, какимънибудь искусствомъ, или предпріятіемъ". Счастье прійдетъ само собою. Такова лучшая теорія.

Эти противорвчія, намъ кажется, ясно показывають, что Милль не развязаль узла и не достигь тёхъ понятій, которыя хоть сколько нибудь опредёляють назначеніе человёка. Совётуя быть равнодушнымъ къ счастію и не думать о немъ, онъ долженъ былъ бы однакоже чувствовать, что есть вещи, которыя выше такъ называемаго счастья.

## дополненія и поправки.

Къ стр. 57. "Но своего женщины достигли". Правильнъе было бы сказать: "но отъ своего онъ не ушли". Впрочемъ, въ извъстной мъръ справедливо и первоевыражение.

Къ стр. 58. "Пушкинъ есть образецъ цѣломудрія". Это требовало бы подробнаго развитія и доказательства. Цѣломудріе состоитъ не въ томъ, что объ извѣстныхъпредметахъ умалчивается, а въ томъ, какт объ нихъговорится. Есть люди, которые оказываются нецѣломудренными даже въ самомъ стараніи избѣгать этихъ предметовъ и въ той осторожности, съ которою ихъ касаются. Пушкинъ же, написавшій столько шуточныхъ неприличностей, и въ нихъ не возмущаетъ истинно-цѣломудреннаго чувства; а въ серіозныхъ произведеніяхъ у него не только всегда на грязные предметы устремленъ совершенно чистый взглядъ, но и является въ удивительной простотѣ и высотѣ тотъ перевѣсъ духа надъ плотью, который свойственъ настоящей поэзіи и настоящему цѣломудрію.

Къ стр. 91. Здёсь разументся тотъ разговоръмежду Хомяковымъ и Герценомъ, который разсказанъ въ Былое и Думы (Лондонъ, 1861), т. II, стр. 327 и 328, и происходилъ зимою 1842—1843 года.

Къ стр. 102. "Значеніе Фейербаха". Статья о

Фейербахѣ писана тогда, когда я еще не былъ знакомъ съ Шопенгауэромъ; иначе, какъ замѣтятъ читатели, мнѣ слѣдовало бы указать и на него, какъ на разительное подтвержденіе своей мысли. Съ Шопенгауэромъ я познакомился только въ 1866 г., благодаря С. П. Автократову, который былъ въ числѣ молодыхъ людей, посланныхъ въ 1862 г. за границу для приготовленія къ профессурѣ, и вывезъ оттуда восторженное поклоненіе Шопенгауэру. Имѣя тогда очень мало времени для чтенія, я сталъ, однако, читать философа-пессимиста и скоро раздѣлилъ этотъ восторгъ. Пишу это для извиненія передъ читателями.

Къ стр. 144. "Будутъ напечатаны во второмъ томѣ Reden und Aufsätze". Томъ этотъ наконецъ явился въ 1876 году, т. е. черезъ 17 лѣтъ послѣ появленія книги Дарвина. Онъ почти весь посвященъ опроверженію Дарвиновой теоріи, именно разъясненію понятія иплесообразности и доказательству, что цѣлесообразность присутствуетъ въ самомъ развитии организмовъ. Такимъ образомъ уничтожается идея случайности, въ которой состоитъ вся привлекательность дарвинова ученія. Но книга Бэра не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на натуралистовъ.

Н. Я. Данилевскій, изв'єстный авторъ книги Россія и Европа, готовить теперь большое сочиненіе, въ которомъ со всею основательностію разбираеть и опровергаеть теорію Дарвина. Судя уже по н'єсколькимъ главамъ, прочитаннымъ мною въ рукописи, этотъ капитальный трудъ долженъ навсегда установить многіе факты и соображенія, уничтожающіе возможность дарвиновскихъ предположеній.

Къ стр. 206. *Письма объ нигилизмъ* печатались въ еженедъльной газетъ *Русь*, Москва, 1881, N N = 23, 24, 25 и 27.

Къ стр. 250. *Письма объ нигилизмъ* не кончены; далеко не удалось мнѣ высказать свой взглядъ со всѣхъ сторонъ. И изложение не вполнѣ такое, какъ мнѣ мечталось. Прибавлю нѣсколько словъ о самомъ важномъ пунктѣ.

Общая мысль моя та, что нигилизмъ есть крайнее, самое послѣдовательное выраженіе современной европейской образованности, а эта образованность поражена внутреннимъ противорѣчіемъ, вносящимъ ложь во всѣ ея явленія. Противорѣчіе состоить въ томъ, что всѣ протестуютъ противъ современнаго строя общества, противъ дурныхъ сторонъ современной жизни, но сами нисколько не думаютъ отказываться отъ тѣхъ дурныхъ началъ, противъ которыхъ протестуютъ. Гонители богатымъ; проповѣдники гуманности остаются нетериимыми и жестокими; учители справедливости—сами вѣчно несправедливы; противники властей—жаждутъ, однако, власти для себя; и протестующіе противъ притѣсненій и насильники.

Во всв времена, жизнь человвчества держалась на нвкоторомъ компромиссв; всегда высокія требованія нравственности безсознательно вступали въ сдвлку со страстями и потребностями человвка. Но никогда эта сдвлка не была искуснве и не достигала такого блистательнаго и полнаго соглашенія, какъ въ наше время. Современный человвкъ имветъ возможность предаваться
всвмъ своимъ влеченіямъ, всвмъ дурнымъ душевнымъ
качествамъ, и въ тоже время безъ конца благородствовать и великодушничать. Никакіе іезуиты не могли при-

думать ничего подобнаго. Эта возможность быть, повидимому, правственнымь, и самому себъ казаться правственнымь, а въ сущности оставаться совершенно чуждымь истинной правственности, эта возможность должна глубоко развращать людей, и отъ покольній, растущихь и живущихь подъ руководствомъ такой сдълки, нельзя ожидать ничего хорошаго.